

ВЕСТНИК НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

№ 6



Ассоциация
«Новая литература»

Санкт-Петербург
1993

«Вестник новой литературы» — независимый литературный журнал
Выходит с 1990 года
Учредитель издания — Ассоциация «Новая литература»
Регистрационное свидетельство № 1346

Адрес редакции: 191011, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 41, к. 46
тел. редакции: (812) 110-4725, факс (812) 110-4723
Почтовый адрес: 198005, Санкт-Петербург, а/я 237, «АНЛ»

Михаил БЕРГ — главный редактор
Михаил ШЕЙНКЕР — зам. главного редактора
Татьяна БЕРЕЗИНА — ответственный секретарь

Редакционная коллегия:

Виктор ЕРОФЕЕВ
Виктор КРИВУЛИН
Евгений ПОПОВ
Дмитрий ПРИГОВ
Александр СИДОРОВ
Елена ШВАРЦ

ISSN 0868-4936

© Ассоциация «Новая литература», 1993

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Зигмунд ХАНСЕЛК
Ивор СЕВЕРИН

МОМЕМУРЫ*

(перевод и примечания Михаила БЕРГА)

Островитяне

Я виделся с мадам Виардо (одной из самых скандально знаменитых русских поэтесс в колонии) считанное число раз и знал о ней только то, что она сама хотела, чтобы о ней знали, ибо она строила свой имидж с последовательностью азартного игрока, который раз за разом ставит на zero свою жизнь и — вызывая недоумение, выигрывает.

Что именно, в чем смысл и очарование ее экзотической музыки — это мне открылось (если открылось) далеко не сразу. Несколько раз ошибался, оступался, казалось, на ровном месте, будто проваливался в пустоту, которой оборачивалась только что подмигнувшая мне ступенька, и все приходилось начинать заново.

Впервые я услышал, как она читает свои стихи на званом вечере ее приятельницы, баронессы Криштоф, назначенном на поздний час, чтобы приноровиться к ее растрепанному распорядку (я был поставлен в известность, что эта сумасбродная поэтесса ложится на рассвете, ночь посвящая чтению, стихам и поклонникам, выбираясь из своей квартирki-студии крайне редко, — и продирает глаза, когда обыкновенные горожане, позевывая, спешат с работы домой). И уже собирался уходить, когда она наконец появилась, обведенная настойчивой рамкой почтительных почитателей. Это была очень худенькая и маленькая, как вишневая косточка, женщина, напоминавшая точеностью черт и

* Продолжение. Начало в № 5.

грацией китайскую статуэтку еще потому, что хотела на нее походить. “Не правда ли, она обворожительна? — прошептала мне на ухо сидящая рядом пожилая дама, обнажая в милой улыбке лошадиные зубы. — Вылитая богиня Канту”. Читала мадам Виардо стоя у пюпитра в черном платье с огромным вырезом, с черной бархаткой на шее, в черных босоножках, надетых на босу ногу. Чулки она сняла уже здесь, ибо пришла не только в зимних высоких сапогах для горнолыжного спорта, но и, конечно, в чулках. Она читала стихи, которые мне нравились и одновременно раздражали, и читала очень хорошо, нервно поводя открытыми плечами с россыпью родинок, посветив этой плеяде один из первых сонетов, и переступала белыми стройными ногами.

Признаюсь, я был поражен сочетанием мощного голоса, уязвленного болезненным свособразием, и только ей присущей образностью, и откровенно брутальным вкусом, который заставлял ее почти в каждом втором стихе ломиться, казалось, в открытую дверь и сбиваться на семантическую истерику, нагромождая кровавые метафоры, раздробленные кости эпитетов, создавая картину мистического, спиритуального ужаса, к чему, однако, я скоро приносивился, как к череде душераздирающих сцен в фильмах Эскобара. Дверь со скрипом открывается, обнажая не пустоту, а еще одну полуоткрытую дверь, тихо покачивающуюся на петлях, за этой дверью — следующая и так далее, пока вас не охватывает покаявающее спокойствие узнавания.

Пытаясь определить природу этого беспокойства (и одновременно — отгородиться от него), я решал для себя вопрос: зачем мадам Виардо сняла чулки? Я представлял, как она, зайдя в ванную, отстегивает чулки от пояса или, задрав юбку, снимает колготки, а затем, скатав их, засовывает в сумочку. Было не жарко, значит, сняла она их не потому, что боялась вспотеть. Возможно, они были заштопаны, ибо лишних денег у нее не водилось, так как ее состояние было мизерным, а жалования матери, что служила в дирекции русского театра, явно недоставало. Возможно, ей хотелось, чтобы на ней было только два цвета — черный платя и белый кожи, но тогда почему она не сняла красный дешевой ремешок от часов с брелками в виде русских иконок? Рука, метнувшись, судорожно поправила выбившуюся прядку и с торопливым облегчением перевернула листы на пюпитре.

В знаменитой монографии синьора Кавальканти «Душа России» поэзия мадам Виардо сравнивалась с “извержением вулкана” (стр. 17), с “маской медузы Горгоны” (стр. 34), с “душой страны безрезового рая” (стр. 51). “Никто не выразил душу России так точно, как эта маленькая, избалованная и капризная аристократка, ни разу не ступавшая на землю своей прародины, но связанная с ней магической нерасторжимой связью”. “Как не определять ее метод, как логику безумия или почти научное постижение экзистенциальных состояний, только слепой и глу-

хой не ощутит тревожных раскатов грома в одышливом рокоте ее стихов". Понятно, что эти две цитаты на подкладке старомодной учтивости принадлежат седовласому перу милого Кавальканти.

Однако на моем письменном столе лежала книжка журнала «Эксклюзив», открытая на свежей статье злоязычного г-на Вощева, где поэзия мадам Виардо определялась как «перманентная романтическая истерика с признаками типичного женского бреда, не лишённого, конечно, перлов необычной образности, с которыми автор, кажется, не знает что делать». Очевидно, не только для развязного и меланхолического г-на Вощева образ мадам Виардо двоился как монета: на одной стороне — вдохновенная Пифия-прорицательница, на другой — русская дурочка-юродивая, которую манит все яркое и сверкающее. Её боялись, её восхищались, её боготворили — и, кажется, не понимали. Долгие годы и я хотел разгадать загадку ее натуры — но, похоже, так и не преуспел в этом, может быть потому, что чувство тревоги и опасности охватывало меня тем сильнее, чем ближе я к ней подбирался.

Первую и, конечно, неудачную попытку я предпринял в перерыве того самого стихотворного вечера, когда по настоянию Вико Кальвино отправился знакомиться с мадам Виардо, пока она отдыхала, попивая в одиночестве красное вино, в артистической уборной, спешно устроенной в будуаре баронесы Кристоф, куда остальные гости, более меня наслышанные о ее буйном нраве, лишь робко заглядывали, проходя мимо по коридору. Мимолетный и обескураживающий диалог. Непривычно робея и сердясь на себя за это, я с продуманной сдержанностью похвалил ее стихи. Мадам Виардо взглянула на меня с хмурым удивлением и предложила вина. «Пардон, я уже пил сегодня брэнди». — «О, я вам завидую». Я насторожился. В тоне, жестах, манерах сквозила какая-то неуверенность, едва заметная неточность движений и стремительность переходов, как в ломающемся голосе подростка. Затянувшаяся пауза, кажется, ее нисколько не смущала. «Ну, что ты скажешь теперь», — подумал я. Стряхнув пепел прямо на ковер, она каким-то безразлично-безразличным тоном спросила что-то, не имеющее отношения ни к чему на свете. Меня покорило ее тон, но я не подал виду, ибо во мне проснулся инстинкт охотника за привидениями. Мы помолчали еще немного, с удовлетворением я отметил, что она все-таки занервничала, ласково улыбнулся и откланялся.

Второй встречей с мадам Виардо и явились те проводы высылаемой в Москву сестры Марикины, куда я приехал, весьма опрометчиво в последний момент захватив с собой двух своих приятельниц, страстно желавших познакомиться с гением в юбке, хотя я и предупреждал их об опасности. Теперь я куда больше был наслышан о ее настырном сумасбродстве, которое, верно, охраняло ее душу от вторжения. Но что именно скрывалось за показной развязностью и едва уловимой неуклю-

жестью — робость, пуританская стыдливость, тайная страстность, — разобрать было не просто.

На первый взгляд, она олицетворяла, по сути дела, исчезнувший в современной колониальной России тип русской гордячки-сумасбродки, для которой унижение страшнее смерти. Этот тип исчез совершенно, ибо колесо общественной жизни было настроено таким образом, чтобы не оставить русскому человеку места, где бы он мог сохранить свое достоинство, тем более, если это была женщина. Конечно, в аристократических гостиных и в ночном русском клубе полно гордых и неприступных красавиц, но эта гордость, расположенная в какой-нибудь одной плоскости, например, гордость, которую, как наряд, демонстрируют перед ухаживающими мужчинами или подругами, но признаки ее убираются, как шасси у взлетающего самолета, только эта гордячка сталкивается с сегрегационными порядками, перед коими все русские равны.

Многие выражали недоумение, неужели никто и никогда не пытался поставить ее на место, напомнив, что в миграционном департаменте она — мигрантка, в музее, на концерте — рядовая зрительница или слушательница, в гостях — гостья, а в консульском отделе — просительница? Пытались, но безуспешно. Одна из историй с ее участием касалась вроде бы банального эпизода — перехода мадам Виардо улицы в неполюженном месте, кажется, у раструба знаменитого Центрального моста, после чего она, сопровождаемая несколькими статистами, была остановлена полицейским в пробковом шлеме. Не особо выбирая выражения, нервно дергая щекой, наивный блюститель порядка стал читать нудную нотацию нарушителям, на что мадам Виардо отреагировала весьма своеобразно: сняв с левой ноги туфлю, она закатила сю полицейскому по физиономии. «Эта русская ведет себя так, будто она у себя дома, а не принята из милости», — откликнулась на происшествие местная вечерняя газета. Каким образом был замят скандал, не известно, но мадам Виардо, кажется, как всегда, вышла сухой из воды.

Как гостья, она напоминала бомбу замедленного действия, взрываясь рано или поздно, какие бы предосторожности не предпринимались. Однажды, попав в отнюдь не богемную обстановку, а в церемонный и достаточно респектабельный дом коренных переселенцев, она кинула куском торта в хозяина только потому, что он сказал что-то не так о прекрасном небе *ее* России. Обиженный хозяин и, конечно, почитатель ее стихов, полагая, что произошла какая-то нелепая ошибка, попытался сделать вид, что ничего не произошло, следующий кусок торта повис на лацкане его смокинга, он, смущенно и виновато улыбаясь, потребовал, чтобы она перестала, а когда она запустила в него тарелкой, вскочив, указал ей на дверь. Дуэли между ним и мужем нашего Пушкина в юбке удалось избежать в самый последний момент.

У себя дома она также не стремилась быть чересчур гостеприимной: правнуку Достоевского, специально приехавшему из Амстердама в колонию, чтобы познакомиться с ее уникальным поэтическим даром, она надела на голову абажур, после того как он осмелился робко похвалить роман Хедли «Аэровокзал». За плохой вкус или сказанную в ее присутствии глупость мадам Виардо наказывала самолично, расценивая глупость как оскорбление.

Казалось, что ей необходимо второе лицо — образ непреклонной, сумасбродной гордячки, перешагнуть через собственную прихоть для которой так же трудно, как не посчитаться с легким движением души, пусть и приводящим к самым серьезным последствиям. По слухам, мадам Виардо ни одного дня не провела на службе и кропотливо избегала обстоятельности, способных кинуть косую тень на ее достоинство. Она казалась настолько переполненной ощущением собственной исключительности, что перелитое через край вполне убеждало тех, кто общался с ней более или менее тесно, в то время как другие видели в ней природную стихию, которую либо надо принимать такой, какая есть, либо делать вид, что ее не существует.

Я собрал целый гербарий забавных происшествий, анекдотов, невероятных историй, героями которых была мадам Виардо, но теперь, просматривая старые записи, вижу, как мало в них того, что шепчет невидимый суфлер своим неопытным статистам, — затейливая канва событий, как пелена, скрывает суть. Более того, чем обширнее становилась моя коллекция, тем отчетливее я понимал, что был введен в заблуждение — трудно предположить, что нарочно, но все слухи, сплетни, пересказы шумных скандалов четко обозначали демаркационную линию: истина находилась за ней, а взгляд наблюдателя упирался в нее, останавливался, как конь перед зарытым в земле мертвецом. Что за мертвец был зарыт в ее душе, что именно заставляло ее поступать именно так, а не иначе, почему никто не мог противостоять ее напору? Какая-то потаенная сила, власть над людьми и словами, кажется, поглотила ее — она подчинялась ей, люди — обстоятельствам.

Именно мадам Виардо стала одним из учредителей уже упоминавшегося патриотического Общества Обезьяньего общества (созданного русскими, чтобы не терять связь со своей исторической родиной). Общество устраивало *симпозиумы* ежемесячно по 12-м числам, где зачитывалось два доклада: на поэтическую и историческую темы. Строгие и остроумные правила: члены братства обязаны были приносить по бутылке патриотического белого — терпкий, матово-белесый и ужасно крепкий напиток, более других напоминавший русскую водку (досужие острословы именно здесь отыскивают исток учрежденной впоследствии русским культурным движением знаменитой премии А.Белого). Поэтический доклад посвящался разбору какого-либо одного русского стихо-

творения, а исторический — одному дню в истории России, оставшемуся незамеченным, но оказавшим влияние на ход исторических событий. Доклады оценивались тайным голосованием, которое заключалось в опускании разноцветных шнурков трех цветов: черного, красного и белого, в зависимости от мнения членов братства, в пельельницу в виде черепа (Боже, опять невольная рифма). Обезьянник просуществовал несколько лет, но закончился во время доклада брата Ленивца о Федоре Толстом «Француз», враге знаменитого в прошлом все поэта Чехова, который распустил слух, будто Чехова высекли в 3-м отделении; последний в припадке бессильного отчаяния хотел было даже повеситься, но успокоенный Чаадаевым, потом всю жизнь готовился к роковой дуэли (печальный итог известен), начиная утро со стрельбы из пистолета по карте, прикрепленной на стене, и гуляя с пудовой палкой, чтобы окрепла рука. Сам Федор Толстой, как известно, послуживший прототипом Штольца в знаменитой «Дуэли», был тоже неистовым сумасбродом, он принял участие в кругосветном путешествии вместе с другим русским писателем Гончаровым, жил в одной каюте вместе с ним и с самкой орангутанга, одевал ее как даму полусвета, называл своей женой, но однажды, пообещав угостить команду экзотическим блюдом, сказал, после того, как блюдо под пряным соусом было съедено, что съели они его суженую.

Неведомая Россия как прекрасный океанский корабль причаливал к пристани; доклад слушали затаив дыхание; но мадам Виардо непрерывно прерывала брата Ленивца своими язвительными замечаниями, выкрикивала оскорбительные комментарии (хотя записные острословы утверждают, что она на этот раз была раздражена не столько горячительным, сколько якобы неточностями докладчика). Однако другие уверяют, что скандал разгорелся после того, как брат Ленивец позволил себе упомянуть все имя Елены Игалтэ, которой у мадам Виардо однажды вышел спор о метрической основе русского стихосложения, и когда брат Кинг-Конг, один из главных ее ревнивых почитателей и друзей, автор первой статьи о ее творчестве и переводчик ее стихов на язык индейцев маурилы, попытался, возможно, опрометчивой шуткой снять напряжение, она выплеснула ему в лицо бокал красного вина и сказала какое-то особое слово, какое русские произносят раз в жизни, желая оскорбить на век. Брат Кинг-Конг выскочил из комнаты, закрывая лицо руками, и закрытая за ним дверь стала началом конца Обезьяньего общества, просуществовавшего, однако, еще несколько лет, ибо, повторим, мадам Виардо все сходило с рук, и с ней носились, как с гениальным ребенком, не знаящим, что творит, а творила она талантливые стихи и безобразные скандалы.

Сам я был свидетелем того, как на приеме в честь русского посла мадам Виардо была слепая, как Мильтон, литературного обозревателя

газеты «Свет Сан-Тьеры», который некогда позволил себе иронический тон в двух-трех незатейливых фразах, и за это был наказан. С любопытством наблюдал я, как в течение получаса несколько дюжих мужчин безуспешно пытались утихомирить эту маленькую, но сильную и неуправляемую комету, а ей удавалось время от времени вырваться из искусанных в кровь рук, одновременно чуть ли не до пояса вылезая из платья, чтобы, подскочив, нанести несчастному фельетонисту несколько очередных пощечин. А когда ее все-таки утихомирили, неожиданно забилась в истерику на усыпанном осколками полу. Это было что-то новое. С интересом следил я за ее судорогами и бледно-розовыми контурными пятнами на шее и плечах, ибо давно понял, что с помощью этих истерик она пытается освободиться от чего-то ей мешающего, будто стремится вылезти из ломкой оболочки, как змея, меняя кожу, вылезает из сухого футляра, который суть она сама, и для этого пользуется весьма экзотическим способом перерождения.

Пожалуй, я готов согласиться с утверждением Карло Понти из его статьи в «Дебаркадере», что «мадам Виардо по своей природе существо застенчивое, стеснительное и ранимое, а самое главное — искренне несчастное: то есть отчетливо сознающее свою изначальную греховность, с которой ее натура, в отличие от большинства, не соглашалась мириться, а жажда освобождения доводила до неистовства».

Как утверждает Макс Шильдер в книге «Церковная психология и женская сексopatология», «обычные люди легко соглашаются с собственным несовершенством и бессмысленным существованием», постепенно застегивая свою жизнь на все пуговицы, не допуская до слабой души сквозняки вопросов, на которые у них нет ответа, и только очень немногие решаются жить открыто, не отгораживаясь от самих себя — ибо страшнее и правдивее себя нет ничего на свете, и мучаются сами, мучают других, являя при этом уникальный опыт сожительства, как сказал поэт, со «слепящей глаза всех страстей» беспощадной истиной. Это плата за то ощущение значительности, что небрежный читатель угадывает в стихотворных текстах, считая автора набившим руку версификатором или просто умным человеком, и не зная, чем за это ему приходится расплачиваться. Что такое богооставленность — как не вечная разлука с милой отчизной, на которую сохраняет право современный человек, рассеявший спасительные, хотя и сохраняющие для многих привлекательность, иллюзии: тихие гавани и уютные бухты в бурном море. Романтически иллюзорные трагедии, вроде неразделенной любви или одиночества непризнанного обществом поэта, и подобные им вариации драматических коллизий — не более как псевдотрагедии, ибо зиждутся на надежде, что стоит только соединить разорванную фотографию, Ромео и Джульетту, или воздать должное находящемуся в подполье талантливому писателю, или спасти

несправедливо угнетасмое существо, или сбросить с престола жестокого тирана, — как душа получит спасительное успокоение. Ничуть не бывало. Открытой для сквозняков натуре никуда не деться от пристального ужаса богооставленности и земной ущербности, и даже “плутая по жизни с компасом веры в сердце” (еще одна цитата) — душе не скрыться от очерченного ей удела одиночества. Да, только прозревший может быть по-настоящему несчастен, хотя это слово из другого словаря. Перед ужасом конца романтические псевдотрагедии меркнут точно люминесцентные фонари при дневном свете. И, напротив, даже будучи разрешены — не в состоянии осветить тусклый сосущий мрак, как не освещают чернильно-фиолетовую ночь огоньки разрозненных спичек. Приличия — прекрасная вещь, но можно понять и тех, для кого собственная душа дороже.

Той ночью я пытался сопоставить психологию скандала и психологию творчества. В обоих случаях истина мелькает босыми ногами в проеме дверей. Недаром первое ощущение, которое вызывали стихи этой русской до мозга костей поэтессы, было чувство тревоги — будто вы начинали спускаться в пещеру, но что ждет вас там — встреча с драконом или ангелом, — зависит в равной степени как от случая, так и от того, что Сэмюэлем Браком было названо “вектором совести”.

Не то чтобы я был готов согласиться с г-ном Воцевым, что “стихотворное кликушество родится от присущей душе застенчивости и природно слабых голосовых связок, и только поэтический скандал позволяет освободиться от пут изначальной скромности и заговорить раскованно, в полный голос: мешая неожиданно открывающиеся в горячке образы и пронзительные мысли с романтической пеной взбешенной и вставшей на дыбы кобылы”. Сомнительный и недобросовестный взгляд на вещи. Недаром, чтобы добиться таких признаний, нахальному и простодушному исследователю, загипнотизированному кровавыми потоками, заливавшими стихотворные страницы мадам Виардо, пришлось усаживать автора в гинекологическое кресло. И все только ради того, чтобы сказать, что эта кровь — менструальная, а пружина, толкающая поэтессу на демонстрацию красно-пятнистых простынь — половая неудовлетворенность. С таким же успехом можно усаживать автора на горшок и комментировать его стихи, исследуя то, что Марциалом названо “ежедневной данью смерти”.

Однако тот же Шильдер пишет, что “способ мистического постижения реальности посредством освобождения от сдерживающих начал с помощью спровоцированной истерики” позволяет как бы опускаться в глубь мистического зеркала, “хотя, конечно, эти локальные погружения куда опаснее спиритических сеансов”. Возможно именно поэтому, каждый раз после очередной «попытке открыть дверь в другую сторону»

(уже известный Карло Понти), мадам Виардо лежала пластом в полном изнеможении, оставленная силами и удрученная пережитым, недоумевая, почему же ей опять не удалось то, чего она добивалась: оставить свою иссеченную жестокими опытами сухую шкурку и освободиться. Любая жизнь — постепенное самоубийство, но только очень искренние и нетерпеливые натуры плетью хлещут себя по ненавистой оболочке, надеясь, что так она раньше отсохнет.*

Как утверждают, пить по-русски научил ее друг детства, поэт, бретер, дуэлянт, впоследствии ставший ее мужем. Г-н Рокк был записным скандалистом, и строки в ее стихах: «Вот пьяный муж опять стихи читает, и кожа синяками расцветает», — отнюдь не только приметы чисто русского быта в колонии. Их любовь, по слухам, была скреплена романтическим выстрелом, произведенным кем-то из них, кем — точно неизвестно, во время странной борьбы, странной игры с заряженным дамским пистолетом. Согласно легенде, пуля просвистела у виска и оцарапала кожу, оставив шрам. Можно понять г-на Рокка, что писал стихи, не идущие ни в какое сравнение со стихами жены, и к тому же ревновал ее фантастически (материализовывая метафору русской поговорки про мужа, *«который чем больше бьет, тем больше любит»*). Многие сетовали на влияние, оказанное на нее г-ном Рокком; хотя, признаться, мы сами склонны видеть в этом руку не Рокка, а Провидения. (Пусть читатель оценит наш вкус и подтвердит, что мы не попали в ловушку, подставленную нам этой весьма лакомой на словесную игру фамилией: мы не стали изощряться, как сделал бы на нашем месте другой, менее добросовестный мемуарист, в нанизывании вариаций типа: вензель рока или факсимиле судьбы, поставившей свою роспись на чистом листе биографии). Она была сумасбродка с юных лет, мы могли бы развернуть перед читателем целый свиток чудесных историй, начиная с гимназии, которую юная Полина закончила только благодаря маленькому провинциальному поэту г-ну Килло (маленькому по росту, но большому по вкладу в русскую колониальную поэзию), о ее учебе в университете и на театральных курсах, но это все равно детский лепет по сравнению с тем, что было потом.

По-разному рассказывают о ее первой и единственной встрече с повивальной бабкой русской колониальной литературы г-жой Алтэ. Одни утверждают, что это произошло еще в студенческое или даже в гимнази-

* Хотя гербарий Ральфа Олсборна еще полон, в этом месте профессор Зильберштейн делает очередной переход от первого лица к третьему, вероятно, желая переложить черновую и более деликатную работу на плечи анонимного повествователя. Обратный вираж на последующих страницах читатель отыщет сам. (прим. изд.)

ческое время, другие, как апостол-близнец, сомневаются в правдивости самой версии. Известно, что наша героиня приехала в Финка-Вихию, чтобы повидаться с великой поэтессой, но заблудилась, не найдя сразу дорогу и нужную виллу. Устав (день стоял невыносимо жаркий, хрустальные паутинки, посверкивая, летели по воздуху и липли к лицу), она остановилась около покосившейся изгороди и мимоходом спросила о чем-то дряхлую старуху в потрепанном затрапезном халате, что граблями сгрэбала мусор и листья в устросанный ею костер. Та что-то ответила. Началась беседа через забор. Непонятно, в какой момент наша героиня поняла, что старуха и есть великая ведьма Алтэ. Известно, что они не договорились, и уходя, наша героиня одарила ее на прощание легендарной фразой: «Недаром и Марина (намек на графиню Морозову) говорила, что ты просто беспросветная дура».

Или другой пикантный случай, связанный с ее попыткой выйти замуж при живом и ревнивом муже за очередного поэта, более известного своими дружески-враждебными отношениями со знаменитым Оливье Карлински (оба в силу странной прихоти или игры судьбы всегда любили одну женщину на двоих и, если первый отвозил берсменную красавицу в госпиталь, то забирать ее с первенцем приезжал второй). Этот друг-враг, знакомый с нашей героиней лишь по стихам, явился однажды одетый в строгий смокинг с букетом оскорбительно белых роз, церемонно пригласил мать нашей героини пройти с ним в гостиную, где и попросил, как, по слухам, это было принято в России, руку ее дочери. Ошеломленная, та отвечала уклончивым согласием, конечно, если согласится ничего не подозревающая дочь, и, естественно, забывая о зяте. Дочь, странно и протяжно улыбаясь, согласилась и уехала с новым мужем через полчаса, возможно, не желая откладывать счастье, захватив с собой пишушую машинку, четыре тома русского поэта Чехова и маленькую собачку, чистопородного пекинсеа, без которого не могла жить. По одной версии, она вернулась наутро. По другой, дело даже не дошло до постели, и они поссорились в первый же вечер (здесь мнения опять расходятся) то ли по поводу поэтики футуризма, то ли из-за брачного контракта, условия которого ей не пришлось по душе.

Болтают, что мадам Виардо соглашалась делить ложе только с мужчинами—второсортными поэтами, не желая даже тут отдавать кому-либо пальму первенства. Короч: как огонь нуждается в кислороде, так она нуждалась в обожании. Один из наиболее упорных поклонников мадам Виардо был гигант Шварценеггер, который, если и писал стихи, то никому их не показывал, но зато был знаменит свосей фантастической силой, умением глотать огонь и сложением неуклюжего, доверчивого и милого геракла ростом в шесть с половиной футов и весом чуть ли не двести фунтов. Неизвестно даже, умел ли он читать, но зато умел слушать — и голос мадам Виардо стал для него притягательней песней одиссейских

сирен. Он стал ее тенью, суровым и нежным телохранителем и, как писали в русских бульварных романах, не наломал бы дров, кабы не гипнотическое влияние, оказываемое на него мадам Виардо, от одного жеста которой он готов был перевернуть горы. Один из самых легендарных скандалов, учиненных им, об этом случае сообщили даже московское радио (уверявшее, правда, что маховым колесом скандала стали агенты национальной охранки), произошел на профессорской квартире почтенного ученого-фенолога г-на Ли, чей сын писал сладкие акварели и не менее сладкие стихи маньеристского толка, и где по случаю собралась чуть ли не вся русская богема. «Голос Москвы» передал, что нанесенный ущерб исчисляется в 20 тыс. золотых песо. Более скромные местные источники называли сумму, которая колеблется от 3 до 5 тысяч. Был разбит дорогостоящий фарфоровый сервиз, почти вся посуда и зеркала, содрана кожа обоев, поломана мебель, многострадальное видео было расквашено о стену и выброшено в окно или на лестничную площадку вслед за всеми гостями мужского пола. Пощажены были окаменевший от ужаса и водрузивший подбородок на свою резную палку в позе мыслителя Родена Вико Кальвино и еще один субъект, предусмотрительно запершийся в соседней комнате с невестой хозяина. (Кстати, именно эта милая и несколько ветреная женщина, подвергшаяся этим вечером изнурительной попытке изнасилования со стороны известного в богемной среде игрока и шулера г-н Чинека, впоследствии стала четвертой женой брата Оранга). Среди потерпевших был и случайно попавший как *кур во ши* (рус.) гость из Москвы и издатель альманаха «Медное время», г-н Ромерро (как передают очевидцы, увидев, что творится, он мяукающим голосом предупредил о своей дипломатической неприкосновенности, и это решило его участь).

По одной версии скандал начался с того, что мадам Виардо порезала себе палец и, не отыскав ни платка, ни салфетки, брезгливо морщась, вытерла руку о белое платье Елены Игалтэ. По другой, на нее внезапно нашел стих кидания острых предметов в цель, столовое серебро полетело через стол, гости были наказаны за ропот. По третьей версии все началось с того, что игриво настроенная мадам Виардо с кошачьей грацией прыгнула на колени синьора Кальвино, который с ужасом увидел побагровевшее лицо ее телохранителя и неловко попытался освободиться от столь компрометирующего соседства. Он никого не хотел бить, этот золотокудрый, розоволикий Антей — он просто услышал звон серебряной трубы и поспешил на помощь, как щенков, расшвыривая всех, кто вставал у него на пути. Ему не было дела ни до картин, ни до люстры, ни до драгоценного стекла — он хотел освободить принцессу от щупальцев дракона, которые тянулись к ней со всех сторон. Мы могли бы познакомить читателя с разными деталями, вроде той феерической и филигранной работы, что гигант-телохранитель совершал схваченным

им одной рукой видео, используя его как палицу, пока зажатой в руке не оказалась какая-то кривая железяка. Но то что происходило, точнее всего отражалось на лице молодого хозяина квартиры, которое изменялось с каждой секундой, с каждой испорченной картиной, разбитым плафоном, расколовшимся надвое столиком с драгоценной инкрустацией, как известный портрет в фантастическом романе Уайльда. А когда после завершения погрома внезапно отворилась дверь и из нее выпорхнула отныне навсегда им потерянная невеста в весьма беспорядочном наряде, а за ней следом со словами призыва и с пеной бешенства на устах — известный похититель чужого г-н *Chinek*, на ходу застегивая штаны, лицо хозяина-поэта приобрело совершенное сходство с античной маской скорби, чем мы и позволим себе завершить описание того июльского вечера.

“Мне было скучно среди этих теней, — ответила в интервью корреспонденту газеты вечерних новостей мадам Виардо. — И не моя вина, что они не понимают шуток перевоплощения”. — “Ваше отношение к г-ну Ромсерро и его журналу?” — “Я не читаю поваренных книг”. — “Кто из живущих сейчас в России поэтов вам наиболее близок и оказал на вас сильнейшее влияние?” — “Ого, вы или слишком смелый молодой человек или слишком торопливый, для которого чужая душа — копейка, а своя голова — полушка”.

Пусть читатель представит теперь Ральфа Олсборна, которого однажды ночью угораздило подняться по полутемной лестнице в сопровождении двух приятельниц, откликнувшись на призыв сестры Марикины приехать попрощаться с ней перед тем, как ее вышлют на единственном бомбардировщике Национальных военно-воздушных сил в Россию. Нажав на звонок и зная то, что знаем теперь мы, он видит молча выросшую на пороге мадам Виардо, чье лицо отнюдь не выражало страстного желания казаться чересчур любезной. Как вспоминают очевидцы, она застыла на пороге своей квартиры в позе презрительного недоумения, не ответив или, лучше скажем, почти не ответив на приветствие (ибо небрежный наклон головки вряд ли сойдет за гостеприимное приглашение войти в дом), возможно, узнав виденного ею раньше сэра Ральфа, возможно, и запомнявав, но, вероятнее всего, негодуя, что он заявился в сопровождении двух незнакомых дам. Не ясно, чем бы окончилась эта сценка, не вылепи пространство появившуюся из-за ее плеча милую сестру Марикину.

Все, кто видел в те дни ту, кого теперь каждый школьник знает под именем матери Марии, были единодушны в том, что она источала какой-то ровный теплый свет, спокойной соглашаясь со всем, что ей предстоит, и решительно отличалась своим настроением от обычной нервозности отъезжающих: она не думала о тех упорно ходящих слухах, что некоторых реэмигрантов интернируют, поселяя в специальных ла-

герях в Сибири, что в России далеко не все так лучезарно и благополучно, как это представлялось издавека, что для коварной Москвы она уже использованный шанс и ее выкинут на свалку при первой же возможности. Душа будущей матери Марии была отбита и размягчена до такого предела, что она с равным согласием встретила бы известие, что она едет не домой, а в Австрию, или едет через год, или вместо России едет на Запад, то есть не делала трагедии из того, что бы ей не предстояло, благожелательно принимая любой поворот судьбы, от которой стала уже независимой. Единственный, кто неизменно вызывал у нее легкое раздражение, — был синьор Кальвино. Он нес какую-то несусветную чушь о «московских процессах», ссылаясь на полученные из якобы достоверных источников сведения, слушать все эти глупости было невыносимо, и она постоянно, что называется по-русски, подкалывала его, подтрунивала, передразнивала («схромай за чайником, дорогой», «будь ласков, заткни фонтан»), в чем, только более колюче и неловко, помогала ей мадам Виардо. Они с двух сторон набрасывались на него, как две хозяйки на любимый пыльный ковер, и колошматили его палками, чтобы выбить пыль и какой-то мерещущийся им запах. Никто не обращался с синьором Кальвино настолько бесцеремонно, как эти две женщины, хотя он и сносил все наскоки с благодушием старого пса, которому не дают покоя надоедливые мухи: он как бы отряхивался от них, понимая, что они живут по другим законам, и здесь ничего не поделаешь. Мадам Виардо упрекала синьора Кальвино настолько упорно, что иногда казалось, будто в ее наскоках есть какая-то цель, что тем более оттенялось ее патетически-высокопарным тоном, каким они общались с сестрой Марикиной: радуга-дуга разлука, поцелуйте за меня родимую землю, нас объединяет небо. И тут же с фамильярным просторечием набрасывались на мягкий любимый ковер, выбивая из него невидимую постороннему взгляду пыль.

Лишь очень немногие на моей памяти позволяли себе по отношению к синьору Кальвино неуважительный тон: простодушная дуручка-сибирячка, которую его третья жена наняла нянькой к своим детям (однажды при мне она замахнулась на него палкой — стоявший рядом кувшин раскололся на куски), глава мафии русских учителей, исключенный из Торонтского университета за то, что выкрал лучшие книги из фундаментальной библиотеки и соблазнил половину профессорских жен, человек с демонической внешностью и неукротимым темпераментом, достойным лучшего применения, тративший пару тысяч песо только на рекламу своей преподавательской лавочки (уже одно это должно было вызывать сомнение в том, что недаром, очевидно, на его деятельность смотрят сквозь пальцы). Но он казался обаятельным, имел любимицей женщину с внешностью французской манекенщицы, снимал в городе несколько квартир и некоторое время приятельствовал с

синьором Кальвино, покоряя его своей щедростью и широтой (поил русским виньяком, делал дорогие подарки и разрешал себе называть его в глаза «чучелом», что было невозможно фамильярно, неумно и оскорбительно); но он впоследствии сказался внедренным в русскую среду агентом Москвы.

Несколько раз в ту ночь казалось, что неминуемый скандал вот-вот разразится, но, очевидно, мадам Виардо сдерживало присутствие сестры Марикины, которая настраивала ее на патетический лад и мешала снять тормоза. Наибольшее ее неудовольствие вызывал приведенный синьором Кальвино какой-то странный тип (очевидно, захваченный просто по пути), якобы побывавший в России под видом французского туриста и рассказывавший всякие несусветные вещи о российских порядках. Будучи, как говорят русские, *на взводе*, он время от времени щелкал аппаратом со вспышкой, чем приводил в негодование мадам Виардо. Она требовала, чтобы он прекратил снимать, угрожая разбить аппарат о стену, но этот полупьяный дурачок, только что вернувшийся из церемонной России, очевидно, не мог взять в толк, насколько в ее словах мало преувеличения, и продолжал ярким светом вспышки мешать тени с искаженными предметами, двигая своим аппаратом по какой-то странной траектории. (Вспышка щелкнула пару раз подряд, и посередине комнаты, над столом с белой статуэткой, у которой отвалилась одна ступня, и черепом-пепельницей (тем самым знаменитым черепом — атрибутом обезьяньего общества) возникло белое слепящее пятно, что снежной Антарктидой повисло на несколько мгновений, как стратостат). Я с опаской следил за тем, как объектив направлялся в сторону мадам Виардо, и думал о том, что уметь нести груз одаренности и не вставать при этом в позу действительно не просто для слабой женщины, ибо, если есть в душе женское, то есть и слабость, и стоит только начать протестовать, пытаясь заполнить пустоты чем-либо посущественнее, как они незаметно оказываются заполнены тем, что первый римский поэт назвал «чувством своего места».

Но вернувшись под утро домой — это было трудное, тугое время, мне не писалось и я боялся, что это навсегда, — с каким-то смутным, неряшливым чувством открыл тоненький сборник стихов негостеприимной хозяйки и уже через пять минут летел куда-то, ощущая себя пронзенным и окрыленным одновременно, будто только что посетил Геркуланум. А проснувшись на следующее утро сделал последнюю запись в своем «гербарии», подведя тем самым черту: «Одних женщин нужно любить, другие врачуют душу, жениться надо на тех, на кого без отвращения можно смотреть по утрам».

Только сумасшедший мог позволить себе роскошь жить с гениальной поэтессой, мне куда более понятен был выбор Вико Кальвино — скажем, той, что выскочила в несколько растрепанном виде в раскрытую дверь

предыдущего абзаца и которой посчастливилось впоследствии стать его четвертой, но не последней женой. В меру умная, веселая, выносливая — не жена, а идеальное эхо, слепок, парус — подул: тугой как барабан; устал — журчит как хрестоматийный ручеек. А ее отнюдь неординарные мужья (так как на синьоре Кальвино мы загнем третий палец)? Предыдущим был человек с летящей по ветру пепельно-седой шевелюрой и сизой бородкой с крошками, щеголявший узкими брюками чуть ниже колен, не по размеру огромными штiblетами с волочащимися шлейфиками шнурков и дырявыми носками, в которые удивленно глядели желтые пятки. Завсегдатай русских чайных с неперменной стопкой книг под мышкой, одну из них он читал на ходу, сердито чиркая по строчкам шариковой ручкой, так что подчеркнутой оказывалась каждая вторая строка. Он только что вернулся из мест не столь отдаленных, куда попал за участие в историсофском кружке, образованном в короткий либеральный период для изучения причин, приведших к поражению русской армии в первые годы войны против французов, что закончилась потерей России этого лакомого острова. Как Улисс, он был наказан за любопытство. Его встретили странным вопросом, который две недели не сходил с уст постоянных посетителей богемных баров и кафе Сайгона и Ольстера: «Зачем вернулся Динабург из Шлиссельбурга в Петербург?» (рус.); делая акцент на первом слове. Восемь лет, заплаченные им за пытливость ума, не охладдили его мальчишеского пыла и, познакомившись с теми, кто впоследствии образовал костяк оппозиционной литературы, он стал создавать для них своеобразную философскую раму, удачно окружая их творческие искания и способ жизни вдумчивыми и не лишними изящества обобщениями. Но больше, чем говорить, он любил писать письма, заполняя целые рулоны бумаги характерной для него смесью почти гениального с невообразимо наивным и банальным, не умея выскользнуть из объятий поглощающего его бумагомарательства, и вместе со строчками вычеркивал из книжек собственную жизнь. Отшлифованный литературой до гладкости тип фантастического неудачника, который непосредственно из выражения *не от мира сего* мог перейти только в мир иной.

Но кто только не ухаживал за той, кого некогда называли сестрой Саймири? Они были знакомы с Вико Кальвино чуть ли ни с детства, но Вико был невнимателен, а она не настаивала на своем до поры до времени мудро уходя в тень и уступая его очередной захватчице, которой, как показывало время, орешек оказывался не по зубам. Их познакомила появившаяся на предыдущей странице поэтесса, о чье белое платье и были вытерты испачканные кровью пальцы, в то незапамятное студенческое время носившая, наоборот, все только черное (знак траура по покинутой родине), черные свитера и блузки, украшенные пепельными полукружиями пота подмышками, и огромным, как бляха по-

жарного, изображением Георгия Победоносца, поражающего дракона, которое висело на груди. Она была их общей знакомой, впрочем, как и другое милое шкафоподобное существо женского пола по фамилии Рабинсон, что ввело синьора Кальвино в дом г-жи Алтэ, восторженно приветствовавшей появление нового поэта, как, впрочем, встречала почти любого, если только он не кричал дерзости через забор. Через неделю после этого знакомства г-жа Рабинсон была отчислена из университета за академическую неуспеваемость, переехала в один провинциальный городок, где то ли в отместку за какую-то обиду, то ли желая позабавить друзей опубликовала под своим именем в местной газете крупную подборку, куда включила стихи своих университетских знакомых, в основном синьора Кальвино, перемежая их стихами поэтов русского Серебрянного века, пока еще не известных широкой публике колонии и тем более редакторам захолустной газетенки. Профессиональная мистификаторша. Ей сошла бы с рук эта проделка (подборка начиналась с шапки пышного предисловия, где небрежно хваля темперамент молодой начинающей поэтессы, редакция сурово критиковала некоторые строчки Кизеваттора и Момбелли). Аппетит приходит во время еды, фильм «Большая жратва» еще только задумывался автором, ей захотелось сделать дубль — и, позаимствовав у своего приятеля несколько офортных досок, опять с шумной помпой она публикует серию офортов в местном художественном журнале. Ночью раздраженный художник явился с обыском, в чемодане под кроватью нашел свои офортные доски, а в папке на столе стихи, в основном подписанные синьором Кальвино. Таким образом, первый гонорар, вкуче за свои стихи и за стихи поэтов Серебрянного века, Вико Кальвино получил из рук судебного исполнителя.

Шестидесятые годы — поистине веселое время. Тогда открытия следовали за открытиями и, казалось, этому не будет конца. В ту пору не писал только ленивый. Не писать — было сродни подвигу самоотречения. Она полюбила его за стихи, он за счастливый талант ничего не писать и быть при этом всегда уместной. Она принадлежала к новому типу людей, для которых в жизни нет места трагедии. И не впадала при этом в панику или истерику, а оставалась насмешливо спокойной и милой лапушкой, почти очаровательной, кабы не ее косоглазие, так как собеседник не всегда точно знал, в какой именно глаз нужно смотреть, спросить чаще всего стеснялся и от этого чувствовал себя неудобно. Но даже с косенькими глазками она была симпатична, хорошо сложена и умела быть непринужденной, что в богемной среде невиданная редкость. Если возникало очередное затруднение вроде звонка из больницы о рождении ребенка очередной любовницей Кальвино, или седая балерина (эта гроза его жен) звонила из автомата снизу, вызывая его на разговор, сестра Саймири трогательно собирала мужа, успевая всучить

уже в дверях подаренные ей накануне цветы. Сентиментальность и чувствительность, выставляемые напоказ, — род несвежего белья, торчащего из-под рубашки, и дело даже не в том, что в литературе сентиментальность — уже использованная попытка, а в том, что в жизни изначальной стороной сентиментальности, порой, является колючая нетерпимость, вроде гладкой — с одной и ворсистой с другой стороны ткани.

Много раз во всевозможных компаниях я встречал одну странную, как-то неловко согнутую особу (лет сорока пяти — сорока семи), которая постоянно таскала за собой невообразимое число сумочек и мешочков, при разговоре трясла головой, казалась только что вытащенной из нафталина; а ее трагичный молью облик чем-то навсегда изумленной и сломленной женщины носил отпечаток старомодной порядочности и грустной доброты, и кто-то потом сказал мне, что это бывшая жена некогда знаменитого островного абстракциониста, давно спившегося, сошедшего со сцены и умершего в полной нищете. Теперь-де она подрабатывает, аккомпанируя на фортепьяно в каком-то русском кабаре, и пишет пустые женские стихи, отличающиеся полным отсутствием настоянного на эгоцентризме таланта и наивным стремлением осчастливить и сделать лучше весь мир. Нет ничего ужаснее и беззащитнее плохих стихов, написанных хорошей одинокой женщиной. Хотя, по моему, эти восемь, ибо их было именно восемь сумок: легких полиэтиленовых мешочков и разноцветных авосек, я заметил уже потом, выудив из памяти согбенный облик немолодой бесцветной женщины, выражение лица которой как бы передавало борьбу между неловким желанием улыбнуться и при этом не расплакаться. В соответствии с ее идефикс, она попала в ловушку, расставленную некими мистическими силами; где-то на периферии разговора мелькал абрис черноволосого красавца-психиатра в роговых очках, что посоветовал креститься в период, когда на нее в первый раз нашло затмение, и она блуждала в каких-то сиреневых сумерках, иногда попадая в фокус размытого источника желтого света, и попыталась очнуться только тогда, когда самый мелкий и жалкий слуга этих дьявольских сил, неизвестно как оказавшийся в ее комнате, изнасиловал ее в первый раз. Она была наслышана о нем, как о шулере, игроке и клептомане, но, конечно, не верила грязным слухам, как вообще была не в состоянии поверить во что-либо дурное. А теперь, уходя, он отобрал у нее все деньги и сложил в свою сумку наиболее ценные книги, сколько мог унести. Нет, она была не настолько глупа, чтобы посчитать этого надутого бонапартика главным узлом накинутой на нее сети, она не заблуждалась на его счет: он сам называл себя весьма странным образом, цифрой — она забыла какой — и эта цифра являлась кодом его подлой ничтожности. Он приходил к ней внезапно, появляясь без стука, хотя потом она научилась за несколько дней чувствовать его приближение, сопровождающееся головными болями, ломотой в суста-

вах и каким-то странным расстройством зрения, когда предметы как бы расслаивались; будто двигались за неровным стеклом, а если ускоряла шаг, то они падали друг на друга, точно прутья ограды. Лишь в первый раз она посчитала его принцем, спустившимся с небес и только немножко неловким и жестоким, ибо куда-то спешил, а у нее не было ничего ни с одним мужчиной уже целую вечность. Это было ощущение странного, то теплого, то холодного света, пробивающегося сквозь шелку в шафрановых занавесках в эсенний день, хотя и смущало то, что он молчал, абсолютно, бесповоротно, глухо, не произносил ни слова, а затем, измучив ее, стал бить, а затем изнасиловал опять. Месяца через два она стала замечать, что с ней творится что-то неладное: ей становилось душно даже при открытой форточке, тогда распахивала окно — становилось холодно и душно одновременно, простыни и наволочки источали какой-то странный дурманящий запах, она задыхалась, сердце стучало около горла, босыми ногами бежала к окну, дышала, запах вроде исчезал, а потом все начиналось снова. И только однажды, когда занавеска всколыхнулась среди ночи, обнажая на миг серо-зеленый сумрак за окном, она увидела трапециевидное пятно на паркете, перекрещенное черным отражением оконной рамы, и поняла, что это неспроста. Ее вещи специально отравляли прикосновением, чтобы загнать обессиленную в ловушку, и когда в следующий момент заскрипела дверь и в облаке дешевого сладкого дезодоранта вошел г-н Шипек, она не удивилась — ждала.

Они приходили в ее отсутствие, трогали вещи, чтобы она задыхалась, — она пыталась спать голой на полу, но простудилась, больная ходила на репетиции, что-то играла, хотя в голове шумело и нестерпимо хотелось спать, а ночью опять приходил он, — жалко, беззвучно боролась, он ее бил, насиловал, а потом опять исчезал, унося с собой книги ее отца и деда, хранителя Румянцевской библиотеки. Книг было уже не жалко, как вначале, но зато и она стала хитрить — и уходя, забирала с собой все белье и одежду, которые потом таскала с собой целый день. А потом стала развешивать кое-где потаенные ниточки, чтобы знать заранее, были ли они в ее отсутствие или нет; но ниточки тоже обманывали. Иногда они висели на своих местах, а к полотенцу нельзя было прикоснуться, не заразившись.

Нет, она не была такой уж беспросветной дурой, чтобы обратиться к кому-нибудь за помощью, так как прекрасно понимала, что он не человек и что его *послали*, ибо иначе: отчего он молчал и не говорил ни слова, молчал категорически, хотя она знала — умел говорить, да и если бы был человеком, зачем ему она, старая, некрасивая женщина, когда вокруг сколько угодно других, которые отдаются добровольно, а не после побоев? Нитки не помогали. Сумки с бельем, которые таскала с собой, помогали, но мало. Но она ждала, зная, прекрасно зная, чем это

кончится — они назначат ей встречу с Главным, и все кончится, стоит только ей сказать одно слово. Все очень просто: они боятся слов и потому неуловимы. Но она обхитрит их, заставит сказать слово — и тем навсегда освободится. И будет рассказывать, подсмеиваясь над собственной глупостью, как о неприятном происшествии, вроде простуды, что немного осложнила жизнь, но теперь все прошло, и она свободна, знаете, так бывает, я даже не думала, что это так просто, нужно только выждать момент и раскрыть их примитивные козни, какими бы хитроумными те не казались, думала она, завязывая полиэтиленовый мешочек специальной веревочкой, чтобы можно было унести с собой все эти сумки в двух руках, и не так опухали пальцы, ибо ей еще много часов стучать по клавишам.

Я встретил эту странную женщину однажды, спускаясь по лестнице, в парадной синьора Кальвино, и обратил внимание на ее жалкую улыбку и обилие сумок в руках, но даже не поздоровался, так как был незнаком, и обдумывал в этот момент статью о романе синьора Кальвино, отрывки из которой он мне только что читал.

Этому роману, несколько кокетливо названному автором «Рос и я» и, к сожалению, безвозвратно погибшему для читателей, не повезло с самого начала. Еще не будучи окончен, роман был арестован первый раз, когда синьора Кальвино вместе с сотрудником его патристического журнала высадили под надуманным предлогом в Сан-Хосе. Сначала казалось, что роман может спасти болтливость автора, — еще недописав до конца, он стал читать отдельные главы в разных русских компаниях, а эти чтения часто записывались на пленку. Но когда в результате серии профилактических обысков у подозрительных русских вместе с архивом Вико Кальвино были отобраны и диктофонные кассеты, — стало ясно, что это уникальное произведение навсегда утрачено для читателей, если только не рассчитывать на некие фантастические события, в результате которых будут раскрыты архивы национальной охраны.

В романе характерная для автора болтливость уравнивалась дважды: композиционным приемом и способом сбора материала для этой удивительной прозы, состоящей из бесчисленного множества историй, проникающих друг в друга, как слитые воедино жидкости, и образуя книгу, одновременно похожую на новый «Декамерон» и Шахеризаду. Возможно поэтому роман и погиб — автор все никак не мог свести концы с концами, замкнуть эту бесконечную болтовню повествователя, то предполагая закончить протоколами обысков, то как-то иначе, и все не решаясь поставить закрывающую скобку.

Весь стостраничный текст состоял из одной фразы, в ней, как в стихах, отсутствовали заглавные буквы и точки, и проза, снуя, как челнок, переносила читателя из колонии в метрополию и обратно (естественно, «Рос и я» — Россия, о которой автор знал только из книг и рассказов

иностранцев, походила на какое-то фантастическо-прекрасное чудище), текла как бы сама собой, начинаясь с какого-то невятного рассуждения о времени, мол, время сейчас какое-то странное, неопределенное время, вроде и орвелловский год на пороге, и душно, как перед грозой и, кажется, нечем дышать, но так только говорится, однако все дышат и дышат, так что даже запотеваает стекло в маленьком синем вагончике на колесах, так как разговор происходит именно в дорожном вагончике, поставленном посреди самой большой на побережье помойки, этого моря отбросов (читатель далеко не сразу понимал — знаменитая сан-тпьерская свалка имеется ввиду автором, или это экстраполяция неведомой России), где среди бумажного мусора, растрепанных листов, мотков проволоки и разнокалиберных конструкций попадаются разрозненные тома гранатовской энциклопедии и антикварные подсвечники, двойной газетный лист развернулся, затрепетал на ветру крыльями и покатился, в то время как автор передавал хаотический разговор на гамлетовскую тему: ехать или не ехать, уезжать или не уезжать, ибо одному из говоривших пришел вызов от его старинной московской приятельницы, хотя он о ней и думать забыл, при том, что некогда, лет пятнадцать назад, был не просто знаком, а я даже не знаю, кто кого первым трахнул, а теперь она занимала какой-то крупный, почти министерский пост в столичном муниципалитете, пройдя по избирательному списку коммунистов, ее вызов, присланный вместе с брачным контрактом (и разъяснениями, как все это нужно вернуть, как и куда надо проставить имя), непонятно как, но пришел по обычной почте, его вместе с другой иностранной корреспонденцией притащила, как обычно, консьержка, всегда приносящая бумаги из департамента миграции, и ему бы сразу почувствовать подвох, с чего это консьержка будет разносить почту из российского министерства иностранных дел, но в тот момент он от неожиданности растерялся и пропустил нужную реакцию, ибо опять ощутил забываемую жару, какая была тем летом в кабоне, где их принимали с извечным русским гостеприимством местные русские евреи, коих она чудом нашла, так как жила в колонии только третий год, приехав из биробиджана, куда направил ее отец, видный сибирский коммунист, бежавший в москву после военного переворота в еврейской автономной области, и где только через семнадцать лет была восстановлена коммунистическая партия, эмигрантам отвели особый дом, построенный тем же архитектором, что и известный московский дом молотова и компании, было свое цека, свои рядовые члены, хотя та часть партии, которая ушла в биробиджане в подполье, тут же выступила с опровержением: мол, что это за коммунисты, которые бросили родину на произвол судьбы в трудный час, но еврейская часть партии приводила в пример ленинский опыт, и так существовали две враждующие и

непримиримые друг другу фракции, а она жила с матерью, что держала лавку в сан-тпьере, переписываясь с отцом через израиль, чтобы не подводить мать, но когда ей исполнилось тринадцать лет, то чудом сбегала, захватив с собой что-то вроде метрики, добралась до биробиджана, где отец отдал ее в местный лицей, но когда пришла пора учиться дальше, избрал самый дешевый способ и после путешествия по европе отправил ее в русский университет сан-тпьеры, однако трудность состояла в том, что она осталась как бы без гражданства, приехав по направлению партии в изгнании, и если бы вышла замуж, то стала гражданкой колонии, а она ненавидела хунту люто, длилось чехословацкое лето, и они все строили планы, как она уедет в москву и оттуда вызволит его, хотя он и был уверен, что потеряет ее навсегда, как оно и получилось, но автор не давал себе труда закончить историю, не описывал знойные ночи с весьма изощренной в любви русской еврейкой в комнате под кабоной, где жить можно было только по ночам, а водку начинали пить часа в четыре, чтобы кончить к шести, ибо потом все лезло обратно, шьет дальше свое цыганское одеяло, составленное из разноцветных лоскутов и заплат и, сделав весьма плавный поворот, начинает описывать увиденную глазами четырнадцатилетнего подростка молодую женщину, что раздевается до гола на писательском пляже в коктебеле под свист и хлопки пьяной компании, из которой больше всего ему нравятся высокий бородатый мужчина, к чьей руке маленьким наручником прикована на короткой цепочке крохотная обезьянка, и не торопясь идет в воду, хотя мать мальчика, полная жгучая брюнетка требует, чтобы он не смотрел, смотреть будет только она, пусть этой проститутке станет стыдно, вот, дожили, если это свобода, то она просто не знает, лучше как раньше, и сыр по три рубля, и порнуху по телеку не показывают, а он чувствует, как трещат нитки по шву плавок, ибо видит, как вода доходит до белого треугольника, затем до розовой (с ошметками обгоревшей кожи) полоски на спине, а затем она ныряет, а он, чуть ли не застояв сквозь зубы, персворачивается на живот, чтобы мать ничего не заметила, а еще через десять минут, зажав в ладони трехкопеечную монету для автомата газоды, ему удастся подслушать у газетного киоска, как бородач с ручной обезьянкой говорит товарищу в шелковой тюбетейке на стриженной под ноль голове, что сегодня ночью эта ленинградская феминистка будет делать лотос в голом виде посреди обеденного стола на спор, чтобы заработать на обратный билет у одного кадра в лачуге в двенадцати милях от коктебеля, привет, старик, и вот, встав ночью, мальчик, едва удержавшись, чтобы не оставить на простыне еще одно корявое желтое пятно, за которые ему настолько стыдно перед матерью, что он вскакивает по утрам раньше ее, стараясь заправить постель потрепанным пиксйным покрывалом хозяйки, вдруг мать ничего не заметит, хотя та наперечет знала все эти пятна, изучая

географию его поллюций с кропотливой дотошностью, пока он менял книги в местной библиотеке, либо стоял в очереди в магазине за плавленными сырками, скрипнув подагрическим суставом двери, в последний раз обернулся на спящую мать, видя, как пузырится от дыхания закрывшая рот простыня, и, сделав шаг, окунулся в черно-фиолетовую волну южной ночи, прорезанную прожилками терпких запахов, которая ворсистым куполом накрыла его с головой, и первые шагов десять сделал вслепую, слыша, как стрекочут сумасшедшие цикады, где-то на околице залаяла собака, с поэтическим чувством рифмы ей ответил хозяйский тузик, хлопнула калитка сзади, он как во сне бежал от одной желтоватой окрестности мутного фонаря к другой, каждый раз давая жизнь новой тени, что сначала росла на глазах, а потом гибла за спиной, торопясь по дороге, ибо запомнил, как объяснял путь человек с обезьянкой своему товарищу в тубестейке, все ускоряя и ускоряя шаг от страха — за каждым кустом ему чудилось чье-то опасное присутствие, потом уже просто мчался, для храбрости открыв острозаточенное лезвие перочинного ножика, не зная, что еще через час окончательно собьется с дороги и завершит ночь в поставленной среди чужого темного сада уборной, куда заберется по ошибке, увидев огонь в доме, и заснет здесь до утра, наедине с мертвой черно-изумрудной бабочкой с блестками простроченных крыльев на цементном полу, кончив в зловонное отверстие и представляя, как прижимает лицо к узкому оконцу домика, на обеденном столе которого среди орущей и играющей в карты компании сидит в лотосе голая прекрасная женщина, виденная им сегодня утром на пляже, и как только она сделала лотос, двое мужчин перемигнулись, вышли из-за стола, спустились по ступенькам в ночной на атласной подкладке сад, и незнакомый голос сказал: слушай, ты не знаешь, почему я хочу ссать, только увижу эту дуру голой, пока шелестят возмущенные раздвоенной струей кусты, и тот же голос с приятной хрипотцой расскажет, как его таскали из-за этой феминистки в питере, так как в ее парадной однажды нашли убитую и изнасилованную под лестницей восьмилетнюю соседскую девочку, и подозрение пало именно на нее, то есть не то, что именно она изнасиловала, но в ее квартире, где живут вповалку незнамо какие хипари, мало ли, знаете, кто-то запомнился, вызывал подозрение, кстати, а где вы сами были в ту ночь семнадцатого апреля, а он как нарочно провел эту ночь вне дома, следовательно смотрел на него с подозрением из-за того, что он долго не являлся по повесткам, даже не желал их брать, когда участковый пришел однажды поздно вечером и долго стучал, в их квартире он единственный не провел звонка, и он препирался с ним через закрытую дверь, уверяя, что не откроет, потому что не верит, чтобы нормальный участковый заявлялся к человеку ночью, выругавшись, тот подсунул повестку под дверь, но и по ней он не пришел, и только когда его взяли перед входом в публичку, покатав

предварительно полчаса в пээмгэ, стал отвечать на дурацкие вопросы, ибо ночь семнадцатого апреля провел уложенным в бессознательном состоянии на диванчике во французском посольстве, куда пришел вместе с приятелем в спортивных тапочках на босу ногу, оказавшись в столице от его историй, а напился он, ибо прислуживающий за столом китаец в белом фраке наполнял рюмку, только он ставил ее пустую на стол, вырастая как тень из-за спины, уже потом ему объяснили, что надо было оставлять хоть немного на доньшке, мол, таков этикет, но он этого не знал и все рассказывал и рассказывал о винах, ибо разобрался в этом как профессионал, хотя на самом деле по профессии был психолог, переводил юнга, но зарабатывал на жизнь тем, что писал о крымских винах, теперь, рассматривая цветную фотографию найденной под лестницей девочки, в специальной квартире, натятой для частных бесед органами, вертел ее так и смяк, пока следователь долго шумел водой в сортире, наконец, вышел и улыбнулся, как смоктуновский, изображая порфирия петровича, но, забирая фотографию, стер улыбку, как пыль, и тогда, чувствуя, что искушает бес, начал крутить динамо: мол, неплохая работа, но могли бы и получше сделать, имея ввиду качество фотографии, и тот сразу подключился, что значит лучше, проявитель не точно подобран, видите, недаром у вас борода, видно, от многознания, или вы по другой причине бороду носите, я-то отвечаю, но вы ответьте — почему вы не носите, ведь носить естественно, а не носить неестественно — надо брить: значит, жиллет, опять же лезвия, их не достать и так далее, пока тот опять не спросил, могла ли она не убить, но заманить в свою ночлежку, как по вашему, сказал — нет, что вы, она ведь баптистка, ну и что, и опять пошел вешать лапшу на уши: вы разве не знаете, что по сообщению юнеско насилуют и убивают детей именно атеисты, примерно 99% против 1, а, значит, маловероятно, но следователь опять за свое, вы с ней знакомы, почти нет, как нет, она разве не была у вас в крыму, была, но кто там не был, а не делала ли она у вас лотос в голом виде на обеденном столе, ну и что, было дело, приехали на машинах торгоши-евреи из ленинграда: толстые, внушительные, с красивыми бородами, пьянка, длаящаяся не один день, когда уже не понятно — день это или ночь, разговор сумбурный, обо всем, о шмотках, о боге — торгоши вежливые, не задаются и не воображают, и где-то между делом, ну, галя, раз вы говорите, что изучали йогу — можете сделать лотос вот здесь на столе, среди посуды, в голом виде, могу, сказала и сделала, и без всякого спора, никаких денег на обратный билет, но этот разговор, конечно, состоялся не здесь, а на крыше дома, что на углу маклина и декабристов, серо-перламутровой петербургской ночью, выйдя подышать после чтения глав означенного романа, пересланного автором своему старинному приятелю, тоже хромоногому поэту из ленинграда,

который читал его здесь же на крыше, куда был вытаскен стол и стулья через окно мансарды, и хозяин, один из самых злоязычных писателей, получивший в прошлом году парижскую премию владимира даля, сам похожий на обритого сологуба, шептал на ухо коротко подстриженной поэтессе с искусанными ногтями, что ему эта проза напоминает кильки в томатном соусе с овощами, где все так перемешано, что непонятно что где, но запах ото всего одинаковый — пряный дешевый соус, или, еще пуще, спрессованная и затянутая каркасом проволочной сетки помойка, где среди лохматых бумаг и мусора может попасться и нечто занимательное, как исключение, ибо роман был построен таким образом, что как бы вбирал по пути все мнения и отклики, рос как снежный ком или как намазанный и плюющийся аспидно-блестящей смолой шар, что собирает своей поверхностью путь, по которому катится, и вспомнил, как на этой же крыше читал свои стихи внушительно-плачущим голосом один столичный поэт, друг рыжего американца, и когда он прокричал: одиннадцатого апреля и двадцать четвертого мая я пью под вашими портретами, снизу заорали, эй, что у вас там происходит, сволочи, перестаньте хулиганить, сейчас вызовем милицию, и, свесившись, увидели внизу собравшуюся толпу и спешащего наискосок от перекрестка участкового, а когда все кончилось, все вернулись в комнаты, и состоялся этот разговор про известного всем археолога, собравшего коллекцию, хранящуюся сейчас в кунсткамере, банок с заспиртованными членами русских ненцев, не может быть, кто бы ему позволил, ну, я тебе говорю, если он только намекал, что его с антропологической точки зрения интересует череп или член такого-то, ибо он рассматривал выстроенных перед ним строем аборигенов со спущенными штанами, то вечером ему уже приносили банку, на которую для маскировки был натянут шерстяной чулок, вот вам пример тоталитаризма, господа, что хотят, то и делают, и выдохнувшись окончательно, продолжили прерванный спор о вызове, присланном ему из российского министерства, с чего бы это она вспомнила о нем через пятнадцать лет, хотя он тоже запомнил эту поездку на всю жизнь, звонкий, хрустящий как жареный картофель, август шестьдесят восьмого, у них только начался сумасшедший роман, когда они с помощью автостопа исколесили весь юг, и она оглашала своими криками и стонами те полупустые студенческие общежития, где они оставались, но все равно было непонятно, что делать, даже если это подвох, то нельзя ли изловчиться и воспользоваться, вот было бы дело, и начался обычный бредовый разговор о том, как он обоснуется, скажем, в ленинграде и устроит наконец-то приличное русское издательство, которое будет выпускать только настоящие книги, так как это просто беда, что колониальная русская литература находится в таком провинциальном состоянии, что даже, старик, у тебя нет ни одной приличной книжки, потому что в этих журналах все перемешано с му-

сором, все погрязли в дружеских связях и печатают не потому, что хорошо, а потому что приятель и собутыльник, мол, надо вытащить и очистить от мусора то, что заслуживает внимания, и издать спокойно, без всякой политики, пусть небольшими тиражами, но настоящую литературу, красиво, на толстой бумаге, со спусками, по одному стихотворению на странице, с форзацами и авантюлами, но без всяких педерастических виньеток, бред крепчал, стали обсуждать название издательства, пропилеи, нет, лучше новый арзамас, тогда уж зеленая лампа: и где достать оборотный капитал, чтобы не связываться со всем этим эмигрантским сбродом, ибо с ними всеми что-то такое происходит, только они пересекают границу, вчера звонил лев александрович, и на что был благоразумный, то есть хотел сказать, безумный человек, но тут чуть ли не открытым текстом говорит: у тебя нет незасвеченных каналов, чтобы переслать тебе книги, как будто не понимает, в каком мы здесь положении, а потом, конечно, кого из поэтов издавать первыми, так как мы выделили только одну из основных линий романа, дали ощутить и попробовать его на вкус, вспомнив наиболее запавшие эпизоды этой линии, но сам роман в одном из своих разворотов был посвящен тому кризису поэзии, на который указывал недовольный своими товарищами по литературному цеху автор, сводя любой разговор на поэзию, и вставляя в орнаментальную ткань повествования запоминающиеся овалы медальоны портретов, в основном, собственных друзей, которые не оправдали его ожиданий, вроде приятеля еще по лито во дворце пионеров, что вошел в открытую дверь одной пространный беседы с полосатым матрасиком, украшенным желтым расплывшимся пятном, так как не мог простить ему того дурацкого суда, куда его пригласили в качестве свидетеля, ибо этот неудавшийся поэт возбудил дело против горэкскурсбюро, уволившего его из-за пьянок и жалоб туристов, и тот, посоветовавшись со своим знакомым юристом, решил опротестовать увольнение, упирая на то, что в подписанном им трудовом договоре не было статьи, запрещающей экскурсоводу пить во время дальних экскурсий, но в самый решительный момент открылась дверь и внесли главную улику: полосатый, красно-белый матрас с желтым пятном посередине, обоссанный поэтом в гостинице ночью, пятно, более светлое в центре, угрожающе желтело ближе к краям, будто его отретушировали и обвели контуром, почти полностью совпадающим с каспийским морем, словно их сотворил один и тот же биографический карандаш, кропотливо вырисовывая бухты, лагуны, мысы и вот этот необитаемый остров, где впоследствии поселился тот, чья уникальная юность была описана в журнале для верующих и неверующих: эдакий белобрысый ангелочек с голубыми глазами, попавшийся на глаза следовательнице иоанна кронштадтского, напомнив ей одну редкую икону, изображавшую Христа-младенца на руках не у мадонны, а у иосифа,

редкий, драгоценный экземпляр, и с согласия матери стала читать ему главы священного писания, жития святых, показывать картинки, мальчик предъявлял чудеса памяти и восприимчивости, им заинтересовались руководители секты, взяли под свою опеку, и к тринадцати годам он уже был вылитый юный прелестный иисус, на него приезжали смотреть из других городов, старушки, когда он входил в церковь, крестились и кланялись до земли, шептали о втором пришествии, показали его митрополиту, тот, испуганно покашливая, благословил — чистый, благородный отрок с большим будущим, да, пути господни неисповедимы, через год решили везти его к патриарху в загорск, ибо он день ото дня становился все более похожим на лик, запечатленный на иконах, и особо было наказано готовить его к пасхе, не пропуская ни одной службы, ни утренней, ни вечерней, но все закончилось однажды, в последний день поста, когда вошедшая в комнату женщина-опекунша увидела своего любимца, пожирающего куриные потроха с полной костей тарелки, вместо того, чтобы обойтись постным, и воскликнула: дьявольское отродье, а благочестивый отрок, окинув ее чистыми небесными очами, смачно рыгнув, зарычал вдруг непотребные богохульства и с криком выскочил из дверей, поступил после седьмого класса в ремесленное малярное училище, одновременно став писать антирелигиозные стихи, затем школа рабочей молодежи, после которой несколько раз безуспешно пытался поступить на классическое отделение филфака, так как стихами увлекся всерьез, но вследствие неудачи пошел учиться в вечернюю музыкальную школу и вскоре перешел на вечернее же отделение музыкального училища им. мусоргского по классу вокала, но окончив три курса, оставил не только эту карьеру, но и любую другую, так как еще в ремесленном училище стал посещать литературное объединение «голос юности» вместе с сосновой, глебом горбовским, что пьяный писал стихи для души, а трезвый — патриотические вирши, но более всего напортил руководитель кружка дар, который, прежде чем умереть в израиле, успел вскружить голову неумеренным похвалами многим, а того, кто еще совсем недавно готовился к роли спасителя, это совсем сбило с толку, ибо, как ни странно, он действительно писал хорошие стихи, но когда в частной беседе дар назвал его лучшим из современных поэтов, смутился и, тут же поверив, стал оснащать свой лексикон теологическими терминами, отвечая на все замечания, что у него каждая точка боговдохновенна, ибо уже давно замаливал свои ранние грехи, не замечая, что при профиле пророка исремии, он имеет фас пионера-пятиклассника, а когда ссорился с женой, то писал в разные инстанции, уверяя, что не может жить с женщиной, которая с коммунистами ходит в ресторан, а он всю жизнь стучался в разные запертые двери, стучал руками, ногами, кулаками, лбом, коленями, головой, телом, духом, всем, что у него есть, а ему не открывали,

а когда дверь открылась, то к полутемному подъезду подкатил белый кадиллак без номера и с выбитыми фарами, из него, перемахнув через погнутую дверцу, выбрался одетый по фирме небритый цыган, чтобы через полчаса, сидя в сумрачном кабинете за столом, покрытым изумрудной ряской зеленой — до полу— скатерти с бахромой, играть в американский покер с крупными ставками и вести беседу о лагере баскских террористов под горьким, об опальном академике и знаменитом отшельнике, помогающем издавать третий том философии общего дела, уверяя, между прочим, что за граница — это все мура, ибо ее просто нет, как нет и свропы, и девятнадцатого века, а все это выдумали евреи, которых вместо штатов, которых тоже нет, отправляют за урал, и они там шьют джинсы, печатают континент и записывают с помощью ларисы мондрус битлов, а из наиболее одаренных составляют штат вроде бы враждебных радиостанций, а все это чепуха и миражи потемкинских деревень, ибо фантастическая проза уже тесла дальше, меняя по пути свое мелко-изрезанное русло, сворачивая под прямым углом, обретая труднопроходимые пороги или напротив уютные заводи и заросшие небритым камышом озера с прозрачной водой и удивительно чутким эхом, и — это понятно — не пропади роман так бесследно и окончательно (одновременно становясь легендой), русская литература не лишилась бы, возможно, одного из наиболее интересных и уникальных произведений, а так как сам автор намеревался закончить повествование каким-нибудь документом, как бы подтверждающим, что все выше-сказанное, несмотря на намеренную хаотичность изложения и фантастический колорит, правда, именно по существу, то и мы, не желая исказить авторскую волю, закончим главу подобным материалом.

Национальный характер

В справочнике лорда Буксгевдена (принадлежавшего к некогда знаменитой фамилии князей Львовых), составленном, как свособразное руководство к плаванию по бурному морю, каким для начинающих романистов является литература, в качестве специального раздела, помещенного, правда, в конце этого необычного издания, находим весьма оригинальную статью под названием «Национальный характер», непосредственно посвященную национальным пристрастиям будущего лауреата.

Статья, как и все в этом справочнике, принадлежит, конечно, перу князя Львова, но она заинтересовала нас обильно приводимыми цитатами из ранее неизвестных работ сэра Ральфа, которые в той или иной степени затрагивают национальный вопрос колониальной России. По-

жалуй, именно этому исследователю удалось найти новый взгляд, свой поворот в анализе этой сложной темы и отчасти объяснить весьма необычные отношения к «русскому вопросу» сэра Ральфа, легкий славянофильский душок коего столь долгое время смущал его издателей и рецензентов.

Возможно, лучшее оправдание патриотизма дано в поэтической формуле: «Я люблю эту бедную землю, потому что иной не видал», так начинается свой раздел князь Львов и продолжает. Однако пристрастия, как привычка работать либо правой, либо левой рукой, не зависят от желания того, кому они принадлежат. История шлифует нации по-своему, будто выбирает корабельную команду в кругосветное путешествие, когда нельзя позволить себе роскошь взять не только двух одинаковых, но даже похожих. Или (исследователь позволяет себе экскурс в прошлое) вспомним Ноев ковчег, в который брали и чистых и нечистых, ибо пригодятся любые.

Да, физиономия любого народа не только свособразна и неповторима, но и незаменима, и все-таки понятно, почему именно русские переселенцы представляются Ральфу Олсборну наиболее оригинальными среди прочего многоязычного населения колонии. Небо и земля — это два полюса, которые притягиваются и отталкиваются, образуя силовое поле, вращающее все, что в него попадает. Русские писатели (как в метрополии, так и в колониях) всегда отличались от европейских собратьев по перу хрестоматийно известной обостренной духовной зоркостью, пристрастием к вечным, последним, проклятым вопросам смысла жизни, что иногда вредило их искусству, но зато метило их, как родственников, одной родинкой. И только здесь, в эмиграции, когда есть с чем сравнивать, становится понятно, что никто никогда не прожигал с такой ненавистью свою жизнь, как русская диаспора, ибо, не дотягиваясь до высоты, за которой начинается свет, они не делали хорошую мину при плохой игре и искренне ненавидели жизнь и самих себя, раз все это бессмысленно. Колониальный быт всегда был некрасив, неопрятен, а порой и безобразен, отнюдь не потому, что русский человек на чужбине не умеет работать, как считают некоторые западные оппоненты, а потому что в его душе растворен отпечаток гармонии (гармонии его потерянной и оттого еще более прекрасной родины), к которой он неутоленно стремится. А когда жизнь не совпадает с этим отпечатком, — рассеивает и разрушает саму жизнь, как иллюзорную и состоящую из пыли. И дело не в том, что мы бедны, и бардак не потому, что хунта — это *le rouvoik des gneraux on sen fout* (“власть генералов плюс всем до лампочки” (Маркузе)), а просто русской душе противно и невозможно устраивать свою жизнь всерьез и надолго, когда настоящая жизнь существует только в одном месте, в чудесной и сказочной России.

Европейская цивилизация, как мы убедились теперь на собственном опыте, противна русскому характеру, потому что, по утверждению г-на Мамонтова, «это цивилизация обывателей, стремящихся устроиться в жизни поудобнее и все ставящих на карту — лишь бы преуспеть в поставленной цели, даже если эта цель — расписать искусственной ночью вазу». Еще Платон утверждал, что духовный глаз становится зорким, когда телесные глаза начинают терять свою остроту. Русская плоть, куда бы ни забросила ее судьба, всегда была слепа, как крот, и именно поэтому зряча русская душа. До какой бы высоты не поднялся уровень жизни в бывших колониях России, у русских, как считает синьор Вертински, «никогда не привыются благопристойные коктейли, а будут жить дико и неопрятно, срываясь на крик, а потом бить посуду». Дак Бредли, который в своеобразном припадке прекраснотушия назвал российских переселенцев людьми-богосцами (people who bear God in their heart), не так и ошибся: хотя они, соблазненные атеизмом и буддизмом, забыли веру отцов, но душа их религиозна по сути и не принимает голой материальной жизни, предпочитая разбить вазу, нежели поставить ее на пустой подоконник. Так и катилось колесо истории: многие хотели и пытались шагнуть за горизонт, но даже если шагали, то возвращались с пустыми руками; в то время как другие не могли жить бессмысленным образом и отчаянно разбрызгивали жизнь по обочине.

Именно поэтому нам понятно кажущееся парадоксальным иным западным обозревателям утверждение сэра Ральфа, что истинно русский психологический тип воплощают те, чьи предки покинули когда-то Россию, взглянули на нее со стороны, а теперь переживают свою жизнь, как несчастье, мучая себя, мучая близких, но именно тем, что не соглашались зажить близорукой благопристойной жизнью (когда духовные глаза слепы, чтобы не видеть того, что видеть не хочется), чем, как им кажется, патентуют надежду вернуть себе когда-нибудь свою духовную родину. Очевидно, что и пресловутая переполненность русских питейных заведений казалась симптоматичной сэру Ральфу не потому, что она безобразна, а тем, что доказывает невозможность для русской души бессмысленной, но уважаемой жизни. Трудно не согласиться с сэром Ральфом, когда он утверждает, что простой русский переселенец духовен бессознательно, а не говорит: вот, моя жизнь лишена смысла, поэтому я ее разрушу. Но душа ощущает тяготение к идеалу и, не достигая гармонии, становится искренне несчастной: раз нет идеала, значит, ничего не надо. И это, конечно, подлинно русская черта.

Некоторых рецензентов смущают довольно-таки резкие слова, которыми сэр Ральф характеризовал французскую колониальную интеллигенцию, а также тех русских коллаборационистов, которые сознательно пошли на культурную ассимиляцию, называя ее

псевдоинтеллигенцией и отказывая ей именно в исконно русском способе ориентации в духовном пространстве. Но интеллигенция, по словам Мачадо, «как брюхо, всегда располагалась посередине тела», именно «она является мембраной в европейском телефоне, что повторяет колебания, заведомо приводящие в ничто» (речь в Гарварде). Тяга к красивой жизни происходит от ущемленности: память о пустом некогда брюхе заставляет обедаться, когда уже сыт, но рабство — это прежде всего привычка, а не только слабость. Что такое мечта русского коллаборациониста — это гражданские права, свой двухэтажный коттедж, наполненный разными полезными вещами, несколько машин в гараже, бассейн с изумрудной водой, поле для гольфа или лаун-тенниса и относительная независимость от государства, которое не покушается на покой и достоинство его семьи. Г-н Доватор, которого называют колониальным Чеховым, показывает в своих рассказах, как русский мигрант, помещенный именно в эти условия, медленно, но верно сходит с ума от бессмысленно удобной жизни или же сам разрушает ее. Русский психологический тип, по его мнению, стремится, напротив, собрать то, что разъединено, синкретизировать любой творческий акт, ставя под сомнение все, что так или иначе не ведет за горизонт; да и малое вообще противно русской широте.

Многие теперь упрекают русских за то, что они поддержали доктора Сантоса, поднявшего восстание против власти трех лилий. И в качестве доводов приводят список фамилий первого колониального правительства, или процентный состав русских в партии «Национальный конгресс», или число получивших высший колониальный орден за участие в войне против французов. Мол, именно благодаря поддержке русских сформировалась диктатура генерала Педро. С одной стороны, нельзя не согласиться, что именно эти Пстры и Василии свергли в свое время королевскую власть, но, с другой стороны, нельзя забывать, что именно на русские средства и была организована французская интервенция, и тут дело не в классовом подходе, за который проголосовал бы любой марксист, так как интеллигенцию поддерживали отнюдь не зажиточные русские, а именно русский плебс. Однако с весьма важными оговорками: поддерживали сначала, пока оставалась надежда на перерастание войны за независимость в войну за присоединение к России, и потом, когда создалось впечатление, что успокоить бурное море сможет только сильная рука консервативного правительства. Иначе говоря, русская среда всегда была патриотична и, если и поддерживала тех, кто в состоянии навести порядок, то только не потому, что при любых волнениях им доставалось больше других.

Смешно, когда русских называют «топким обывательским болотом». Да, благодаря ходу истории русская среда выработала сильные охранительные тенденции. Кропотливо обсергая освященные временем

традиции и привычки и намеренно закрывая все ходы и выходы как для чужих, так и для своих. Но это способ выжить для любой национальной диаспоры. А если учесть, что для военных властей русские — вечный козел отпущения, на него можно свалить любые национальные беды и неудачи реформ (а как забыть то, что любые волнения начинаются с погромов именно в русских кварталах), то становится понятным, почему вздрагивал любой русский человек, услышав громко произносимое наименование своей нации. «Русские, русские, во всем виноваты русские». Да, так получилось, что именно русская среда стала подлинно топкой трясинной, выбраться из которой всегда было не под силу слабым духом, ибо их упорно засасывало назад, и вырывались только те, кто решался преодолеть силы сопротивления и тяготения и выскакивал на поверхность, выброшенный пружиной отталкивания, уходя не иначе, как именно порвав (и порвав окончательно) с охранительными инстинктами. Именно из этих, наделенных недюжинной силой отталкивания, и образовался тот фонд имен, что муссируется любым записным русофобом. Да, русская мафия, контролирующая игорный бизнес и профессиональную проституцию. Да, русские наркоконцерны и жестокий русский рэкет. Да, русские головорезы и русская поддержка почти любому бунту, потому что за этим стоит страстное желание видеть свою родину единой. И никто из них никогда не забывал отдать десятину на общее дело, ибо знал, что есть на свете страна со светлым именем — Россия.

Современная ситуация, осложненная тем, что религиозный вектор стерт с лица, как внешний признак, по сути дела осталась такой же, как и раньше. Как русский психологический тип не исчез, потеряв ранее ярко выраженный православный характер, а как бы осел на стенках души, которая ничуть не изменилась, так же и тип русского переселенца существует, даже если его не подчеркивает патриархальное двоеперстие или православная теодицея.

Нам уже приходилось отвечать на упреки тех, кто утверждал, что Ральф Олсборн, как самый обыкновенный славянофил, относился к любому забывшему о своей исторической родине, как к отступнику. И до более или менее широкого знакомства с представителями русской оппозиции вообще не имел среди своих знакомых ассимилянтов (да и потом, как убедительно доказывает профессор Люндсвиг, каждому «ассимилянту приходилось рассивать это предубеждение, продемонстрировав свои русские достоинства души и таланта. Иначе было нельзя, ибо почти вся колониальная культура состояла если не из русских по преимуществу, то по крайней мере их здесь было слишком много»). Что на это можно возразить? Вряд ли можно согласиться с мнением известного издателя журнала в Берлине «Диаспора и правое дело» Ивана Карамзина, утверждавшим, что «не считаться с реальностью, суть ко-

торой состоит в том, что русским можно быть только в России, и требовать «русскости» у эмигрантов то же самое, что требовать, чтобы женщина превратилась в мужчину». Как трудно согласиться и с репликой, опубликованной в сборнике «Русские и свобода», после выхода в свет третьего тома собрания сочинений Ральфа Олсборна, подписанную известным членом организации «Русский сбор» Хаимом Герцеком: «Смешон и достоин сожаления тот, кто плюет на свое отражение в зеркале, надеясь, что его теперь никто не узнает». Нам бы хотелось ответить уважаемому господину Герцеку, что он не прав, причисляя сэра Ральфа к многочисленным гонителям его нации: у каждой нации свое лицо, свой путь и своя судьба, и никто не посягает в данном случае на право кого бы то ни было быть именно самим собой. Но нам понятно, когда современному гедонизму, умению устраиваться и страстной любви к жизни сэр Ральф предпочитает русскую ненависть к жизни, неумение жить, ибо русская широта — это объятия, которые пытаются вобрать всегда больше, чем есть на земле. И отсюда неудовлетворенность собой и окружающими, неуважение к себе и окружающим, неуважение к любому устойчивому состоянию, ибо устойчивость — это косность. Отсюда тяготение к порыву, прорыву, даже разрушению, но только не к покою. И заканчивает князь Львов свою небольшую заметку цитатой из Священного писания: «не собирайте себе сокровищ на земле, не собирайте себе сокровищ на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Русский вестник

«Нет, все читайте! Ведь прежде все читано»

Н. Гоголь. «Ревизор»

Проницательный читатель, очевидно, догадался, что мы подготовили ему сюрприз, вроде прекрасного вида, что внезапно открывается из окна движущегося поезда и длится вместо того, чтобы сразу кончиться, на протяжении десятков страниц, составляя целую главу пейзажного английского парка, которую мы бы назвали «Занимательными историями в духе Талемана де Рео» (последние, как известно, являются своеобразной изначальной стороной других официальных французских мемуаров XVII века, вроде писем госпожи де Севинье и мемуаров герцога Сен-Симона).

Мы смогли процитировать изрядный кусок из труда профессора Зильберштейна только потому, что приобрели третью записную книжку

Ральфа Олсборна, предоставленную нам любезным герром Люндсдвигом в обмен на дневники другого русского писателя Зея Альтшулера (охватывающие петербургский послереволюционный период — семь синих ученических тетрадей в косую линейку с красными полями и первые эмигрантские годы — коричневый коленкоровый блокнот с чернильной каймой), которые мы уступили ему не только потому, что после выхода несколько лет назад в одном колониальном издательстве подстриженного и обкромсанного бестактным редактором издания Альтшулера (с чудовищными и безвкусными комментариями) читательский интерес к нему резко упал. Но и потому, что без этой третьей записной книжки нашего писателя профессор Зильберштейн вряд ли справился бы с поставленной перед ним задачей — инсценировать стилистическое своеобразие незавершенного дневника сэра Ральфа. Однако сам стиль (вернее, та игра стилями, которую предложил профессор для — по его утверждению — «более точного соответствия стилю будущего лауреата»), оставляющий на полях многое из того, что представляет для западных и русских читателей, коим и предназначена наша работа, несомненный интерес, и нарушенная хронология, как, впрочем, и некоторая хаотичность изложения, весьма простительная для записок, не предназначенных для печати или, точнее, не подготовленных для печати (а именно этот жанр и был, по нашей просьбе, инспирирован профессором Зильберштейном), образовали несколько лакун, белых расплывчатых пятен, не заполнив которые, мы не в состоянии двинуться дальше. И поэтому постарайтесь расчертить контурную карту как следует.

Что такое русская оппозиционная культура? Как выглядит средний ее представитель, а не те, весьма экзотические типы, которых наш писатель (вернее, его alter ego, профессор Зильберштейн) представил на наше обозрение в своих записках? Что представляет из себя журнал «Русский вестник», о котором находим столь много самых противоречивых замечаний у совершенно разных корреспондентов?

Тот же профессор Люндсдвиг, хорошо разбирающийся в колониальных делах, утверждает, что еще до знакомства с редактором этого журнала Ральф Олсборн слышал, что он издается одним русским эмигрантом, вынужденным уйти в подполье после очередной рокировки в правящем совете хунты.

Стояла промозглая колониальная осень, когда, свернув с мостика на набережную Карпинос, минуя здание известного всей Сан-Тьерре публичного дома с двумя араукариями при входе и мигающим фонарем на фронтоне, ежась от порывов наждачного мистрала и окутанный сеткой дождя, Ральф Олсборн поднялся по темной лестнице на четвертый этаж. Он побывал здесь уже неделю назад, когда и встретился впервые с известным в издательских кругах доном Бовиани. Последний предстал в

виде худощавого подвижного человека за пятьдесят, словно симулируя благонадежное сходство с окружающим пространством, и, вероятно, целям мимикрии служило надвинутое на глаза сомбреро с бахромчатыми полями, нсвыразительное лицо, потрепанно-неопрятная внешность, более подходящая для версии уличного торговца или разносчика товара, нежели главного редактора литературного журнала. Но, скорее всего, уходящая под ретушь сознательно наведенной тени незаметность и была его спасительным козырем.

Безразличие, по словам Эдры Мориака, «как сквозняк, куда вернее притягивает удачу», а именно с безразличием, перемешанным с недоверием, относился сэр Ральф к новому знакомству, ибо ему ничего не нужно было от этого невзрачного нсмолодого человека, сидевшего против него на диване в просторной комнате, увешанной пыльными картинами большого формата с видами реки Яузы и самодельными книжными полками из некрашенного дерева. Незаконченная картина, полузакрытая газетой, висела на подрамнике рядом с зачехленной машинкой и письменным столом с кипами бумаг и приспособлениями для переплетного дела. Левее двери стоял покрытый узорчатой скатертью обеденный стол, на дальнем углу горкой высилась неубранная после завтрака чайная посуда.

Встречен, однако, он был весьма любезно. Дон Бовиани, осторожно трогая пальцами голову с выгоревшими волосами цвета пожухлой соломы (через несколько лет на верхней губе появится полоска незаметных рыжих усиков, становясь последней чертой, маскирующей отличие и выпадение из ряда — имидж был найден), рассказывал ему о своем журнале, охарактеризовав его, как оппозиционный, но не нелегальный. Журнал русской оппозиции, выходящий без поддержки, но и не вопреки запрещению колониальных властей, которые, конечно, знают о его существовании, ибо отдельные номера попадали и попадают в их руки при обысках, устраиваемых время от времени у того или иного русского патриота (вопросительный взгляд, изучающий реакцию на последние слова). Чтобы выходить регулярно, журнал имел несколько постоянных меценатов, их имена держались в тайне, это были, в основном, вполне уважаемые люди, профессора, преподаватели университета, государственные чиновники и тому подобное. Богатых русских на острове было предостаточно, и они не торгуясь открывали свои кошельки. Но и среди меценатов или подписчиков несомненно тоже есть осведомители охранки (еще один осторожный взгляд). Но пока, за все четыре с половиной года выхода двухмесячного журнала, никаких официальных претензий не предъявлялось, что до поры до времени устраивало обе стороны. Журнал, говоря по-русски, не партийный, так как среди редколлегии, кажется, членов правящей партии «Национальный конгресс» нет (редактор улыбнулся, показывая паузы среди желтоватых

зубов), но и не радикальный, ибо печатается не на деньги Москвы. Конечно, патриотическое, но при этом и художественное, свободное издание, открытое для профессионально работающих русских литераторов, которые не хотят терять связь с родиной. Мы не закрываем двери ни для западно ориентированных писателей, типа синьора Кальвино, если они захотят предложить нам свои тексты, если, конечно, последние идеологически приемлемы и профессионально грамотны, ни для представителей коренной нации. То есть ориентированы на все живое, что есть в современной русской колониальной литературе, не желающей считаться с существующими цензурными порядками. Поговорили о вызывающих уважение писателях, потасовав фамилии и имена, как это и принято для первого знакомства.

Слышите легкой утомительный дребезг этого абзаца, якобы исходящий от собеседника сэра Ральфа — правильная закругленность речи, скучноватая основательность, общее ощущение невзрачности? В то время как напротив сэра Ральфа сидел серый кардинал колониальной культуры, человек в течение нескольких десятилетий управлявший жизнью русских на острове почти самолично, никогда не педалируя при этом свою роль, не выставяя своего положения, но являясь, если не диктатором, то законодателем вкуса и моральным судисей для нескольких поколений русских переселенцев.

Опрашивая самых разных респондентов (что непросто — четверть века не шутка), нам, однако, удалось узнать о доне Бовиани достаточно, чтобы набросать его портрет, не пытаясь при этом разрешить все противоречия, которые отюдь не просто свести к знаменателю одного болсе-мене отчетливого суждения. Его роль в культурном движении никто не оспаривал, но, по мнению некоторых, эта роль была весьма двусмысленна. Никто и ничто не могло отнять у него упорства или сломить его волю, он казался незыблемым, серьезностью отношения к делу привлекала многих, но мнения о нем высказывались самые нелюбимые. Одна бывшая сотрудница его журнала называли дона Бовиани типичным иезуитом, уверяя, что цель для него оправдывала средства, и, производя впечатление правдивого, откровенного человека, он мог, спокойно глядя в лицо, говорить то, от чего также спокойно отказывался завтра. Другая, которую мы нашли в доме для престарелых, до сих пор считала его чуть ли не бесом-искусителем, но не пожелала объяснить свои слова. Однако большинство опрошенных считало дона Бовиани подвижником и человеком идеи, хотя что это была за идея — понять нам так и не удалось. К-2 и Россия, Россия и К-2. Россия, Россия, Россия — но какая, и, главное, какими средствами? Многое указывало на то, что, в оппозиционной культуре это был, возможно, самый роковой человек; никто не сделал так много для нынешнего взлета К-2; два Нобелевских лауреата с благодарностью поминают

в своих речах дон Бовиани, говоря о нем чуть ли не как об учителе. "Если хотя бы один из несчастных бродяг не бросился топиться, только потому, что нашел пусть и временное, но пристанище в "Русском вестнике", то это заслуга Боба Бовиани — привет тебе, Боб, дружище, через два оксана, рад, что ты жив, курилка", — написал в одной из своих последних статей Серж Доватор. "Доватор поет славу компромиссу, — тут же откликнулся неумолимый Кирилл Мамонтов, — потому, что не он соблазнил, завел вместе с собой в туманные дебри тех, кому идти по следу всегда легче, чем брести по целине. Конечно, сам г-н Доватор может спать спокойно, но будет ли спокойно спать Иван Сусанин, если у него на совести не одна искалеченная судьба?"

"Судьбу дон Бовиани определило то, что родился он не в колонии, а в метрополии, куда его родители бежали за год до рождения сына, спасаясь от преследований со стороны диктатуры генерала Педро", — пишет кропотливый Дик Кронстон и продолжает. "Отказавшись от титула, родители скрыли от сына его происхождение, и, желая побыстрее ассимилировать, мать становится манскенщицей в универсальном магазине, точнее даже — живым манскеном в витрине Пассажа. Целыми днями она стояла, увешанная ярлычками, демонстрируя одежду для богатых инстанцев. Отец дон Бовиани, не упоминая ни в одной анкете, что он из рода потомственных сан-тпьерских баронов, устривается экспедитором в оперный театр, пробует писать стихи и музицировать (он погиб в разведке на Карельском перешейке в самом начале войны с французами, так и не узнав, что его песня «Вставай, страна огромная» станет чуть ли не гимном, хотя ее авторство будет самовольно присвоено другим").

Примерно в это же время дон Бовиани поступает в спецшколу для детей эмигрантов, вскоре эвакуированную в столицу узбекского царства, откуда сбегает в Казань, где учится в цирковой школе, желая стать акробатом или хотя бы жонглером, однако травма позвоночника ставит крест на этих мечтах. Найти себя сразу не удается, биография пестрит названиями городов и удивляет разнообразием занятий. Буровой мастер в Хибинах, больница в Мурманске, русская Сибирь, унты, ханты, манси, автокатастрофа с очередной травмой несчастного позвоночника. Едва он вылечился, его призывают в армию. Здесь он решает стать профессиональным военным, как уверяет Кронстон, сказались гены. Его отправляют служить в оккупационные войска во Францию (район Кале), где он экстерном сдает экзамены за 10-й класс, кончат школу сержантов, затем офицерские курсы, разведшколу, особое поручение командования, поездка в Берлин, где он и узнает о смерти генерала Педро.

Крыльцо, пьяный штабс-капитан в расхристанном кителе, багровая морщинистая шея вылезает из растегнутой на груди несвежей сорочки,

мутные, слезящиеся глаза, чубчик, на заднем плане нарисованы пронизанные слепеньким солнцем голые осины, погожий мартовский денек, около крыльца тает серое пятно рыхлого снега, служака перегибается через перила, смех хорошенькой француженки-уборщицы, “убью, падло”: звенят ручки, снег, солнце, весна и смерть хозяйна. А еще через пару лет — демобилизация в запас после долгого лежания в госпитале по болезни: почки, печень, открывшаяся язва, катар верхних дыхательных путей, холецистит, колики и боли в позвоночнике (нужно подчеркнуть — точно неизвестно).

Как пишет Билл Марли, “только после возвращения домой мать, наконец, открывает ему, кто он есть на самом деле, и дон Бовиани, пережив, очевидно, один из самых серьезных кризисов в своей жизни, неожиданно решает вернуться в колонию, чтобы бороться с остатками педровской диктатуры”. “Разведшкола”, — многозначительно подчеркивает Кирилл Мамонтов, намская на то, что перебраться из России в колонию даже тогда было не так просто для уволенного по болезни в запас молодого офицера. Не будем искушать Мнемозину, обратимся к фактам. Присхав в Сан-Тьерсу, в том же году молодой офицер поступает на русское отделение сан-тьерского университета, а затем переводится на факультет журналистики, ибо здесь биография наконец-то контрапунктируется литературной темой. Чтобы у картины была рамка, нужны второстепенные персонажи: эти полупрозрачные типы, что исчезают и появляются на горизонте, маяча на заднем плане и создавая добросовестно-достоверный фон. Как нам удалось выяснить, курсом старше учились другие поэты и будущие эмигранты: граф Сиверс, протягивающий читателю рюмку мальвазии, чтобы именно так сняться на фоне вечности; Риттих, которого время перекрестило в Лифшица; живущий на поэтической периферии поэт с свиной фамилией Уфоу и прозаик, популярный в 60-х годах, Гай Рид. Торжественный Стив Облонски уверяет, “что это и были писатели, ставшие для дона Бовиани старшими товарищами и сыгравшие в дальнейшем большую роль в общей биографии этого отчаянного сан-тьерского литературного поколения”.

Для нас же куда интересней, что еще на студенческой скамье Боб Бовиани получает первую прививку редакционного опыта, подрабатывая в одной провинциальной газете «Соуп и время» (“ты около Соупа, там задушены последние вспышки колониальной свободы, настоящий край вдохновения, неужели ты оставишь эту землю без поэмы”, — писал в это время дону Бовиани один его приятель). А после окончания университета служит редактором местной газеты в Лвернаузене: еще одно достопамятное место.

Имя в виду прицел на будущее, Крэнстон отмечает: “Редакторского опыта ему было не занимать”. Действительно, судьба вела его за руку,

словно напоминая: *ducunt volentem fata nolentem trahunt*.^{*} И до того, как дон Бовиани попытается жить на скудные литературные заработки, то предлагая сценарии на спортивную и цирковую темы (Казань, Казань, где ты?) сан-тпьерскому и провинциальному телевидению, то подрабатывая в журнале «Детский смех», который авторам представлялся составленным из наклеенных впритык друг к другу ассигнаций достоинством в 100 песо (ровно столько стоила печатная полоса того же формата), он целых долгих восемь лет занимался внутренним рецензированием в журналах «Планида» и «Муж и жена», а также успел поработать в нескольких совсем крошечных частных газетках репортером уголовной хроники. Но еще раньше (иначе и быть не могло) наш герой всерьез увлекается прозой и посещает литературный салон, центральное место в котором занимал престарелый, брюзгливый и кастрофически помпезный Майкл Слоним, выпестовавший (пусть и на свой лад) не только Боба Бовиани, но и незабвенного Билла Бартона, Арчи Попа, Моргенштейна, более, однако, известного не своими сочинениями, а тем, что был уволен с поста главного редактора проправительственной «Амальгамы» из-за того, как решился опубликовать гневное четверостишие об умирающей на снегу женщине, пухлые руки которой, как две змеи, прижимали к животу окровавленных детей (намек на расстрел королевской семьи генералом Педро после мартовских ид). Или нет, за это был уволен его предшественник, а Моргенштейн за поистине невинный рассказ, помещенный на 75-ой странице этого юмористического еженедельника в день 75-летия члена хунты генерала Марко, чьи брови, преклонный возраст и неправильная артикуляция при произношении некоторых звуков роднило его с *морковным* героем этого фантастически утомительного повествования. Но мы о другом.

Регулярно печатаясь в сан-тпьерских журналах, дон Бовиани долго пытался издать в местном издательстве «Кларк и сыновья» книгу своих рассказов, так как против нее выступает, например, известный либерал (о, эта твердолобая непрсклонность престарелых либералов!) мистер Коллинз; последнего смущала чрезмерно обостренная прорусская позиция нашего героя, его, как он говорил, «потная честность и опасная прямолинейность», да и по существу Коллинз был не в восторге от литературных опусов молодого русского эмигранта. Однако книга все же вышла через несколько месяцев после известного октябрьского переворота и соответствующей длинной рокировки в верхах.

* Судьбы ведут желающих, а нежелающих тащут (лат.) (прим. пер.)

Рассказы донна Бовиани были построены на материале, почерпнутом им во время долгой жизни в метрополии, и именно это обеспечило им успех. О чем он писал? Конечно, о проблемах дорогого ему «малого народа». О трогательной русской девочке с длинной русой косой до пояса и задумчивым взором, которую не приняли в университет, несмотря на то, что она сдала экзамены лучше всех остальных; о том гориле унижения, через которое проходит каждый представитель национального меньшинства, о безработных русских преподавателях, уволенных при первом же (и явно надуманном) сокращении только потому, что они отказались подписать протест против действий Москвы в ООН. А под сурдинку о тихом и сладком рае детского сада в России, где все дети ухожены, а хорошенькие воспитательницы говорят с ними на французском во время трапез и на певучем родном наречии Толстого во все остальное время.

В каком стиле? Дик Крэнстон уверяет, что «тогда в колонии по сути дела почти все писали в одном стиле. Он так и назывался: стиль журнала «Первое причастие». “Войдите в метро, троллейбус или колониальный трамвай шестидесятых годов (этот красно-желтый гроб с незакрывающимися дверями на роликах), — восклицает наш неутомимый одноглазый Дик, — и увидите, что все пассажиры уткнулись носом в журнал почти квадратного формата с цветной обложкой: это журнал «Первое причастие». Не «Божий мир» г-на Тауделло с разными там Смиттенами и Бликгенами для снобов и фрондирующих либералов, а именно журнал «Первое причастие», весь как будто написанный одним и тем же автором: короткие крепкие лаконичные фразы, жесткий, без эпитетов и восклицаний стиль, столь точно рисующий героя, который, конечно, обыкновенный русский эмигрант с обыкновенными эмигрантскими заботами. И учтите — без всякой этой колониальной идеологии национального бодрячества, а с одной только теплотой и нравственностью, которая, естественно, в подтексте”.

Конечно, это была мода. Даже те писатели, что уже отхлебнули из волшебной чаши славы, срочно меняют стиль и скоро начинают писать, как в журнале «Причастие». Коллинз и тот спохватился. Так что донна Бовиани отнюдь не исключение. Потом эту прозу несколько скептически стали называть *служебной*, — но это не вызвало ропота, — писатели хотели служить своему народу и не видели в этом ничего зазорного.

На книгу донна Бовиани появилась одна единственная рецензия в вечерней русской газете, в русском квартале Сан-Тьеры посудачили о ней пару вечеров, а потом забыли. Но не исключено, что эта единственная рецензия с оскорбительным названием “Средний писатель” сыграла в его судьбе решающую роль, хотя в ней книжка донна Бовиани упоминалась ровно три раза, а в основном Билл Марли (его жестокое, колючее и меткое перо прервало ни один полет неоперившегося птенца) исследо-

вал сам феномен “среднего писателя”, к разряду которых, возможно несколько поспешно, причислил и дона Бовиани. Вот несколько цитат из его статьи.

«Среднего писателя за то и любят читатели, что он почти такой же, как и они, только пишет. У него зоркий глаз, хорошая память, большой жизненный опыт, само собой разумеется — искрення́я душа, он знает, что надо не описывать, а изображать, что в искусстве мыслят образами, может объяснить, что такое парадигма, контекст и концепт. Он написал несколько вещей, о которых сказали: этот может писать, только, ради Бога, не оригинальничайте, не гонитесь за экзотикой, это слишком легко, вот русский писатель Вестов, например, мог написать рассказ о чернильнице, вот и пишите, как русский Вестов, о том, о чем знаете по-настоящему. Только помните, что даже неприятный герой у вас не получится достоверно, если вы его не полюбите, не влезете в его шкуру, не станете его alter ego. В наше время — простая, честная, объективная проза — уже очень много. Но не забывайте, что, как сказал Арно Кизеватор, *правда, но не вся правда — это еще не правда*. Ваш рассказ должен быть сколком со всего мира, каплей, в которой отразится океан. Пишите, дерзайте, и если вам повезет, то из вас получится настоящий, серьезный, средний писатель».

«Среднего писателя прежде всего выдаст язык. Но есть еще одно отличительное свойство среднего писателя — ему в конце концов всегда становится мало литературы. Пока он еще не знает о себе, что он средний, он мечтает стать просто писателем, конечно, честным и серьезным, но именно писателем. Но когда наконец поймет о себе, что он просто обыкновенный средний писатель, не хватающий звезд, не чувствующий в себе силы написать штуку пострашнее «Матери» Горького (Тино Валенси), то он однажды, когда ему станет особенно тоскливо (а ни у кого не бывает на душе так пусто и тоскливо, как у среднего писателя), скажет, — а, все это херня. Имея в виду как раз литературу, и скажет в сердцах, не выбирая слов и выражений, не думая о редакторе, возможно, ночью, у окна, когда за стеной дробной гаммой расписывается на раковине водопроводный кран, рассвет, дыхание жены и детей, думы, мысли, кислая русская папироса из драгоценной пачки, подаренной ему в русском консульстве, — и прозрение. Херня. И с этого момента “ему становится тесно в литературе” (уже цитировавшийся Валенси), и средний писатель начинает думать уже не о ней, подумаешь, литература, ну и что, ну, скажем, рассказ, ну неплохой рассказ, хотя у каждого свое мнение и объективных критериев нет. Так что один скажет, что этот рассказ лучше моего, а другой возразит, что рассказ — дрянь и мои ему больше не нравятся. Но все равно — появился новый рассказ, а в мире ничего не изменилось. Как будто его и не было. И продолжает мир лежать во зле и грехе, торжествует

несправедливость, русский человек страдает по покинутой родине, а писатель пишет себе и пишет. Нет, так не годится. И начинает писатель с этого момента думать не о литературе, а о чем-нибудь посущественнее. Например, о спасении культуры. Или о нравственности. Или о политике».

С нашей точки зрения, Билл Марли слишком поторопился. И его инвектива “среднему писателю” звучит черезчур эмоционально, чтобы быть верной. Но самое главное другое: какой смысл стрелять по неоперившимся птенцам, когда вокруг сколько угодно жирной, непуганной и нахальной дичи? Можно поспорить с Марли и по поводу частностей: скажем, так ли уж очевидно и непростительно ощущать тесноту литературного коридора, стремясь на волю, в жизнь, что, кстати, делают не только писатели с умеренным дарованием, но и те, кого Карл Стринберг назвал “солью моря”? А популярность или ее отсутствие отнюдь не являются лакмусовой бумажкой, так как, по словам того же Карла Стринберга, “писательство — это не профессия, а состояние души”.

Но, очевидно, Билл Марли что-то угадал или по крайней мере подтолкнул в ходе событий. Не то, чтобы он намеренно подставил подножку, но так или иначе буквально через пару месяцев после выхода язвительной рецензии Билла Марли случилось нечто, перевернувшее жизнь дона Бовиани. Далеким от политики и, казалось, увлеченный только литературой, он совершенно неожиданно для многих подписывает письмо протеста против «Процесса четырех», состоявшегося после введения войск в соседнюю Мизингию. И тут же попадает в “черный список” национальной охранки, что по сути дела навсегда закрывало ему путь в правительственную прессу.

Раскроем китайский веер. Дадим различным комментаторам вдоволь пососать обглоданную кость этого трагического обстоятельства. Истерика? Неоправданный взрыв? Точный и последовательный шаг? Глубокомысленный расчет с ясным видением неутешительных последствий? У нас, однако, нет оснований смотреть на эту ситуацию слишком трагически: мол, бросили все пробующего свои силы в литературе бывшего молодого офицера, потому-де он и ушел из литературы. Ничего подобного. У дона Бовиани были свои читатели и почитатели, как и полагаются начинающему писателю, были свои читательницы и почитательницы, причём такие, что даже теряли голову от его сочинений, и в том числе от той вышедшей в незапамятном году тонкой белой книжцы, на обложке которой, сразу под заголовком и черной дверью с непонятным красным глазком сбоку, по снежно-белому полю бежали, спешили куда-то два силуэта. Черный, в пальто и с чубчиком, мужской, и неловко склоненный женский, худенький, тревожного красного цвета.

Еще до рецензии Билла Марли, в эту книгу, вернес, в ее автора, влюбилась молодая туристка из России, посетившая колонию с какой-то

делегацией. Порывистая сильная женщина из рода князей Куракиных, известных старообрядцев, так называемых однодворцев, которых в прошлом все в России не брали на службу, так как несмотря на княжеское достоинство, не считали дворянами — сильный, упорный, фанатичный род, славный своим трудолюбием и стойкостью. Она случайно прочитала книжку Боба Бовиани и влюбилась без памяти.

К тому времени дон Бовиани был уже женат вторым браком. Не обладая героической внешностью (жидкие волосы, нос картошкой, поджарая фигура), он, однако, привлекал прекрасный пол своей внутренней силой, писательской и человеческой страстью, бескомпромиссностью и учительским пафосом, а прекрасный пол падал на это соединение страстности и святости, холодного ума и горячего сердца. Первая жена была ничем неприметной офицерской женой и пропала в тумане начальных абзацев биографии. О ней нам неизвестно почти ничего, кроме того, что это была полноватая, даже можно сказать, рыхлая блондинка с доверчивым взглядом серых глаз. Вторая жена — совсем другого поля ягода. Маленькая. Черненькая. Художница. Многие говорили, очень талантливая. Хотя о тех, кто плохо кончает, всегда говорят с каким-то придыханием и ощущением вины. Что подавала надежды. Считалась любимой ученицей старины Савима. Под стать времени пыталась остановить мгновение с помощью черного, жесткого натурализма, переходящего в экспрессионизм. Стены с обвалившейся штукатуркой, колониальные трущобы, тупики, сквозные проемы дверей и пустые глазницы окон, сквозь которые проглядывает небо; сморщенные фигурки и враждебное пространство; искренность и желание понять. Коротко подстриженные прямые черные волосы. Возможно, челка. Богемная художническая жизнь без быта и уюта, бивуачная и неприветливая, быстрая и даже поспешная; краски и пеленки, пустые бутылки под кроватью (одна закатилась под диван в ореоле окурков). И тут появляется злая разлучница — это был традиционный сюжет колониальных романов шестидесятых годов. Он — волевой, целеустремленный, сильный, но раздвоенный (так как пытается быть цельным, но не выходит), она — усталая, измотанная, наивно ничего не замечающая и не подозревающая, а разлучница — молодая, с сильным телом и пытливым умом, немного распушенная и легкомысленная, с которой ему легче и приятней, так как она новая, неукротимо молодая и преданно смотрит в глаза. Все было так и не так. Она, эта разлучница, была молода, но отнюдь не легкомысленна; смотрела на него поначалу с восхищением, но была не распушенная, а фанатично верующая неофитка, хотя какая там неофитка, ведь она была из старообрядческой княжеской семьи, значит, воспитывалась совершенно особым традиционным образом, а он, твердивший о нравственности и долге перед родиной и предками, сталкивается с женщиной, у которой в жилах течет княже-

ская (пусть и однодворская) кровь. А к тому же она истово верит в то, во что он страстно желает верить сам: в Бога.

Можно себе представить эти учащающиеся отлучки из дома по вечерам, ночные задушевные разговоры, уже не дети, Боже, почему я не встретил тебя раньше, поцелуй и совместные молитвы, разговоры о вечном, греховное блаженство в постели. Опять же, богеменная обстановка: то есть все делается на глазах, одна и те же компания, он в окружении двух женщин, каждая из которых тянет в свою сторону. Но, ничего не поделаешь, он уже влюблен. Да, да, влюблен. До потери сознания. В новую и удивительную. Страстную и суровую. И, конечно, мучит раздвоенность. Только не лгать. Жестокая правда лучше доброй лжи. Нам надо объясниться. Я так не могу. Ты должна понять. Это невыносимо. Я не хочу никого пачкать. Хочу быть честным до конца. Хочу, чтобы ты поняла. Он объяснил ей все, как есть, и она отвела их сына к подруге или родителям, своим или его, точно неизвестно, да и не имеет значения, в некоторых случаях подробности лишь затуманивают факт, и выбросилась из окна. Станный способ самоубийства. Ощущение полета и освобождения. В прямом смысле не собрать костей. Четвертый или шестой этаж. Несмыслимое пятно на биографии. После этого о нем и стали шептать, что-де бес-искуситель. Толкует о нравственности, а сам довел бедную женщину, художницу и мать, до самоубийства. Ментор-резонер с черной душой. Хороша пара святош — укатали бедняжку. Никто не знал, как он жил в это время. А он запирался от той, к которой только что безумно стремился, и читал в ванной и кладовке письма и дневники покойницы, выжигая страницы слезами вины, мучая и уничтожая самого себя, призывая и проклиная Бога. Она стучала кулаками, билась головой в дверь, умоляя открыть — он был неумолим, глотая слезы, впитывая горечь корявых строчек, вчитывался, пытаюсь понять, почему, почему это произошло, отчего он причина несчастий для тех, кому больше других желал добра: как жить, что делать, как вынот?

Есть версия, толкующая эту натуру, как упрямого человека, ведущего нескончасную тяжбу с Господом, словно в соответствии с русской пословицей, по которой *в каждой деревне есть мужик, который судится с Богом (рус.)*. Дон Бовиани чувствовал и видел легкие пути, а выбирал самый трудный. Те, кто пересскал свою биографическую кривую с его биографической прямой, становились несчастными. Та, кого он страстно желал и кто стала его третьей женой, от невыносимой беспорядочной жизни растеряла свою смиренную строгость и постепенно превратилась в ненавидящую всех истеричку, мизантропку, увверенную, что именно он сломал ее жизнь. Несколько мучительных лет, и они развелись, продолжая, как водится, встречаться в одних и тех же компаниях. Говорили, что та, первая жена, тоже влачит самое жалкое существование, несчастна и забита, сломана и испугана, возможно, вздор,

преувеличение, восковые крылья у Икара слухов. Слухи есть слухи. Точно известно, что это время — период самых жгучих его религиозных исканий. Он становится церковным человеком на истово православный манер, изучает труды отцов церкви, святых старцев, посещает катакомбную церковь и подумывает о монастыре. Совместная жизнь с княжной-старообрядкой не прошла даром. Литературные заработки давно прекратились, он нанимается шкипером на морской пристани, занимаясь очисткой дна, вылавливанием трупов и бутылок, затем сторожем на лодочной станции, потом электромехаником по лифтам, хлоратором в бассейне, машинистом котлов (психоаналитик, несомненно, отметил бы пристрастие к неустойчивой, водной стихии). Постепенно уходя из литературы и все более времени уделяя критическим статьям, что явились как бы естественным продолжением тех внутренних рецензий, которые он писал для официальных журналов, ощущая, как все больше и больше тоскует о покинутой и от того еще более прекрасной родине.

И как раз в этот момент ему приходит спасительная идея основать свой журнал. Первые номера он делал во мраке одиночества, по крохам собирая материалы, постепенно обрастая штатом преданных сотрудников, осуществляя то, к чему, вероятно, и был предназначен судьбой.

«Русский вестник», с его русско-демократической направленностью, стал главным конкурентом возникшему несколько раньше и ориентированно более прозападно журналу синьора Кальвино — «Ак-мэ». Тогда как остальные русские журналы и альманахи были куда менее представительны, появлялись и тут же исчезали, умирая от малокровия и недостатка материалов, как несовершеннолетние создания, больные скоротечной чахоткой, успевая заявить о себе в одном или нескольких номерах.

Оба главных журнала русской оппозиции появились на волне эйфории, которая возникла после объявления ООН «года русских колоний». Обеспokoенные своим лицом в глазах международной общественности военные власти были вынуждены пойти на временные уступки, хотя именно с этого года в столице и Сан-Тьере было введено патрулирование конной жандармерии. Пока оба журнала существовали одновременно, время от времени велись переговоры об их слиянии. Чтобы не распылять силы, возможно, имело смысл издавать один приличный журнал вместо двух посредственных. Но, по мнению дона Бовиани, синьор Кальвино был человеком, с которым невозможно иметь дело, ненадежный, несерьезный тип, поэт, болтун и так далее; синьора Кальвино, в свою очередь, смущал облик дона Бовиани, слишком сбивающийся на облик закоренелого неудачника: торжественно-серьезный тон, суконная правильность речей, слишком патриотичный подход к искусству, слишком «сан-тьерский» вкус.

Однако журнал синьора Кальвино просуществовал всего несколько лет: удачными оказались попытки привлечь к сотрудничеству в журнале не только столичных критиков, но и авторов метрополии. «Ак-мэ» набирал силу, обещая со временем стать серьезным, авторитетным изданием, что, очевидно, и испугало власти. Под явно надуманным предлогом журнал был закрыт после пятиминутного судебного разбирательства, и в Россию были выслана добрая половина его сотрудников.

«Русский вестник», пережил все эти потрясения, оставшись не только единственным, но и самым стабильным из русских литературных журналов, когда-либо появлявшихся в колонии. Военные власти, обычно ревниво оберегавшие свою монополию на печатное слово, смотрели на его издание как бы сквозь пальцы. Их устраивал облик такого журнала, который никогда не заходил слишком далеко, оставаясь в допустимо либеральных пределах, что в первую голову определялось самим главным редактором, и, к сожалению, никогда не имел серьезного авторитета ни на Западе, ни в России.

И — так получалось — что для русского автора, выбравшего путь оппозиции, не было иного пути в литературе, как попробовать свои силы в «Русском вестнике». На следующее утро после посещения им дона Бовиани мальчик-посыльный принес Ральфу Олсборну годовую подшивку журнала, и сэр Ральф, как был, в халате, открыл наугад книжку журнала и стал читать громоздкий, огромный шестисотстраничный роман некоего Рикардо Даугмота, имя которого он заметил среди членов редколлегии. Он потратил на чтение романа чуть ли ни неделю, ибо читал с трудом, напоминая открытие череды узких, туго пригнанных дверей, но перевернув последнюю страницу с некоторым облегчением понял, что это все-таки роман и принадлежит он автору, наделенному странным, болезненным, утомительным, но талантом (хотя первые 50 страниц оставили ощущение, что это растянутая до невозможности претенциозная мура, но затем как бы ощутил твердую почву под ногами, увидел в неслыханном многословии определенную систему, будто сквозь мягкую ткань проступили контуры сильного тела; и больше не выпускал до последней страницы из сцепившихся рук поводья, управляя ими все более умело). На его вкус роман следовало сократить по меньшей мере вдвое, сдавав его не таким жирным, но кто может поручиться, что текст не потеряет при этом какое-нибудь неуловимое измерение, какую-нибудь важную линию, осунется, потеряет жизнь и цвет, как лицо при лечебном голодании.

Проза Рикардо Даугмота была бессюжетна (то есть сюжет развивался настолько медленно, что, кажется, бесследно пропадал за третьим или четвертым поворотом), деструктивна (ибо разваливалась на отдельные части, связанные неспроста казуемым образом, как капля и стекло, или

лист и вода), асоциальна (социальный мир со всеми своими аксессуарами вообще не вписывался в данное романное пространство), и хотя не лишена была некоторых примет колониальной действительности (почти неразличимо растворенных в потоке вневременных и условных категорий), но при этом что-то странное происходило с любой случайной деталью, струящийся словесный поток захватывал по пути множество мелькающих подробностей, каковые исчезали, однако, вместе с переворачиваемой страницей. Словесный поток вроде бы лепил походящие или иные конкретные жизнеподобные мелочи, вроде древесного листа с сетью мелких прожилок, россыпью крапинок, тонких волосков на нежном мохнатом черенке, но описание становилось таким подробным, что сам предмет постепенно исчезал, уничтожался уточнениями и разъяснениями и совершенно не оставался в памяти, улетучивался, словно дыхание с чистого стекла. Проза намеренно уничтожала самое себя, оставляя ощущение пустоты: но не той пустоты, в которой ничего нет и ничего не было, а той пустоты, которая остается после исчезновения невнятного, размытого, но, возможно, и прекрасного контура, чьи очертания не только не проявились, но и ушли навсегда, как очищается запотевшее зеркало в ванной, если открыть дверь и впустить воздух.

Полистав другие номера, Олсборн наткнулся и на несколько пространных подборок стихов того же автора, но стихи не произвели на него особого впечатления. Это были нерифмованные, неметрические строки, эстетически родственные прозе, но как проза была растянутым до исчезновения романом, так и стихотворные тексты казались растянутыми до обычного формата строчками древне-русских песнопений. По сведениям очевидцев, сам синьор Рикардо не раз повторял, что его предки были князьями Киевской Руси. И возможно поэтому пытался в современном языке найти аналог патетической страстности церковнославянских стихов. Однако, кажется, у его стихов читателей было немного. Нельзя утверждать, что их не было совсем, и совершенно точно известно, что уехавший в Москву мистер Кока назвал Рикардо Даугмота «основоположником колониального верлибра», хотя точности ради отметим, что эти тексты были все-таки не верлибром, а, скорее, белыми стихами.

Вообще надо признаться, синьора Рикардо многие недолюбливали. На проводах того же мистера Кока разразился страшный скандал, с личностями и оскорблениями, закончившийся дракой на мачте между ранее невероятно тихими, сумрачными и незнакомыми друг с другом людьми. Когда попытались выяснить причину этого характерного для колониальных русских способа выяснения отношений, оказалось, что все участники полагали, что бьют ненавистного им и на самом деле исчезнувшего несколько часов назад синьора Рикардо, коего никто из них, как выяснилось, толком не знал в лицо. Почему его не любили? Возможно, по той

же причине, по какой аборигены не любили индейцев, которые похожи на них, но одновременно чем-то неуловимым отличаются, как, по слухам, русские не переносят хохлов, ибо им кажется, что те, попугайничая, передразнивают их своей певучей малороссийской речью.

Насколько мы смогли выяснить, синьор Рикардо приехал начинающим поэтом из Вальпараиса, страстно надеясь покорить и завоевать северную столицу, одно время пытался стать актером, постоянно декламируя монологи Озерова и Фонвизина, но страсть к декламации в конце концов нашла иное русло. Он познакомился с другими русскими поэтами, попытался выучить по разговорнику церковнославянский, имел знакомых и приятелей не только в Киеве, но и в Москве, где, к сожалению, так ничего и не опубликовал, кроме нескольких статей о колониальной живописи, оставшихся незамеченными.

Его не привечали даже в божемной среде. Вражда преследовала его. Известно несколько шумных скандалов с неугомонной мадам Виардо, один из которых закончился тем, что ее гигант-телохранитель спустил синьора Рикардо, как нашкодившего щенка, с лестницы. Всю ночь этот уже немолодой человек ходил кругами по ночному городу, не понимая, чем он всем так насолил. Многим не нравилась его своеобразная театральность, несколько развязный и одновременно выпененный тон, нарочитые и не вполне естественные манеры; но мало ли на свете театральные патетических поэтов? Конечно, синьор Рикардо любил позлословить за глаза, попадая в ловушку, расставленную его острым язычком: злые, меткие характеристики запоминались, по испорченному телефону, как водится, доходили до объекта злословия, и вырастала стена недоверия, разрушить которую было не так-то просто. Если судить по фотографиям, в его внешности, как ни жаль, ничего типично русского не было: невысокого роста, толстые итальянские ляжки (из-за пристрастия к конным и велосипедным прогулкам), овальная лысинка, очки на круглом бритом лице, удивленные, хитрые глазки, протруженный голос в нос, с поперхиваниями, покашливаниями, будто какие-то пленки в горле лопаются и мешают говорить. Еще одна, отмеченная на полях характерная черточка: Рикардо Даугмот был совершенно не способен растаться с однажды найденным словом. Его роман редактировал брат Кинг-Конг, вместе обтачивали каждую фразу, и если редактору удавалось убедить автора в том, что это место пустое, никчемное, ненужное, то синьор Рикардо, согласившись, не вычеркивал абзац, а приписывал к нему несколько новых страниц, в которых лишние фразы тонули как в тумане. Редактировали роман чуть ли не год, за упорную работу автор общался подарить редактору породистого жеребца из конюшни своего дяди-плантатора, но впоследствии, очевидно, запятовал.

Как утверждают многие свидетели, он страшно не любил давать книги из своей библиотеки, собрав ее, благодаря своим знакомым из России, довольно приличной. Полные собрания сочинений наиболее известных поэтов, антикварные подарочные издания, альбомы и так далее. Когда просили, он страшно огорчался, тускнел, а затем ссылаясь на то, что книга нужна для работы. А если и давал, сопровождаемая приговорами и советами, в основном, только близким и проверенным приятелям, то прибегал уже на следующий день, кстати спрашивал о книге, прочитывал из нее несколько любимых стихотворений вслух, говорил о своей особой любви к этому поэту и о том, что собирается — надо, надо — написать о нем статью. На следующий день заявлялся или звонил снова, опять между прочим спрашивая: как, не прочел еще? А еще через пару дней приезжал и, утверждая, что засел-таки за серьезную статью, просил почитать свою же книгу, уверяя, что вернет ее через неделю. На этом все кончалось.

Еще один эпизод, так же подорвавший репутацию синьора Рикардо, касался странной истории — подробности нам так и не удалось выяснить — с книгой или книгами, которые Рикардо Даугмот совершенно нехотая вытащил из своего портфеля во время беседы с приехавшим из столицы следователем по особо важным делам. Шла очередная кампания против русских патриотов, власти вели ее лениво, кажется, желая замаять дело, Рикардо Даугмот был приглашен в качестве свидетеля — знакомого одного арестованного патриота, и тут то ли по оплошности, то ли в силу непредсказуемости своей театральной природы, то ли просто, как говорят русские, *наложив в штаны от страха (рус.)*, — выложил на стол следователя книги, якобы присланные из Москвы несчастному подследственному и переданные им на хранение Рикардо Даугмоту. Кажется, эта выходка не имела последствий. Возможно, так и было. Возможно, синьор Рикардо действительно хотел помочь своему приятелю столь неуклюжим способом — в любом случае за давностью лет эту историю можно списать на счет того несчастного времени, когда быть русским в колонии было то же самое, что негром в Южной Африке.

Но как бы там ни было среди авторов «Русского вестника» Рикардо Даугмот был одним из самых оригинальных, чего, к сожалению, нельзя было сказать о многих других. Являясь единственным, постоянно выходящим русским журналом, «Русский вестник» добился того, чтобы на его страницах хотя бы изредка появлялись все более или менее талантливые писатели колонии. Однако с другой стороны, журнал подчас производил какое-то странное, пожалуй, неопределенное, пожалуй, даже смутное, даже утомляющее впечатление каким-то нудным однообразием, какой-то невнятиостью, рыхлостью и отсутствием своего лица. Никакого «шума времени» не было и в помине. Кроме хроники культурной жизни, где помещались сообщения о столкновениях с вла-

стями при открытии выставок русских художников, почти все тексты были какие-то вневременные, их трудно было причислить не только к какому-либо году, но даже к десятилетию, хотя под некоторыми из них и стояли даты.

Пожалуй, наиболее смелые статьи появлялись именно в разделе культурной хроники, которую вел Мордехай Захер, сын крупного израильского негодянта, подписывающий свои заметки псевдонимом Хозар.

На этой фигуре, возможно, имеет смысл остановиться, хотя более отчетливо сей облик проявится несколько позднее. Многие знали, что еще в восемнадцатилетнем возрасте Мордехай пытался перейти границу, переплыть в западной капсуле с острова на континент, но был выловлен пограничным катером, задержан и осужден. Однако не по прямо-таки напрашивающейся статье за измену родине, а всего лишь за незаконный переход границы, ибо уверял, что просто собирался попутешествовать по Западной Европе, не думая ни о какой России, а потом в той же капсуле вернуться домой. Как уверяли его недоброжелатели, именно тогда охранкой был установлен с Мордехаем Захером контакт. В то время как другие были убеждены, что он, как и его отец, работали на «Массада». Ибо, отсидев год или два, он без особых затруднений поступает в университет (что для человека с подмоченной репутацией и без серьезного покровительства почти невозможно), кончает его, а затем, покантовавшись некоторое время на неярких местах, начинает обитать на вполне престижном посту заведующего “Золотой кладовой” нумизматического отдела Центрального колониального музея, что позволяло ему печатать статьи в дорогостоящих, валютных, предназначенных для заграничных иллюстрированных изданиях и одновременно являться членом редколлегии полуоппозиционного журнала. Но не только. Игрязь в среде русских художников роль покровителя, содействуя им чем только можно, г-н Захер представлял их интересы на переговорах с властями, являясь своеобразным защитником их интересов, не жалея ни времени, ни денег. Никто не сомневался в искренности его увлечения русской живописью, никто лучше его не умел разговаривать с чиновниками от искусства, отстаивать картины на выставках, ему доверяли безусловно. И почти никто не сомневался, что он обсуждает проблемы живописи не только с искусствоведами в штатском, но и с искусствоведами в шинелях. Ибо ни для кого не являлось секретом, что и в столице, и в Сан-Тьере русское искусство курировалось специальными отделами тайной полиции.

Сколько их и кто именно был осведомителем, в какой форме подавалась информация и какие выдавались задания — точно никто не знал. Слишком многое тут было запутано. С одной стороны — Москва, которая была заинтересована в политизации культурной среды колонии, с другой — охранка, поддерживающая тех, кто не ратовал за возвращение

и присоединение к России, раздувая сепаратистские настроения. С третьей, те, кто боролся за русскую автономию на острове, на что власти то соглашались, то опять отступали, требуя гарантий, что автономия не перерастет в независимое государство, которое рано или поздно войдет в состав России.

Поэтому об одних ходили слухи, что он — человек Москвы, о другом — агент педровской охраны. Конечно, последних было больше, ибо Москва далеко, а пресловутый Сан-Себастьяно, 4 — рядом. Любая ссора в конце концов кончалась упреком: ты — сексот, ты — продаешь родину, в ответ летело — ты предатель национальных интересов, нельзя перекраивать историю по своему усмотрению. Да, сто лет назад наш остров был русским, но спустя век требовать его возвращения России, жить на чемоданах, постоянно смотреть за океан, высматривая русскую эскадру — по меньшей мере глупо, по крайней мере, неблагодарно по отношению к тем, кто приютил нас здесь.

Как ни странно, агентами охраны и их осведомителями в русской среде становились чаще всего не морально неразборчивые подонки, а люди с особым эстетическим пристрастием, метко названным Бейкером “маргинальным чувством слова”. Такой человек был не конформист в прямом смысле слова, так как он в принципе мог предать что угодно, кроме того, что сам делал в искусстве — ибо больше у него, обычно, ничего не имелось. И, помывкавшись десяток лет на положении писателя-эмигранта, хлебнув лиха, раскусив, что такое писать, не имея читателя, признания, надежд на будущее и самой мизерной оплаты за свои труды, он сначала пытается каким-либо образом уехать в Россию, обычно это ему не удается, а потом предпринимает уйму усилий, чтобы вырваться из душной эмигрантской среды и опубликоваться в каком-нибудь правительственном издании. И чаще всего ему не хватает самой малости, чтобы кто-нибудь взял на себя ответственность за сомнительную публикацию очередного русского. Вот тут-то наш субъект и может попасться на крючок. Мы вам, вы нам. Беседа в весьма уважительном тоне. Не как с предателем, зачем, отнюдь, причем здесь предательство, а как с настоящим писателем. Конечно, то, что он делает в литературе, интересно, и у «нас» многим это нравится. Да, да, редакционная косность, ничего не поделаешь. Человек в штатском с университетским дипломом предьявляет широкую эрудицию, демократизм взглядов (пару слов в защиту русской литературы) и неплохой вкус. Они совсем не против свободного творчества русских, отнюдь, и ратуют, ратуют за то, чтобы журналы проявляли соответствующую гибкость и перестали панически бояться мигрантов. Против они только одного, чтобы эти эксперименты Москва использовала в своих неблаговидных целях, ибо от этого страдают все: и престиж государства, и русские авторы. Наша цель уберечь их от эксцессов и необдуманных поступков, за которые им

самим придется расплачиваться, но будет уже поздно. Мы честно раскрываем перед вами свои карты, мы не против литературы, мы против того, чтобы литературу и литераторов использовали наши враги. Мы понимаем, что таланты нужно беречь, что это национальное достояние, — что поделаешь, это у нас, к сожалению, еще не все понимают, — но мы вам собираемся помочь. Как вы говорили фамилия редактора, с которым у вас был последний разговор?

Теперь посмотрим, каким образом до этого доходило. Чаще всего человек сам допускал какой-либо промах, достаточный, чтобы его можно было пригласить на беседу, или проходил свидетелем по какому-нибудь делу, или просто чуткие представители тайной полиции чувствовали, что клиент созрел. Но лучше, конечно, чтобы он все-таки провинился, но не слишком; чтобы ему грозили неприятности, но не очень серьезные; короче, чтобы он очутился между двух стульев, чем-либо себя скомпрометировав. Тогда его вызывали. В зависимости от ситуации сюжет разговора мог быть различным. Также тональность беседы зависела от психологического типа клиента, на кого-то нужно было сначала накричать, припугнуть, но затем обязательно заговорить совсем в другом тоне. В мягком. Доверительном. Задумчивом. Уважительном. Затем предложить помощь. Самое главное, чтобы согласился. В результате, в каком-нибудь «Голосе Сан-Тьеры» появлялась пространная подборка стихов с благожелательным или нейтральным предисловием, или выходила отдельная книга. Гонорар. Эйфория. Радость, которая обычно продолжалась недолго и скоро опять замещалась депрессией. Дело в том, что от публикации ничего не менялось. Статей о тех русских авторах, которым помогали тонтон-макуты, не писалось, их творчество не подлежало обсуждению, воспринималось с подозрением со всех сторон, ибо какой будет следующий шаг — никто толком не знал. Деньги пропивались с русской поспешностью. Новых публикаций не предвиделось, так как чтобы стать в колониальной литературе своим и получить доступ к кормушке, надо было стать в ней именно своим, то есть дать отповедь Москве, которая тянет руки куда не следует, написать несколько произведений, недвусмысленно подтверждающих свое внезапное просветление, тем самым оторвать себя от русской среды навсегда и стать спокойным честным сторонником хунты. На это, однако, наш субъект чаще всего был не готов. И не только из-за страха перед русскими агентами, которые тоже действовали в русской среде вовсю. Он всем твердил, что его интересует только литература, литература и ничего больше, и, чтобы спасти своих приятелей от необдуманных шагов, влекущих за собой самые губительные последствия, соглашался после разъяснительных бесед действовать в том или ином более или менее определенном направлении, или даже давать информацию о тех, кто, по его мнению, зарвался и может потопить не только себя, но и

бросить тень на благонадежных граждан русской национальности. Но вот написать то, что он не думал, зачеркнув этим всю свою предыдущую жизнь, ему было крайне непросто. И, значит, если он хотел опубликоваться еще раз, всю процедуру надо было начинать сначала.

Конечно, о тех, кто находился в контакте с тайной полицией, догадывались, и хотя подробностей можно было не знать, но шила в мешке не утаишь. Подвыпивший клиент мог шепнуть многозначительное словцо своему лучшему другу, а это то же самое, что проорать свое сообщение в форточку или объявить по радио. Кроме того, непонятным образом оказывалось, что не только тонтон-макуты знают о том, что происходит в нонконформистской среде, но и нонконформисты рано или поздно узнавали о том, что говорилось за самыми закрытыми дверями. К клиентам охраны в этой среде относились двояко. Брезгливые отворачивались, небрезгливые общались с налетом презрения и насмешки. Такой любопытный человек, как Вико Кальвино, широко распахивал двери перед любым, если только субъект был не очень скучен. У него бывал известный осведомитель (о ком знали все), который некогда был личным секретарем г-жи Пановой и любовником ее мужа, Дэвида Рада. (Она любила, несколько кокетничая, повторять, что у нее есть свой шофер, свой секретарь и свой стукач). Этот человек переоценил влияние и защиту мундира, зашел слишком далеко даже для офицера тайной полиции (он утверждал, что был именно офицером, то есть штатным работником, что в принципе редкость), и его посадили; как пассивному гомосексуалисту сделали татуировки на различных частях тела — такой народ в тюрьмах нарасхват, как самые красивые женщины, из-за них самозабвенно сражаются, а их самих подчас убивают из ревности (для чего и нужна татуировка, чтобы впоследствии опознать тело). Сидя в тюрьме четыре года, этот поэт умудрился дважды опубликоваться в Москве (с помощью того же г-на Рада), а также выпустить книжку новых стихов, написанных непосредственно в месте заключения. До посадки он достаточно регулярно печатался и в колониальных, и в эмигрантских журналах, а после возвращения, используя свои связи, стал добиваться разрешения на выезд в Россию; а пока — суд да дело — попытался восстановить свои бывшие литературные связи, уже не скрывая, кем он был и что именно делал. Достаточно неглупый человек с птичьим лицом. Некоторые от него отвернулись, но некоторые продолжали общаться.

Терпимость по отношению к подобным субъектам в русской среде вполне объяснима. С одной стороны, среда политически была настроена, конечно патристично, с другой, она была слишком литературна. Стиль общения и жизни был открытый, то есть выбалтывалось все и обо всем, ибо общение заменяло журналы, рецензии, читателей, славу, деньги и так далее. Поэтому осведомитель мог только раньше времени раструбить о том, о чем со временем узнают все. Конечно, когда задумы-

валось какое-нибудь издание в России, старались, чтобы тонтон-макуты узнали об этом последними. Чтобы не помешали. Но так, по существу, ничего не скрывалось. Иногда вдруг забирала за душу осторожность, и тот же синьор Кальвино начинал для вполне невинных бесед вызывать на лестницу или отчитывать за слишком откровенный тон по телефону, но уже через пару дней открыто говорил о том, о чем следовало бы, возможно, помолчать; но в такие минуты человек думал: а что мне скрывать, я не преступник, против хунты (Бог с ней) бороться не собираюсь, от своих литературных трудов все равно не откажусь, значит, вполне могу быть самим собой. Иногда вспыхивала мода на разговоры об охранке. Мол, какие у них методы. Каким образом прослушиваются телефонные разговоры. Как ставят микрофоны для прослушивания: стреляют, я вам точно говорю, из пневматического ружья в стекло микрофоном с присоской — и слушай, пожалуйста, сколько влезет.

Да, терпимость к недостаткам и даже человеческим порокам в этой среде была полнейшая. Литераторы, в основном неохристиане, то есть те, кому терпимость к падшему предписывалась совестью и основой мировоззрения. Повторяем, отворачивались только брезгливые и прямолинейные. После ареста брата Веги под рефрижератором был найден документ, неопровержимо доказывающий, что живший последнее время на этой квартире г-н Едази Лариш — осведомитель, получавший вполне определенные задания, писавший вполне определенные отчеты. Об этом догадывались давно. Он входил в инициативную группу поэтического сборника «Дань прошлому», который был составлен по инициативе властей, но был затем отклонен, а через год вышла небольшая книжка г-на Лариша. Это был пьяница, заносчивый и неуправляемый болтун, стихи его, не лишённые дарования, были особенно популярны в середине шестидесятых годов, а затем его популярность пошла на спад; в разговоре это был откровенный русский дурень, которого изредка отправляли полечиться в психлечебницу; он был утомителен своим претнциозным тоном, плохим вкусом, настырностью и имел птичье лицо. После того, как стало точно известно, что он осведомитель, отношение к нему не изменилось. Спивался он у всех на глазах: взгляд стеклянел, тупел, зрачки сужались. Когда он становился чрезмерно утомителен, его выставляли за дверь; когда брал на себя слишком много и мешал — били, но не подвергали остракизму, что, очевидно, сделать было просто невозможно из-за круговой поруки приятельских отношений.

Каким образом и когда начал общаться с органами тайной полиции г-н Хозар, неизвестно. Давал ли какую-нибудь информацию? Определенно ничего сказать мы не можем. Мы не строим обвинительного заключения, мы даем своеобразный групповой портрет, картину реально существующей среды, в которой слухи играли самую решительную роль. Их с удовольствием передавали, над ними

иронизировали, с ними, по сути дела, никак не считались. Могли ли органы оставить без внимания свободное русское издание? Вряд ли. Доверяй, но проверяй. Можно ли сказать, что в редколлегиях журнала был «внедрен» осведомитель? Новоявленный Азсф? Не похоже. О его контактах с охранкой знали или догадывались; по всей вероятности, без этого журналу не дали бы существовать так долго. Властей устраивал именно такой журнал, каким он был. Малочитаемый, малопопулярный, не пользующийся авторитетом ни в России, ни в колонии. Сам прекрасно сознающий, в какие именно рамки он поставлен. Стань этот журнал лучше или свободнее, его тут же бы закрыли. Но была гласная или негласная договоренность. Конечно, каждый отдельный материал не утверждался на улочке Сан-Хосе, в резиденции тонтон-макутов, но обо всем экстраординарном они могли быть осведомлены заблаговременно.

Как назвать позицию человека, искренне увлеченного искусством, помогающего художникам и поэтам, не жался себя, и при этом помогающего охранке направлять русское искусство в устраивающее их русло? Возможно было назвать такую позицию реалистической. Или у русской оппозиции будет свой журнал, или ничего не будет. Не имело смысла закрывать глаза на то, что и так было ясно слепому. Либо надо считаться с существующими вокруг порядками и, в том числе, по отношению к литературе, либо надо было уезжать. Не секрет, что многие скоротечные журналы и альманахи создавались именно для того, чтобы их издатели могли уехать в Россию. Собрали один номер с патриотической начинкой, с рекламой, западными журналистами, интервью, передачей по московскому радио, и те, кому иначе было не уехать, ставили перед органами безопасности дилемму: или клиентов сажать, или пусть убираются ко всем чертям.

Дон Бовиани хотел совсем другого: иметь постоянный регулярный журнал, в котором можно более или менее свободно высказывать свои мысли, печатать все то талантливое, что создавалось русскими на острове. Почти наверняка сначала его обуревали тщеславные замыслы: создать журнал, который будет эталоном литературного вкуса, будет пользоваться международной известностью и авторитетом, удивить мир тонкостью и смелостью критического подхода, заставить заговорить о нем, серьезном, спокойном, незаметном человеке буквально всех. Составили номер — через пару месяцев он уже выходит в Париже и Москве. Но не тут-то было. Москва интересовалась только политикой и русскими проблемами. Чистой литературой интересовались совсем не те круги, которые делают рекламу и известность. И приходилось, снося критику, рассчитывать на малое: какой есть — такой и есть, что поделаешь, ничего не напишешь, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Почти с самого начала их знакомства дон Бовиани спокойно, но настойчиво стал уговаривать сэра Ральфа поддержать его журнал и опубликовать на его страницах несколько глав из своего романа, чтобы потом весь роман издать в виде отдельного приложения. Сэр Ральф отговаривался тем, что продолжает работать над романом и пока не готов представить его на суд читателей, хотя на самом деле, чем больше он знакомился с журналом, тем больше рождалось сомнений. Помог случай. Перебирая в субботний вечер бумаги, он наткнулся в нижнем ящике книжного шкафа на рукопись романа своего давнего приятеля Александра Сильвы, созвонился с ним и упросил того, разрешить познакомить с его рукописью редакцию «Русского вестника». Передавая рукопись своего друга дону Бовиани, сэр Ральф был несколько смущен: конечно, роман был сыроват, чрезмерно автобиографичен и полон юношеского негодования по поводу несправедливостей этого мира. Но честно говоря, ему хотелось проверить одну догадку. Однако, реакция главного редактора застала его врасплох. Он ожидал упреков в нетвердой авторской руке, в шероховатостях стиля и неумеренных амбициях. Все оказалось иначе. Знакомым доброжелательным тоном дон Бовиани сообщил ему, что, хотя текст романа действительно великоват для одного номера, но они, пожалуй, смогут напечатать его, если только друг сэра Ральфа согласится на некоторые изменения. Сэр Ральф посмотрел недоуменно. Понимаете, роман вашего друга написан так, редактор улыбнулся доброй улыбкой, будто у нас нет Хозяина, а Хозяин есть и он может рассердиться. Как? Хозяин Педро? Дон Бовиани с улыбкой покачал головой. Москва? Дон Бовиани усмехнулся в усы. Понимаете, и мы, как редакция, и наши авторы, само собой разумеется, порой вместе рискуем, помещая те или иные смелые материалы; но наш журнал потому и существует много лет, что, хотя формально в журнале нет никакой цензуры, но зато самоограничения есть и у нас, и у наших авторов. Кстати, поверьте, далеко не всегда следует все договаривать до конца, я считаю, что роман вашего друга почти не проиграет, если вместо некоторых мест мы поставим многоготочия в скобках. И, развернув рукопись, показал сэру Ральфу около сорока цензурных поправок и купюр. Сэр Ральф ожидал всего, чего угодно, только не этого, так написал бы честный викторианский писатель прошлого века. Он был потрясен и возмущен одновременно (возможно, такой оборот употребил бы Троллоп). Его разочарование можно было бы сравнить разве что с теми надеждами, которые он только что питал — так прокомментировала бы подобную ситуацию забывенная Джейн Остин. Однако нам кажется — хотя это всего лишь предположение, возможно, не вполне обоснованное, тем более, что никакими письменными доказательствами мы не располагаем по простой причине их полного отсутствия (записные книжки сэра Ральфа молчат об этом, как рыбы), — наш писатель был вполне готов к

такому повороту событий. Вполне возможно, что он выразил лицом некоторое недоумение, так, чтобы этим поддержать равновесие беседы; возможно, просто промолчал или же произнес несколько малозначущих слов, дабы разрядить возникшую напряженность. Однако не менее вероятно его попытка как-то объяснить, что его несколько удивляет, да, да, удивляет такое положение дел в свободном оппозиционном журнале, и он не может взять в толк, зачем вообще стоит печатать произведение в искаженном виде, лучше тогда его вовсе не печатать. Известно одно, они не договорились. Единственным членом редколлегии, который голосовал за публикацию романа Александра Сильвы, был похожий на циркуль брат Кинг-Конг, по крайней мере под таким именем он был известен в аристократическом Обезьяньем обществе.

Это был человек с искрометной и парадоксальной речью, порывистыми движениями и подвижным лицом, заросшим редкой, как-то странно обкромсанной бородкой. Внутри у него постоянно что-то клочотало и бурлило, хотя он старался сдерживать себя, но сдавленная эмоциональность прорывалась в неоправданно резких движениях, жестах, в повышенном тоне или быстро поднимаемых бровях. Так бывает: природа награждает человека нсумным русским темпераментом, а ему болес импонирует хладнокровная сдержанность, равнодушно-холодный тон и лзвивые скандинавские манеры. Те, кто подавляют свою эмоциональность, всегда совершают подмену: вместо того, чтобы говорить с подъемом, как им хотелось бы, они говорят более подробно, с помощью придаточных восполняя опущенную окрашенность речи. Брат Кинг-Конг был откровенен до фамильярности, что свидетельствовало о неловкой силе натуры, и фантастически неприхотлив, в городе трудно было найти человека в более нищенском одеянии. Порой он был непрезентабелен до оскорбления приличий — вероятно, на него оборачивались на улице. Он носил вещи, которые другие постеснялись бы отдать старьевщику, а он не только не смущался своего облика, но был настолько непринужденным, что все, с кем он общался, почти сразу переставали обращать внимание на его странный наряд. Он называл себя аскетом, пытаясь, возможно, этим оправдать нищенское существование своей семьи, беднее которой трудно было сыскать: будучи радушным хозяином, широким жестом он распахивал створки кухонного шкафа, желая попотчевать гостя, но там подчас не было ничего, кроме русской мацы, кажется, его единственной повседневной пищи. Жена брата Кинг-Конга носила испещренные разноцветными заплатками восточные байковые халаты, не следила за собой, что в очередной раз напоминало, насколько женщины труднее мужчин переносят материальные лишения: они тускнеют раз и навсегда, как скисает молоко, а молодости уже не вернуть.

Есть тип таких людей, они как бы рождаются усталыми. А при этом ей выпало жить с человеком, назвать коего чудачком не поворачивается язык, настолько это бледное, невнятное отражение его натуры, хотя чудесных и удивительных чудачеств его биографии не занимать. Он сам любил сравнивать свой темперамент с характером медведя, который, в отличие от кошек, пантер или тигров, намерения которых ясны заранее, нападает всегда внезапно, будучи за секунду до того, как он, скажем, снимет с дрессировщика скальп когтистой лапой, внешне добродушным и невозмутимым. По одной версии, он ушел от первой жены в тапочках и рубашке, выскочив за пивом в половине девятого в рождественский вечер, и больше не вернулся, даже за вшами. По другой — просто опоздал на рождественский обед, а ушел из дома с баннным чемоданчиком с окованными углами (единственным его сокровищем — предметом зависти друзей и родственников) вечером под Пасху.

Со второй женой он распрощался куда более буржуазным способом: то есть оповестил за час до ухода о своем решении и забрал с собой пишущую машинку, столик и матрас для ночлега в незаселенном доме, где давний университетский приятель разрешил ему временно квартироваться, хотя в доме не было пока ни горячей воды, ни газовой конфорки. Он любил свою семью, поссориться с ним было достаточно непросто: и многие недоумевали — зачем он это сделал? В тридцать семь лет все начинать с нуля, не имея никаких юридических или фактических причин для разрыва, оставя женщину на грани отчаяния, а мальчишка пятнадцати лет без отца.

Есть типы, чья натура время от времени чувствует необходимость полного перерождения, а жизнь настолько подчинена внутреннему голосу, что они принимают самое неожиданное для посторонних решение с легкостью, с которой змея меняет свою кожу. Жизнь превратилась в сухой футляр, привычки от долгого употребления протерли дыры, шестеренки отношений стерлись и вращались, не задевая друг друга, не причиняя видимой боли, но и не обогащая душу шемящими чувствами, все надосло, устал. В течение месяца брат Кинг-Конг оборвал все свои дружеские и приятельские связи, бросил журнал, которому отдал девять лет своей жизни, для начала затребовав полугодовой отпуск, развелся с женой и исчез в неизвестном направлении. Что это был за человек?

Насколько мы смогли узнать, брат Кинг-Конг происходил из семьи профессионального военного, ушедшего в отставку в малопочетном звании штабс-капитана, судьба, кропотливо помотив его по захолустным городкам, забросила в конце концов в Сан-Тьеру, где отец (не эти ли параллели властвуют над нами?) то ли бросил семью, то ли вскоре умер, или сначала бросил, а потом умер, точно неизвестно. В любом случае, семья была простая и банальная, как все семьи военных, отец, а потом отчим были служаки, мать — типичная жена заштатного офицера,

жизнь имела место быть пустой, поверхностной, непоправимо провинциальной. Даже повзрослев, брат Кинг-Конг не испытывал к матери никаких особых чувств, они не понимали друг друга, может быть, потому, что говорили на разных языках. Местечковская еврейка, она знала только идиш, да и то с испанским акцентом. Он же почти свободно говорил по-русски, выучив его от няньки, и поэтому словцо «значить» артикулировал с мягким «и» и простонародным «т»; провинциальными и отчасти шероховатыми казались манеры, что подчеркивалось еще постоянным стремлением упрощать все, что только можно упростить.

По всей вероятности, детство (последняя страница его захлопнулась в еврейском квартале на окраине Сан-Тьерсы) было неприветливое и затхлое, иначе впоследствии он не с такой легкостью переносил бы материальные лишения — так как не ощущал в жизни ступенек, по которым спускался, да и можно ли назвать спуском или подъемом верность своей судьбе? Бедность легко переносит тот, кто привык к бедности изначально и при этом неприветлив или, напротив, кто был богат, в полной мере ощутил тщетность поиска устойчивости на пути Мидаса, а потерю состояния компенсирует приобретением мудрости. Известно, что брат Кинг-Конг учился на математическом факультете университета, поступив в него при поддержке еврейской общины, так как выказывал блестящие математические способности, ему предрекали не менее блестящее будущее, но он ушел с последнего курса, то ли потому, что всерьез увлекся Богословием, то ли по болезни. Он не любил говорить о произошедшем с ним психическом срыве, хотя все знали, что он почти год пролежал в клинике, где с помощью нейролептиков боролся с облаком невнятных видений. Он начал с хасидской литературы и некоторое время, в конце шестидесятых годов, считался подающим надежды талмудистом; затем под влиянием больничного священника перешел в православие, и уже в бытность свою редактором, написал около десятка философских статей. Но талант его проявился в другом. Будучи на редкость неэгоцентричным, нетщеславным человеком, лишенным почти обязательного для автора честолюбия, он был в высшей мере наделен способностью к досреживанию чужому творчеству, являясь отзывчивой мембраной и возбуждаясь от колебаний постороннего интеллекта подчас сильнее, чем это получалось у самого автора. Это был взыскательный читатель, откровенно и бурно радующийся чужим удачам, как своим; и помогал всем, кому мог помочь, если только верил, что у его протеже есть будущее. Он помогал самым обреченным и неудачливым людям, если только видел, что они искренни в своих литературных устремлениях и любят их общую прародину. В своих суждениях он был по-еврейски категоричен и по-русски лишен дипломатических потуг, и хотя его увлеченная поглощенность исключительно русской культурой не могла не импонировать русской оппозиции, его опасная эмоциональ-

ность, подчеркнутая подчас резким тоном и раздражающей многих подвижностью, наживала себе врагов с трудно представимой легкостью.

Брат Кинг-Конг был школьным приятелем Вико Кальвино (итальянский квартал в Сан-Тьере лежал в самом сердце еврейского местечка), но его не включили в редакцию журнала «Акмэ», так как запротестовали великосветские знакомые синьора Кальвино и, в частности, сестра Марикина, которую раздражала не только беспорядочная активность темперамента брата Кинг-Конга, но и то, что его абсолютно не волновала в искусстве эстетическая сторона, действительно ему безразличная. Он был патриотом и не скрывал этого. Для него важно было то, что шло на благо России. Социальная жизнь в его представлении только заслокала или засоряла жизнь истинную: незамутненную жизнь духа, которую он, будучи религиозным человеком, толковал, правда, в категориях, скорее, восточной, нежели церковной философии. Не испытывая никакого уважения к социальным категориям (вероятно, давал знать о себе опыт хасидизма), брат Кинг-Конг плохо понимал, что такое собственность, как своя, так и чужая: он давал свои книги и вещи, забывая потом справиться об их судьбе, но также годами держал чужие книги, что приводило к обидам владельцев. Будучи неаккуратен в расчетах, он в конце концов нажил несколько ярых недоброжелателей, так как денежный план отношений его также не беспочвоил, и он легко забывал о том, кому и сколько должен, как, впрочем, и тех, кто должен был ему. Если была еда — он ел, если ему наливали вино — пил, если не было ничего — мог голодать; приходя в гости, по русской привычке оставлял у дверей чудовищные бесформенные башмаки, шел прямо в носках, тут же вмешивался в разговор, не смущаясь незнакомой компанией, брал на себя заглавную партию и начинал бесконечный монолог, остроумный и искрометный, подворачивая под себя плоские ступни в темных заштопанных носках, ошеломляя слушателей напором необычных мыслей, с увлечением рассказывая о малоизвестных, только что вышедших в России новых книгах, говоря о чем угодно, только не о себе, пересказывая чужие работы, если можно так выразиться, конгениально, и «тыкая» мужчинам и женщинам, почти не взирая на возраст.

Это был подвижник чистой воды, и для журнала, как, впрочем, и для всей русской оппозиционной культуры этот неопит был незаменим, сделав для нее, возможно, больше, чем кто либо другой.

Сколько часов они провели с Ральфом Олсборном в упительных беседах и спорах о новой русской литературе, сколько раз засиживались далеко за полночь, забывая обо всем на свете, как бы освещая ночь двумя прожекторами, свет от которых иногда пересекался, рождая вспышки и озарения; хотя и беседы с доном Бовиани порой оказывались не менее увлекательными, правда, носили при этом принципиально

иной характер. Как бы не разветвлялась беседа, дон Бовиани всегда возвращался к началу, замыкая сказанное в кольцо, очевидно, ощущая потребность в правильности и точности риторических фигур. Он никогда не забывал, с чего именно начался разговор, какие именно повороты были сделаны, и в конце обязательно собирал виражи в обратном порядке, не пропуская ни одного колена. Каким бы прихотливым ни казался узор беседы, дон Бовиани не упускал ни одного ответвления, с серьезным и сосредоточенным видом дополняя каждое полукружие и дугу до полного круга, как бы подчеркивая, что в сказанном нет ничего случайного, непродуманного, бессистемного, и то, в чем он участвует, — не трепотня, не светский разговор, а умственная работа. И испытывал удовлетворение, замыкая разговор сплошным контуром.

О своем творчестве дон Бовиани говорил без всякого восторга, спокойно и скромно, как и подобает умудренному опыту редактору известного журнала, что теперь хвататься за перо не спешит, не гонится сломя голову за невесть чем, а выжидает. Держит про запас несколько тем и идей, и когда приходит время, и он видит, что все пропустили лакомый сюжет, для него очевидный, как пустота в фундаменте, не торопясь, не суетясь, не комплексуя, садится и восполняет пробел. Редактор думал не о себе, не о своем эгоцентричном таланте или какой-то там славе или амбициях, а о других, о культуре, литературе, России. Возможно, давала знать разница в возрасте, но именно в этом вопросе сэр Ральф не мог с ним согласиться. Когда писал он, то не задумывался ни о каком своем вкладе в литературу или культуру, и писал, честно говоря, исключительно для себя. И какой именно получался текст — плохой или хороший, судил по мычащему, бычьему чувству неловкой радости, охватывающей — либо нет, раз или два во время многочасового вожделения пера по бумаге, а как это все было связано с культурой, в том числе, и культурой России, это он, честно говоря, не очень представлял, да и, прямо скажем, это его не очень волновало. Чем дальше он вслушивался в эти постоянные разговоры о культуре и долге перед Россией, тем отчетливее понимал, с неясным стыдом признавая, что никак не может претендовать на то, что «уже работает на Россию, и Россия внимательно наблюдает за ним». Да, ему не хватало настоящего русского читателя, о котором он знал из книг и приватных бесед, но ведь искусство — и есть невидимый мост, воздушная дуга, соединяющая читателя и писателя мистической связью, проколом в метафизическом пространстве блаженной свободы и покоя, где душа обретает родину, куда бы судьба не занесла тело.

Будучи трезвым человеком, он, конечно, отчетливо понимал, как мало шансов, что Россия начнет войну за возвращение своих колоний, на что, кажется, надеялись эти идеалисты. Или что международное сообщество объявит санкции против хунты, которая сделала русских людьми второго сорта. Но, с другой стороны, время идет своим чередом и

почему не помечтать, о, эти пряно-сладкие мечты о туманном будущем, не предположить, что когда-нибудь произойдет волшебное обновление и русскому переселенцу дадут возможность быть самим собой, не боясь, что это приведет к непредсказуемым последствиям, и не заставляя вставать при звуках чужого национального гимна. Должна же когда-нибудь цивилизация добраться и до их Богом забытого острова? А вместе с цивилизацией и русскому писателю позволят выйти из подполья, куда его загнали за последние сто лет, хотя бы нейтрально относясь к его статусу молчаливого патриота, желающего быть таким, каков есть, если он не призывает при этом бороться за свержение этой трижды распроклятой хунты?

В начале зимы состоялся тайный съезд русского культурного движения, на который съехались докладчики из столицы и других городов, но организаторами была редакция «Русского вестника». Дон Бовиани прочел доклад на тему о возникновении в колонии особого русского психологического типа, который был назван им «русским странником». Тема вызвала интерес. Кто же таков в действительности этот человек в социальном, психологическом, философском плане, откуда он появился, куда идет, почему таких людей немало, где они черпают недюжинную силу, чтобы отстроиться, отгородиться от общей социальной и государственной жизни и жить как бы особняком, особым стадом? Откуда, почему и зачем появились эти люди? По мнению дона Бовиани, такие люди были всегда, при любых обществах и государствах, так как при любых общественных системах находились смельчаки-реалисты, которые решались говорить правду в лицо окружающему их пространству именно потому, что в этом было их предназначение. Такие люди-реалисты всегда чувствовали себя чужими, лишними на любом празднике жизни: ибо не умели и не хотели устраиваться, обычно не заводили семью (а если заводили — то их попытки кончались неудачей), жили неуютно, были одиноки, не имели своего угла, странствовали по свету, скитались, являясь именно вечными странниками, и смотрели на жизнь трезвыми глазами реалистов, за что социальный мир преследовал их, лишал материальной поддержки и признания, отправлял в ссылки и изгнания, подвергал остракизму и объявлял персоной нонграта, а то и просто убивал на дуэлях, либо заключал в тюрьмы. Докладчик выводил этот тип из породы лишних людей XIX века. Мнение было спорным. Конечно, было понятно, почему дону Бовиани захотелось увидеть предшественников русских странников-мигрантов в лице столь славных представителей прошлого века. Это была иерархия, пирамида с весьма устойчивым основанием. А кроме того, очевидно, он задумывался над своей жизнью и недоумевал — почему не получается ни у него, ни у других честных колониальных литераторов семейная жизнь, не образуется устойчивого уклада, быт получается растрепанным,

непричесанным, а иногда, что скрывать, даже убогим. На новоселье у брата Кинг-Конга, на которое наш писатель был приглашен с месяц назад, гостям подавали железные тарелки, алюминиевые миски и вилки, закуска была бедней не придумаешь, стаканы граненые, взятые напрокат из бара внизу; на рубашках дона Бовиани постоянно не хватало пуговиц, а брюки так плохо застегивались, что даже те, кто относился к нему с нескрываемой симпатией, как они не отводили глаза, не могли не видеть какой-то железки для крючка, а те, кто относился к нему не с такой симпатией, имели все основания полагать, что этот крючок оторвался, очевидно, давным давно. А он (то есть писатель, а не крючок) держался так, будто отделен ото всех на свете крючков и от своего внешнего облика самой непреодолимой преградой. Невозмутимо. Уверенно. И задушевно. Это были славные, милые люди, живущие самой полноценной и насыщенной духовной жизнью, но семьи их были недолговечны, с женщинами у них как-то не ладилось, хотя и сами женщины были особого рода: их трудно было, не покривив душой, назвать обворожительными и без меры привлекательными. Нет, как говорят в России, *не крокодилы, не ужас, что за бабы*, но мало обходительные, начитанные, несколько резковатые, не от мира сего, усталые, бедные, неприхотливые, потрепанные, жалкие, высокомерные, плохо следящие за собой и уставшие от литературы и разговоров о ней, как проститутки со стажем от посетителей публичного дома. И мало походили на тургеневских девушек, с которыми имели дело лишние люди русского XIX века.

О, золотой XIX век, русские мореплаватели и пираты, открыватели островов, землепроходцы, конкистадоры, миссионеры и просветители, блудные дети России, кто только не клялся тебе на верность, не клал на твой алтарь свою душу и мятежную судьбу! Не шептал заветные монологи, не засыпал с книжкой под подушкой, не представлял себя то в родовом имении где-нибудь в нижегородской губернии или в старинном доме под Тулой, а то и на Песках, в жемчужно-перламутровом Петербурге, или в дедовской деревянной Москве, с колокольным звоном и криками молочницы по утрам! О, Россия, единая и неделимая, свободная и прекрасная, с колониальными и москательными лавками, биржами и мсценатами, великая литературой и традициями!

Но нам, коль мы ведем речь о конкретном журнале и жизни островной среды, давно пора поговорить о литературе реальной, увеличить масштаб, расширить диапазон, дать представление о современных литературных кумирах и великих предшественниках, господствующих литературных направлениях и вкусах, хотя бы отчасти познакомив читателя с тем, что читалось и перечитывалось в исследуемой нами среде, помимо сладкого,пряного, соленого русского XIX века.

Золотая полка

Вкусы творческого круга (а особенно круга замкнутого, отгороженного от остального мира непреодолимыми барьерами) определяют его физиономию, возможно, точнее, чем что-либо иное.

Вероятно, читателям было бы интересно познакомиться со статистическими исследованиями читательских пристрастий русских островитян, однако, насколько нам известно, таких исследований не проводилось, по крайней мере они не опубликованы. В качестве примера мы попытаемся набросать эскиз читательских пристрастий этой среды, своеобразный шорт-лист великих предшественников, стараясь ориентироваться на некоего среднестатистического русского читателя и не замутить эту картину собственными мнениями. Имея ввиду именно спектральный, количественный анализ (что-то вроде фенологических наблюдений) читательского вкуса, определим, о чем здесь спорили, кого любили, о ком больше всего говорили, чьи имена чаще других восставали из тьмы несбытия, а чьи убирались в ящики воспоминаний? Короче: кого здесь *из своих* читали и почему?

Несомненно, в смысле популярности наиболее известным в русской среде был Вильям В. Кобак. Писательский крючок этого удачливого эмигранта забирал за сердце настолько всяких и разных, что сама эмиграция представлялась чем-то подобным очерку биографии этого сан-тльерского аристократа, воспитанного на русский лад с нянюшками и мамушками, пряниками и медовым квасом. Однако, как написал Кобак в своем дневнике: "Частный случай рождения определяет жизнь только тому, кто сам из себя ничего не представляет. Я, конечно, готов взять в соавторы случай, если только мне докажут, что есть что-либо более неудобоваримое, чем русское происхождение и наше традиционное воспитание".

Наибольшей популярностью пользовались такие его романы, как «Найденыш» (в переводе автора), «Предсказатель» и «Путешествие за смертью». Многими отмечалось пристрастие Кобака к острому сюжету (возможно, потому, что его собственная жизнь была бедна событиями и удивительно элегична, прежде всего, благодаря приступам чудовищной астмы, приговорившей его к двадцатилетнему заточению в спальне с оббитыми пробкой звуконепроницаемыми стенами). Большинство романов строилось по принципу нагнетания и ускорения действия (нас манит то, к чему мы не способны), которое в конце концов соскакивало со стремительной колес и отбрасывалось назад. Одна эксцентричная идея овладевала героем, он тщился ее осуществить при помощи автора, туго закручивающего пружины происходящего, но в решительный мо-

мент одна из пружин срывалась, и герой стремительно возвращался обратно, к своему заранее подготовленному и неминуемому поражению.

Не секрет, что беда всех остросюжетных романов одна: пока читатель следит (как зритель за быстро мелькающими руками фокусника) за крутыми поворотами сюжета, он увлечен, заигтонитизирован, заинтригован, извечная жажда чуда делает его доверчивым, но вот книга закрыта, он оборачивается назад и видит, что большинство самых острых поворотов были ложными, фиктивными, придуманными только для того, чтобы завладеть его вниманием, а на самом деле могут быть сняты, как паутина, сверкающая на солнце и тусклая в тени. Герой-эксцентрик неизменно терпит поражение, действия и поступки его, по меньшей мере, неточны, пронизательный читатель начинает разочаровываться еще раньше, по ходу повествования.

Писательские недостатки отчетливее проявляются в слабых работах. В детективном романе «Мимикрия», опубликованном еще в колонии, до отъезда в Россию, герою приходит на ум получить огромное наследство московского дядюшки, убив вместо себя своего богатого брата-близнеца, который (когда он его убивает) оказывается на него совсем не похож, о чем сам герой, конечно, не догадывается; ибо тогда бы весь сюжет сорвался бы в самом начале. В триллере «Домино» (любимой игре русских в колонии) все вертится вокруг заветной комбинации (дупль-шесть, два-шесть, дупль-два), которая позволяет обыграть в «козла» любого случайного партнера. Эту комбинацию раскрывает герою старик-антиквар и библиофил, нашедший ее секрет в одной старинной русской книге.

В знаменитом готическом романе «Замок» автор с утомительной настойчивостью подчеркивает, что красугольным камнем характера героя, который знаменательно болен астмой, считает пропущенную им возможность проявить свой патриотизм; автор дотошно формирует убедительный комплекс неполноценности героя: последний ночью пугается человека с рыболовным сачком, бонитя перейти вброд узкую горную речку, из-за внезапного приступа болезни опаздывает на поезд, увозящий добровольцев на гражданскую войну после поднятого генералом Педро антироссийского восстания. Он возвращается в каждую пропущенную ситуацию, реализует ее, но ему этого мало (ибо тогда бы ненавистный доктор Юнг — один из трех презираемых и третируемых автором на протяжении всего творчества докторов, среди которых, конечно, доктор Хайдеггер и г-н Гумилев — окажется прав). И в качестве спасительной компенсации тот, кого Ингрид Калмен называет «божественным суфлером», предлагает малоубедительный патристический порыв, заставляя героя в течение многих однообразно описанных дней, маясь от голода и жажды, добираться в надувной резиновой лодке до России, чтобы подышать волшебным воздухом родины. Замок (Россия) оказывается на замке; измученный морской болезнью герой шатаясь

выходит на берег под звуки салюта и фейерверка — думая, что так счастливая родина встречает своих сыновей, и не зная, что пока он плыл, Россия подписала с правительством Педро Паулучи договор об автономии, отказавшись навсегда от своей любимой колонии. Отчасти то же самое происходит в романе «Путешествие за смертью», однако здесь сюжет не проваливается, ибо представляет из себя пьесу, разыгранную по готовой партитуре тургеневского романа; и тут над героем властвует опять одна единственная идея освобождения — действие (герой случайно попадает в русский партизанский отряд в горах Сан-Тьеры) развивается концентрическими кругами, попытки освобождения рушатся одна за другой, кроме последней — демиург-автор сам разваливает картонные декорации романного мира, и все исчезает, накрытое тучей пыли. Герою споспешествует и его философия, вернее то метафизическое облако, или туча, в которое он время от времени погружается. (Он почти до самого конца не понимает, что те, кого он принял за русских патриотов, на самом деле — обыкновенные контрабандисты). Такой складной философией, приданной герою для объяснения его идефикса, награждаются по сути дела все главные персонажи (отметим, эта философия всегда зрительного свойства, она рождается из своеобразного расстройств или специфики зрения героя — абберрация, дефект зрения становится метафизическим порогом, через который тщится переступить герой). Но — увы — планка сбита, и высота с унылой неизбестностью стремится к нулю.

Сюжет «Найденыша» (у героя опять идефикс: усыновить для замещения не дающего покоя детского зрительного впечатления смерти младшего братишки — своего пасынка) лопается, позволим себе употребить этот решительный глагол, в тот момент, когда у него из-под носа «крадут» мальчишку (на самом деле, ему просто дают приют в одном католическом монастыре, в котором, однако, царят весьма своеобразные нравы). Начинается утомительная погоня, пленка прокручивается назад, однако вся вторая часть романа тут же делается фальшивой, читатель недоумевает, зачем все эти сложности, когда увести симпатичного белобрысого паренька с веснушками на носу можно было куда проще, без всяких цирковых трюков. Попутно, правда, выясняется, что он единственный законный наследник русского престола, внук последнего российского императора, которого давно ищут по всему свету русские монархисты. В принципе — возможно, но маловероятно. Обычно в этом месте кем-нибудь обязательно вспоминались слова автора «Путешествия в загробный мир и прочего», что описывать стоит не то, что возможно, а то, что вероятно.

Тем, кто утверждал, что г-н Кобак губил свои сюжеты, не умея их мотивировать (а иначе говоря, брал слишком острые и фальшивые сюжеты, проявляя здесь своеобразный дефект вкуса) возражали те, кто

утверждал, что для Кобака психология дело десятое, так как он заменяет психологическое обоснование идеей рока, с очевидной тяжестью тяготеющего над главными персонажами, обреченными таким образом на поражения. Рока, толкуемого, конечно, в категориях древне-греческой трагедии.* Однако — пусть все так, но роман-то построен, как традиционное психологическое повествование, и все нововведения г-на Кобака касаются языка, неожиданно расположенных ценностей в планетарной системе авторского мировоззрения, наконец, холодно-презрительного, насмешливого тона по отношению ко всему на свете, но только не сюжета, построенного словно под диктовку Романа Якобсона и Жана Доналя. И традиционность сюжета (взлет — падение, двойник — разоблачение, похищение — погоня, развитие комплекса неполноценности — его компенсация) заставляет также традиционно настраивать взгляд при восприятии сюжетной линии. И, как ни прискорбно, пристальному, внимательному взгляда этот сюжет не выдерживал, рушась в самой критической точке.

Однако что бы не происходило в романах Кобака, он оставался непревзойденным мастером описания, в совершенстве владея всей палитрой традиционного русского сказа, лепя из тонкой словесной пены живописные образы, как никто другой, умея передавать ощущения цвета, запаха, детали, мимолетного зрительного впечатления и душевного движения, доводя свою прозаическую ткань до невиданной тонкости, которой подвластна любая шероховатость или морщинка. Почти все сходилось на том, что ему особенно удавались описания ностальгической старости и аквариумных рыбок. И, конечно, напряженный, не находящий выхода, старческий эротизм.

Куда меньше русских романов были известны испанские романы г-на Кобака (ибо его гувернанткой была испанка из Гондураса, и он знал испанский, как русский). Если его мемуары «Наедине с музой» (переведенные на русский самим автором) еще читались некоторыми островитянами, то такие романы, как «Белый пожар», «Панин», «Посмотри на него», «Рая» и четырехтомный, вместе с изумительными комментариями (из которых вышел весь Герман Джери), прозаический перевод «Александра Елагина» на испанский — были почти неизвестны, за исключением тех немногих, кто владел испанским с рождения. Правда, одна почитательница г-на Кобака, сетуя на свои слабые силы,

* Так, в романе «Панин» (романизированной биографии знаменитого полярника) устами своего персонажа писатель говорит: «Некоторые люди — я один из них — ненавидят хэппи-энды. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло — это норма. Рока нельзя избежать».

перевела и «Пянина», и «Посмотри на него», и «Раю» (в газете «Сан-Тьерское литературное ревю» в немногих, но неизменно критических упоминаниях о г-не Кобаке, — ему так и не простили переезда в Москву, предпринятого якобы для лечения язвы, — этот роман был назван данью порочному мифотворчеству, — очевидно, не читавший романа рецензент был введен в заблуждение названием «Рая», которое он простодушно вывел из слова «рай»). Однако, на самом деле, «Рая» — имя героини, дочери первого российского генерал-губернатора колонии; история Рая переплетается с историей ее родного брата, находящегося с ней в кровосмесительной близости; они начинают предаваться пленительным занятиям в родовом имении Сардас даже не в юношеском, а в детском возрасте, а затем погружаются в эротические забавы на каждой четвертой странице этого четырехсотстраничного произведения. Островной читатель прекрасно понимал, что история преступной любви брата и сестры — ничто иное, как история отношений России к ее колониям, брак между которыми оказался исторически невозможен. Само поместье Сардис находилось в русской или французской Эстоти, флорой и фауной напоминающей Канаду, ибо, конечно, это та Россия, которая находится в Атлантическом океане, как сам Сардис расположен между элегантной Калугой, что в штате Нью-Чсшир, и не менее элегантной Ладогой, на реке Луга, недалеко от швейцарского Лугано. Эту Россию не надо путать с другой страной от Ялты до Алтая, под названием Татари, где постоянно происходят какие-то неведомые, но неизменно чудовищные изменения. География слегка перепутана, исторические события смещены, роман написан на испано-русском диалекте (что представляло особую трудность для переводчика); сообщается о чеховской драме «Четыре сестры», некоторые романы Толстого написал некий толстый Лео, что оставил отпечаток своей по-мужицки босой ступни в горячем асфальте штата Юта и знаменитый повестью о Мюрате, незаконнорожденном сыне французского генерала и вожде индейского племени Навахо; на нескольких страницах почти дословно пересказывается рассказ Гоголя «Страшная месть»; и скрытыми или явными реминисценциями (наиболее интересным и сплошным приемом этого романа) полны почти все его страницы.

В этом произведении, как в мозгу сумасшедшего, почти все перепутано, поставлено с ног на голову, все смещено, как после сдвига земной коры или оглушительного взрыва. Однако недостатками становятся былые достоинства: как неизбежность воспринимается изнуряющий метафизический аккомпанемент, опять детство, опять золотые рыбки в аквариуме юного ихтиолога, утомительные описания изумрудных водорослей и т.д. Возможно, здесь отчасти вина перевода (интересно признание переводчицы, что значения многих слов она находила не среди основных значений, а где-нибудь на 14, 15-ой позиции,

то есть писатель намеренно пользовался побочными, периферийными значениями, делая более тонкими и неочевидными связи между частями предложения в своей прихотливой фразе). Несомненна и намеренна издательская составляющая этого текста, эта игра в чудовищно плохой роман с ботанически-научообразными рассуждениями изысканно-похотливой двенадцатилетней исследовательницы на многих страницах, удушающе высокопарный лексикон, и вообще, присутствие всей обязательной для любого банального произведения клавиатуры, на что, кстати, обращает внимание и автор одной рецензии (Глен Авдайк), случайно попавшей к нам в руки. Однако все, конечно, не так просто, как это кажется достопочтенному американскому романисту, который, в основном, сетует на почти полное отсутствие в тексте пласта отдаленного жизнесподобия (он бы, очевидно, хотел, чтобы тему любви-ненависти между Россией и ее островами автор решил более реалистическим методом). Нам более импонирует мысль, что это не более, чем инсценировка плохого романа, автору которого, с одной стороны, все уже надоело, а с другой, он понимает, что не может писать лучше, и это сродни уловкам близорукого человека, делающего вид, что видит хуже, чем на самом деле. Намеренно или случайно, в этой книге все равно слишком много разваливающегося теста, что ни в коем случае не искупается тем, что она вроде бы представляет из себя воспоминания героя, написанные им в Москве в «марзаматически иступленном» возрасте. Кобак, тонкий и изощренный эзекатор пошлости, хищно выискивающий все новые и новые ходы для уничтожения банального в любых обличиях, пытается на страницах романа создать некий гигантский эквивалент жестокого романа, щедро оснащая его всеми соответствующими регалиями. Однако несмотря на рой отдельных блесков разваливающегося языка, чье зеркало точнее всего регистрирует дыхание Чейн-Стокса и приближение смерти, многое здесь ставит в тупик даже самого преданного читателя.

Очевидно, автор сознавал, что не всегда справлялся со своей писательской задачей, и в тексте полно обмолвок вроде: «Я слаб. Я плохо пишу. Я могу умереть сегодня вечером». Автобиографический подтекст очевиден. Попутно Кобак занимается тем, чем не занимался никогда ранее: пытается построить философию собственного творчества. Так на вопрос: «Что поднимает животный акт на более высокий уровень, чем самое прекрасное искусство или буйный полет чистой науки?» автор отвечает сам себе (и своим подразумеваемым критикам): «Независимый и фантастический ум должен цепляться за что-то или критиковать что-то, чтобы отвращать безумие или смерть, которая является величайшим безумием».

Больших мастеров тянет к прошлым произведениям, как убийц на место преступления. Нам известно об одном необычном исследовании ключевых сцен в прозе г-на Кобака, в котором проводится мысль о

свособразном зеркальном соответствии испанских романов г-на Кобака, написанных уже после переезда в Москву, когда Кобак и перешел, во многом из чувства противоречия, на испанский, их русским братьям и о все убыстряющемся повторении этих ключевых сцен, их состава и структуры в позднем творчестве писателя. Как первую половину жизни Вильям Кобак стремился в Москву, так потом, с меньшим усердием и жаром представлял себя бредущим то в качестве туриста, то в виде паломника по родному острову.

Маргинальных писателей, к которым исследовательница К. Х. Бернет относит и Кобака, по-настоящему привлекает всего несколько эпизодов, особо сфокусированных сцен, которые они перебирают, словно четки, создавая всевозможные и с разных сторон освещенные вариации на заданные метрономом души темы, а все остальное пространство текста — не более чем лазейки, позволяющие подбираться к лаковым сценам, маскируя их преднамеренность. Достаточно остроумно (хотя и несколько спорно) исследовательница называет эти эпизоды «эrogenными зонами» романов. И делает вывод о существовании в Кобаке-писателе двух противоречивых натур: одной, нсвероятно чувствительной, уязвимой и уязвленной несколькими болезненно-ностальгическими воспоминаниями, которые тянут и тянут притрагиваться к ним, как к подсыхающим ранкам; и второй — насмешливой и запутывающей следы, скрывающей преступную чувствительность первой за нарочито беспардонными описаниями. Получается, что вторая натура специально наводит туман и таит за пышными рюшами и кружевами, вроде эротических пассажей и снобистских заявлений, стыдливость и ранимость первой. Достаточно забавны страницы, на которых исследовательница прослеживает путь рыболовного сачка: болезненно раздувшись, он путешествует по аквариумам и детским снам многих геросв. Приводимые К. Бернет доказательства именно остроумны, это скорее интуитивные догадки, нежели метод, но и они заслуживают внимания.

Как уверяют многие наши корреспонденты, вторым по популярности писателем долгое время был г-н Сократов. Его фразы намертво ввинчивались в читательское восприятие, превращаясь в своеобразные ловушки, лабиринты, выход из которых отыскать было непросто. Каждая такая фраза — ветвь, полная плодов и листьев, смертей и рождений, веры и иллюзий, трудно уловимой поэзии и прекрасной неправильности речи. Речи, тождественной торопливой простонародной оговорке (что намекало на неподготовленность авторского слова, рождающегося из пены на глазах читателя). Откатывается волна, оголяя песчаное дно, и на ровной поверхности остается волнообразный отпечаток. Фраза становилась настройкой зрения, свособразным прибором для обостренного восприятия сердцевидного строения мира. Тут же всплывал многолетний конфиденг г-на Сократова, библиотекарь Центрального ис-

торического музея Айзик Вороб с его идеей реконструкции загробного мира. Конечно, упоминался и их общий ученик Имбор Шелковский, так как его проекты космических аппаратов предполагали возможность проникновения в мир теней. Однако проходивший иногда по разряду научной фантастики г-н Сократов, конечно, был создателем новых голокружительных утопий, естественно, на колониальный лад.

И его поклонники делились на тех, кто выше ставил романы Сократова «Загадка ювелира», «Яма», «Ювелирное озеро», и тех, кто отдавал пальму первенства его рассказам. Первые утверждали, что повести — вершина творчества этого лучшего колониального писателя, лишь на уик-энды покидающего частную клинику доктора Маро; вторые сетовали на то, что в этих вещах фраза потеряла былую гибкость, настроенная на восприятие совсем других, нежели в рассказах, вещей, стала более условной, схематичной и менее глубокой, лишилась жизненной шероховатости и шероховатой прелести. Поклонники рассказов также сетовали на то, что герои романов — это обезличенные идеи, картонные облики, лишённые всякого жизненного правдоподобия, плоские и нелепы, не вызывающие ни спазмы сочувствия, ни судороги сопереживания. И это несмотря на наличие в том же «Ювелире» обилия пронзительно чудовищных сцен, вызывающих чуть ли не мучительное содрогание у читателя, вроде описания на десяти страницах попытки воскреснения умершего ребенка педровской охранкой, когда его в присутствии матери трясут, ставят на ножки, дуют в рот и в уши — ибо понятно, что тот акт, который осуществляют герои этого романа — это все та же попытка проникнуть в пределы загробного мира и его тайны.

Не менее часто оппоненты вспоминали другой эпизод: ночной расстрел русских патриотов, которых собирали и готовили к смерти, как к переезду в другой, более подходящий им мир, — считая эту сцену водоразделом, демаркационной линией между традиционным христианским мировоззрением и мистической идеей Айзика Вороба. Тот же смысл был и в сцене расправы со странниками в «Яме», которая начиналась знаменитым и прекрасным пассажем об увольнении от смерти.

Было очевидно, что антимонархическая война генерала Педро воспринималась г-ном Сократовым как прелюдия, первый этап воплощения идей полусумасшедшего Вороба, однако читатели г-на Сократова не сходились во мнении: является ли гротескное изображение переворота свидетельством разочарования писателя в идее своего учителя, или же он был разочарован тем, что все осуществлялось последовательно, незаметно сойдя со своего магистрального пути? Потому его романские типы пустотелы, что его в этот момент не интересовал человеческий тип как таковой, а занимало противоборство идей, но только не в чистом поле интеллектуального анализа, а в момент их катастрофических реализаций в жизни. Сократов показывал, как можно

воплотить самую безумную идею; каждая из этих идей была сама по себе огромной, слишком откровенно неосуществимой, именно безумной (поэтому его так привлекали сумасшедшие и слабоумные), но вместе они осуществляли многоголосие идей — лепестками тяготая к одному центру, и этим центром была — перспектива человеческой жизни в ином мире. Подобное выветривание личностного, человеческого начала из литературных типов (во имя перехода на более высокий уровень обобщения и язык других понятий) осуществлялось поздним Иваном Соковым, несомненно самым близким из русских писателей — предшественником г-на Сократова. Но если рассказы, написанные еще под влиянием прозы Сокова, грубо говоря, дотошно изучали процесс увядания и умирания, который если не всегда прекрасен, то по крайней мере поучителен, романы же, как кинокамера в покойнице, были поставлены уже перед лицом голого облика смерти.

Однако настоящим властителем дум широкого читателя в колонии являлся, несомненно, Майк Бодэ, автор мистических детективов, хотя в России к нему относились с намного меньшим пиететом, чем к другим авторам “романов ужасов”, скажем, к г-ну Пальму или Иржи Момбелли. Готические романы, написанные вязким, орнаментальным языком, — романы для одноразового чтения. Что-то среднее между великосветским чтивом и любимым времяпрепровождением кухарок и бэбиситеров. Для них «Пигмалион и дева» — являлся настольной книгой, в то время как читатель более искушенный недоумевал: что в этом мутном повествовании так нравится островному читателю? Роман находился на грани между серьезной и массовой литературой или, как говорили некоторые, был произведением массовой литературы, написанным талантливым писателем. Те, кто не отчуждал литературу от общественной жизни, утверждали, что роман «Страшный сон» и пьеса «Иноходь» — это пасквили на эмиграцию и противников генерала Педро. И симптоматично, что также скептически в этой среде воспринимался поздний Суареш: да, да, Суареш, имя которого для всего мира было связано с колониальной жизнью, ее великий бытоописатель и кропотливый исследователь, символ русского переселенца для всего просвещенного человечества.

Ни рассказы о том, что ему была отведена квартира в Кремле, рядом с Грановитой палатой, ни почести, оказанные ему английской королевой и французским президентом, принесшим ему персональные извинения за войну французов против восставших русских, ни его громокипящий правдоискательский пафос не могли изменить ничего в той усталости и неловкости, с которой обыкновенный русский переселенец произносил его имя. Конечно, любой мальчик из интеллигентной русской семьи был просто обязан прочитать и «Остров смерти» — страшное и блистательное повествование истории родного острова, и знаменитую «Историю люб-

ви», по мотивам которой Полакк снял свой не менее известный фильм. Однако его последние опыты в беллетристике почти всех оставляли равнодушными. Эти книги можно было читать, но они были ниже суарешского таланта историка и только разбазаривали впустую его былое влияние. Создавалось ощущение, что Суареш уже сделал свое дело и то, что для обыкновенного хорошего писателя считалось бы удачей — «Заколдованный дом», «В западне», «14 июля», — для знаменитого старца было слишком мало, если не сказать ничтожно. Власти называли его «человеком Москвы», русские островитяне все более относились к нему не как к писателю, а как к историографу, колониальному Карамзину нашего века.

Симптоматично, что по большому счету из всех эмигрантов настоящими (да и то, конечно, с оговорками) считались только двое, кто, уехав в Москву, не использовал свободу слова себе во зло: г-н Беркутов и Карлински.

Последний был, пожалуй, самым популярным поэтом среди читателей, которым была доступна свободная литература здесь и там. Он был одним из тех немногих, кто воздействовал на читательское восприятие не только акустикой своих текстов, но и туманным, легендарным ореолом вокруг своей загадочной личности. Его биография заключала в себе лакомый контур удачи, чьи очертания всегда импонируют своей завершенностью общественному мнению. Не все понимали, почему именно Ивор Карлински — по мнению многих — стал очередным слепком ожидания толпы, вновь заговорившей улицей, как бы одухотворенным представителем четвертого сословия. Тем, вышедшем из низов типичным непризнанным гением, на которого сначала смотрели с недоумением, а потом с восторгом, так как он шел по перекидной доске с фокусом переворота в середине пути.

Рыжий, невысокий человек, претенциозно высокомерный, не имеющий университетского диплома и какого-либо систематического образования, с известным колониальным грешком полуобразованности и несколько провинциальными манерами, чья душа, однако, оказалась синхронной времени мембраной, уловившей колебания, исходящие от насыщенного самым широким представительством пространства. На его долю выпал самый большой успех в эпоху постпедровского ренессанса именно потому, что субъект его поэзии, лирический герой с автобиографическим гримом — такой же простолюдин, как и его интеллигентный читатель; а классическое устройство стиха только способствовало настройке на резкость оптической системы, в которой читатель видел самого себя, только перемещенного в наиболее благоприятные обстоятельства.

Именно лирический антураж и лакомая биография современника, который совершал и которому удавалось то, о чем мечтал читатель, сделали его стихи жадно ожидаемыми аудиторией. Все канонические регалии, что импонируют и подкупают читателя, имелись в этой биографии: нищенское существование, судебная расправа за стихи, жад-

ные толпы поклонников на каждом чтении, затем высылка в Россию, где он оказывается самым удачливым из всех эмигрировавших колониальных писателей. Магнетический нимб удачи создавал такое силовое поле, в котором его стихи получали самую выгодную и притягательную подсветку, они сверкали, как бусинки пота на лбу увенчанного заслуженными лаврами актера, которого режиссер счастливой рукой выводит на просцениум. Миф, что сам собой творился вокруг этого поэта, только споспешествовал более проникновенному восприятию его стихов. Разговорная интонация в настроенной на высокий лад поэтике, поэзия как таковая — то есть претворение в стихах лирической биографии — все это и позволило ему почти сразу занять наиболее почитаемую и вакантную лунку опального поэта, инверсия положения которого (от неизвестности к славе) чуть ли не предопределена.

Однако стоило только Карлински уйти за кулисы, перестать подкреплять свои стихотворные строки магнетическим влиянием личности (пусть и для получения самого драгоценного приза в виде признания в Москве), как все больше читателей стало выходить из-под гипнотического влияния его поэтики, отдавая ей должное, но не трепеща.

То ощущение задушевного разговора двух интимно беседующих душ — автора и читателя, понимающих друг друга с полуслова, то, что долгое время ощущалось, как живое свидетельство жизни, воплощенное в рифмованную материю, постепенно, но неумолимо стало тускнеть, как тускнеет любое зеркало от времени. Карлински любили, однако первым поэтом, королем поэтов колонии, каким он считался, пока не выпал из пробора, он уже не являлся. На кандидатуру первого колониального поэта (с согласия многочисленных своих почитателей) претендовали теперь другие. Некоторые полагали, что это г-жа Шанц, хотя известная своей аффектированной эмоциональностью мадам Виардо и попыталась препятствовать вручению ей премии Русского клуба, считая, что эту премию более заслуживает один из ее друзей-эмигрантов. На кандидатуру первого поэта претендовал и г-н Куйрулин, в его пользу говорило и то, что такой искренний и щепетильный ценитель поэзии, как синьор Кальвино, не возражал против присуждения ему премии Бейкера, считая, что его стихи “отражают изменение времени с точностью божественного хронометра”.

В течение пяти лет первыми по разряду «фикшн» стояли выпущенные издательством «Сардис» романы г-на Беркутова. Биографически он принадлежал к тому увлекательному типу писателей, которые становятся знаменитыми не постепенно, а в один день: долгие годы, говорят, он жил в Сан-Тьере, что-то писал, не привлекая к себе никакого внимания и не вызывая интереса, затем женился, получил разрешение на выезд, через несколько лет объявился в Москве, где издал у Формера «Лицей для мудреца», еще через два года «Между кошкой и собакой» и стал притчей во языцех.

Конечно, отмечалось влияние на Беркутова прозы Вильяма Кобака, прежде всего его испаноязычных романов (с форпостом в виде «Раи»), где языковые эксперименты сочетались с эксцентрическими игровыми пассажами. Но новые жанры в искусстве появляются так же редко, как и новые игры, ибо новый жанр формируется и обтачивается долго, как янтарь волнами, идущими чередой. Жанр сказа-игры (а его пласты или, по крайней мере, жизнетворные очаги, можно обнаружить не только в прозе Кобака и г-на Беркутова, но и у таких, возможно, наиболее интересных колониальных писателей, как Билл и Стив Еропкины, малоизвестный в России молодой титан Марк Мэлон, г-н Филимонов и другие), этот новый жанр появился не как бедный колониальный родственник из затхлого воздуха колонии, а, как и следовало ожидать, из морской пены русской литературы.

Почему те или иные писатели становятся популярными в том или ином читательском кругу? О чем говорят читательские пристрастия и как они определяют физиономию творческой среды? Конечно, многообразие литературы вызвано многообразием читательских вкусов. И ни спектральный, ни статистический анализ не выяснит до конца, почему вдруг с дальней полки достается та или иная книжка, и именно сейчас, как из облака пыли, появляется вроде навсегда забытый автор прошлого века, в тени популярности которого скучают авторы куда более современные и изощренные, чьи книги остаются без спроса. И наоборот, отчего столь неожиданно порой появляется на книжном горизонте неведомый провинциал, встречаемый недоверчивыми смешками, и проходит всего какие-нибудь полгода, и вдруг — именно он законодатель мод и руководитель вкусов, и вся литература смотрит на него и даже равняется, хотя и это ни о чем не говорит, и кто может поручиться, что о нем не забудут буквально завтра?

И, конечно, не надо забывать, что колониальная литература, какие бы эпитеты мы к ней ни подбирали, все равно лишь часть, а не целое, остров в архипелаге, пусть крупный, но не единственный, и без литературы метрополии, как не верти, нам не обойтись. Россия, Россия! Огромный, неприступный материк! Кто только не пытался обнять тебя своим умом! Кто не стремился к тебе хотя бы в мыслях! Кто из жителей колонии не корил себя, что живет *там*, а не *здесь*! И не давал себе слово: пусть как турист, как путешественник, пусть раз в жизни, но побывать в Москве обязательно!

(Продолжение следует).

Калеча встречных пиками усов
Уже, собственно, разбежался
Уже, собственно, результат

Гулял я около огня
И тут по умыслу по злому
Дети пропойцы Козлова
Близнецы
Внезапно подожгли меня
И я увидел зреньем разовым
Ослепительным
Как моя кожа дымкой газовой
Вдруг полетела, засмеялась
А после сморщилась и смялась
И исчезла
А я остался красный, весь в
прожилках и волокнах
блестящих, ничем не
прикрытый

Григорий Явлинский, не брат ли
вы, не сын ли вы
Не преломленная ли соответственно
нашему преломленному
времени
Инкарнация великого русского
художника Александра
Явленского
Явившего перед глазами незрячего
мира
Чистые, нематериальные свечения
истинных ликов
Просто свечение — и ничего
больше
О, Господи, сколько чистых и
безумных идей вошло в
российские пространства
Может быть, ваши экономические
полубезумства

Будут если не первым, то хотя
бы реальным зерном
Уцепившимся своими витальными
усиками
За нашу, каменистую, столь падкую
до овевающих ее воздушных
сказок и почти уже обеспло-
дившую землю

* * *

Мы, помню, в детстве, бедно жили
Недоедали и едва
Концы с концами мы сводили
И дня каких-то, может, два
Нам до получки не хватало
Под корень, хоть не без труда
Я ногти вырвала тогда
И на базаре обменяла
На что-то съестное

* * *

О чем вы кричите с трибуны,
генерал Макашов
Очень, очень хочется спросить!
Я не Евтушенко, чтобы рифмовать
ваше имя Альберт
Со странным словом, именем вполне
уважаемой вещи — мольберт
Но я спрошу Вас: что за картину
чаете вы нарисовать на этом
мольберте?
Что за картина это будет? Какого
цвета и смысла?!

Не войска ли, как заряженный
ствол у виска совсем еще
юной, словно девушка,
демократии?!

Или, может, благовест, шагающий
в строю?!

Или пускание излишней крови,
только-только накопившейся в

Поскольку коммунист он есть, комму-
нист
Даже если он и есть коммунист России
Он сам себя порочит
И не смей помешать ему в этом
праведном деле
Тем более, что он — коммунист
России

Я помню, собирал грибы
В детстве
Зашел в глубокую ложбину
Туман густой лежит как бы
Странность какая
Я вдруг почувствовал чужбину

И я прилег, чтобы рассвет
Подождать
Туман рассеялся к рассвету
Я встать хочу — да силы нет
Я чувствую, что во мне нету
Костяка
А он поодаль белой массой
Лежит застывшею пластмассой
Вытекшей

Когда я еду по зарубежным просторам
Я вижу огромные рекламы Сименс,
Марлборо и жевательных резинок
Я думаю: это ли нужно нам в возрожденной России
Но когда я вижу по сторонам ухоженные дома и возделанные поля
Чистых, спокойных и упорных людей
Я думаю: это нужно нам в возрожденной России
Когда я вижу прозрачные окна заполненных светящихся магазинов
Я думаю: и это нужно нам в возрожден-

ной России
 И вижу многое другое — и это нужно
 нам в возрожденной России
 И это, и это нужно нам в возрожден-
 ной России
 Когда я слышу: нам нужна Россия в
 возрожденной России! —
 О, это жонглирование пустыми форма-
 ми с легкостью заполняемыми
 любым содержанием
 Но с особой легкостью — самым при-
 митивным и жестоким
 Как правило, имеющим единственную
 целью доказать реальность и
 всегдашнее наличие самого себя
 А нам, нам нужна жизнь и жизнь
 смыслов в возрожденной России

Когда я проезжаю по запущенным и
 раскисшим просторам
 Моей прекрасной Родины
 Когда я вижу фигуры одиноких или
 собранных в кучки крестьян
 Щурящихся на солнце своими древес-
 ными лицами
 Я думаю: в угоду какому крикуну
 Бросавшему их досель то на выполне-
 ние пятилетки, то на танки, то
 за колючую проволоку
 Будут они вновь холодно и с безум-
 ным азартом
 Брошены в омут непроверенных и
 милых чьему-то сердцу привати-
 зации и рынка
 Неподготовленные, неспрошенные,
 несогласные
 Неведающие, непомнящие, не чаящие
 уже ничего
 Будут они опять своими телами
 закрывать прорехи чьих-то
 восторгов

Или амбразуры чьей-то ненависти
А в чем их правда? Чего они сами
хотят

Дайте ответ! —
Не дают ответа

Нравственность их беспокоит
Их беспокоит вид голой жопы
Но вот если они надели сутаны или
штаны

И взяли в руки автоматы, чтобы
заставить надеть сутаны и
штаны

Тогда они нравственны
А вот те, кто знает, что у них под
сутанам и штанам жопы

Но и знающие, что они сами знают
что у них под штанами и сутанами
жопы

И не скрывающие это — они, стало
быть, безнравственны
Вот раньше была нравственность —
говорят

Так ведь раньше они были бы со своими
нынешними гладко выбритыми
как жопы лицами

Были бы хуже, чем со своими голыми
жопами

Раньше, брат, круто было

Я помню где-то лет с шести
Там что-то с животом случилось
Не то, чтобы он стал расти
Само собою получилось
Что

Он просто стал в себя вбирать
Все это разом без различий —
Глаза, ресницы, ногти, грудь
Кровь, уши, волосы и плечи
И все прочее

Стал испражняться и рожать
А мне ему и возражать —
То
Нечем

* * *

Конечно же, конечно же, его надо
 скорейшим образом похерить
Только тела преступников и жутких-
 жутких злодеев
Остаются непогребенными в назидан-
 ние неокрепшим душам
Даже собачку, кошечку, птичку
 маленькая их хозяйка, если тако-
 вая имеется
В слезах, омывающих нежное личико,
 возведя горе прозрачные от
 горя очи
Старается придать рассыпчатой
 земле
Хотя, конечно, и вековая мечта
 русского народа
Записанная на пожелтелой бумаге
 безумным Федоровым
Стояла ярко воплощенная в нежела-
 нии отдать земле наше родное
Ведь жалко, жалко ведь! ведь так
 жалко! ведь как жалко-то разру-
 шить мечту!
Но надо выбирать — неподвижная
 вечность
Или жизнь — осмысление второго
 порядка смерти

Николай ИСАЕВ

Николай Исаев заявил о себе как о писателе в начале восьмидесятых, т.е. во времена легендарные, когда стерильный вакуум советской литературы казалось невозможным осквернить ничем живым и свежим. Редчайшие вкрапления подобной заразы, уже достаточно давно укоренившиеся в этой среде, существовали по инерции и на краю гибели. Но за гранью мертвящего люминесцентного официоза начинался душистый бархатный мрак самиздата, второй культуры, и в его тьме бурно (в обратном пропорциональном размеру количеству) плодились мелкие, средние и крупные экземпляры художественной фауны, чьи творческие жесты и открытия собственно и были литературой.

Исаев не был уроженцем этого мира, но проза его обладала чертами родственной узнаваемости, ее координаты отчетливо выявлялись в пространстве новейшей словесности. Обескураживало только то, что игровая, многослойная, умело сконструированная и к тому же с травестийным Пушкиным в роли главного героя повесть... была напечатана. Как это случилось и на что намекало, было интересно обсуждать тогда и, может быть, снова станет интересно исследовать потом, но неожиданный писатель, образчик как бы двойной мутации, запомнился и должен был, во всем приметам, обнаружить себя в новые времена в поле зрения нашего журнала. Сказанного, может быть в силу недостаточной широты этого поля зрения, долго не происходило. Но наконец мы с радостью возобновляем знакомство и представляем вниманию читателей повесть Николая Исаева "Теория катастроф".

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ

Предупреждение публикатора

Увольняясь из органов государственной безопасности по фактам, дискредитирующим и порочащим высокое звание офицера и, позднее, генерала, разбирая преступные бумаги мои в ящиках стола для вновь вступающего в должность начальника Московского управления министерства государственной безопасности, неведомого мне пока товарища по бесконечно любимой и родной коммунистической партии, обнаружил я эти записки.

Признаюсь, крестьянский сын, что, увидев листы, сплошь исписанные математическими формулами, лишь с малой частью, так сказать, гражданских написаний, какие обычно бывают в короткой переписке между друзьями далекой юности или законным мужем и находящейся на излечении в Крыму супругой, намеревался я записки эти сжечь.

Но, вчитавшись, отложил назначенное. На отдельных страницах описывались автором встречи с драгоценными вождями партии и правительства в тридцатых годах, самим товарищем Сталиным, имелись чаепития по работе с Наркомом Внутренних дел товарищем Ежовым, с которым я сам лично познакомился, будучи надзирателем в образцовой

и потому мало известной Сухановской тюрьме. Тогда я уж третий год учился в заочном институте марксизма-ленинизма, очень уж мне было лестно побывать за клубом Таганской тюрьмы. И вот вызывает начальство и говорит: «Поведешь сейчас на допрос, смотри, держи его крепче и будь внимательнее!» Признаюсь, даже в обиду показалось: уж мы-то свой страшный долг перед народом выполняли. Гляжу: точно он — щуплый, пришибленный — дорогой Николай Иванович, — уж очень мы за него, чекисты, гордились.

И потом уж на пенсии, в ожидании полной реабилитации, бесконечно перечитывая записки, понял я, что автором их был дорогой товарищ Штукатуров — заместитель нашего Наркома и взятый одновременно с Николаем Ивановичем. Вот с ним судьба развелась. Тоже высоко летал. Неоднократный орденоседец. Часто его портреты печатали в «Правде» и хвалили.

Признаюсь, когда получал справку о полной реабилитации в Военной Коллегии суда по бесконечным беззакониям и кровавым избиениям партийных кадров, попросил наших ребят узнать про Штукатурова. Многие его помнили.

Но нет, не нашли концов. А жаль. Замысловатое перо имел и повидал немало. Так что, передавая в печать этот труд, как говорится, для вечно-го укора молодежи и завершая свою предварилровку, хочу высказаться цитатой из исторических записок автора:

Дорогие товарищ Сталин! Наш любимый вождь, учитель, друг всей счастливой страны и здоровья навсегда!

P.S. Все формулы, прямо отвлекающие от чтения и не у места, вымал как мог.

Генерал-лейтенант внутренних войск в отставке
Б.Б.Коридоров

Историческая справка № 1

Пролог

Гибель дирижабля «Гинденбург»

6 мая 1937 года на Лейкхерском аэродроме (штат Нью-Джерси, США) в результате взрыва и пожара погиб германский дирижабль (V-129, «Гинденбург»).

Гибель «Гинденбурга» произвела ошеломляющее впечатление во всем мире. Погибший Цеппелин был выдающимся достижением инже-

нерной мысли. В 1936 году им было совершено несколько десятков рейсов через Атлантический океан и перевезено 3500 пассажиров.

Данные дирижабля: объем — 200 тысяч кубических метров, длина — 245 метров, мидель — 41,2 м, удлинение — 6, наибольшая высота на посадочных полосах — 44,7 м, крейсерская скорость — 125 км/час, полетный вес — 195 тонн, включая платную нагрузку 19 тонн.

4 дизель-мотора Лаймер Бенц общей мощностью 4800 л.с.

Каркас состоял из 15 главных шпангоутов. Форма шпангоутов — правильный 36-угольник. Четыре моторные гондолы подвешивались попарно.

72 пассажира, 50 членов экипажа. 25 двуспальных кабин, столовые, остекленные палубы для прогулок, ванны, души, библиотека и курительная комната.

Д-к Эккнер поддержал версию о возникновении пожара от статического электричества — причальный такелаж был мокрым, так что дирижабль при посадке обратился в своеобразный громоотвод.

Эксперт-физик Дикман считал возможным возникновение пожара от огней Эльма (небольшие огоньки наверху дирижабля).

Это мнение было подтверждено экспертом по электростатике бюро стандартов США Сильби.

Ряд морских офицеров США поддерживают версию, что первый взрыв произошел именно около газового клапана. Лейтенанты же Гайлен и Мей не согласились с этим мнением...

Крутой поворот дирижабля при посадке должен был увеличить нагрузку на стабилизатор. Одна из его расчалок могла лопнуть и повредить оболочку баллона. Причальная команда не могла не отметить неполадки с рулями — они были направлены в разные стороны — прямое следствие обрыва штур-троса.

Капитан дирижабля Леман, выпрыгнув из объятых пламенем аппарата и прихрамывая в сторону от него, по словам очевидцев, повторял: «Странная вещь! Непонятная вещь!»

Историческая справка № 2

Танненберг

И когда мы спрашиваем себя, как была возможна эта исключительная в военной истории и невероятная на первый взгляд гибель целой русской армии Самсонова в самом начале первой мировой войны от примерно равных сил германцев под командованием Гинденбурга, в то время, как другая огромная русская армия находилась на расстоянии двух переходов...

Как могла Ставка считать, что противник, воспитанный на активнейшей в мире военной доктрине, отдаст без боя Пруссию? И уйдет за Вислу от одной угрозы со стороны Млавы?!..

Как мог Рененкамф заниматься Кенигсбергом, если это не входило в планы ставки?

Как мог Самсонов продолжать наступление во что бы то ни стало силами 13-го и 15-го корпусов и 2-ой пехотной дивизии, когда 6-ой корпус генерала Благовещенского полностью утратил движение на Алленштайн, 1-й корпус генерала Артамонова под давлением противника отошел за реку Сольдау, что привело к полному обнажению обоих флангов главных сил армии? Как мог Самсонов выехать 15 августа утром со своим штабом из Найденбурга в Надрау и одновременно снять искровой телеграфный аппарат, вследствие чего была прервана связь не только со штабом фронта, но и со всеми корпусами?

Личное же присутствие командующего в боевой линии без связи оказалось вполне бессмысленным.

К вечеру 16 августа отступление корпусов приняло беспорядочный характер, и остатки войск окончательно перемешались в Грюнфлисском лесу, в адской воронке которого поглотились без остатка.

И когда мы задаемся этими вопросами — нам отвечают, что великий Галлилей, читая «Комедию», набросал чертеж дантовского космоса и, выверив его циркулем, убедился, что гениальный план поэта полон грубейших математических ошибок...

Комиссия по загранкомандировкам Сектора Народного Комиссариата просвещения:

Адрес. Московский Государственный Университет. Кафедра физики, математики. «Ввиду того, что срок командировки аспиранта Штукатурова давно истек, а между тем ни от Университета, ни от самого Штукатурова никаких сведений у комиссии не имеется, просим в срочном порядке, не позже чем в трехдневный после получения сего срок, прислать имеющийся материал о нем в копиях: переписки, отчеты и т.д., а также его теперешний адрес, если таковой Университету известен».

Итак, любезный Людвиг! Ты будешь смеяться, но я в Москве... Представь себе, я сижу у себя над корректурой «Сообщений из лейденской лаборатории», вдруг входит мой двоюродный дядя Фиктив-Огарев и объявляет, что он поссорился с большевиками, что к нему придрались из-за какой-то мелочи, из-за какой-то срунды, записали в контрреволюционную организацию, вывели из Центрального Комитета, теперь хотят расстрелять и вот его отпустили только за мной.

Я ему ответил, что как двоюродного дядю его чту и благоговею перед его именем (при заочном о нем упоминании) и что всегда буду помнить,

что это он привез меня в Европу, как котенка в шапке, но что обратно в СССР я — ни-ни!

Я очень хорошо помню, что писал мне сюда мой родной дядя Володя, брат моего незабвенного отца: «Милый Женя, — писал он, — то, что делают большевики, есть, конечно, только эксперимент, пусть даже грандиозный по отваге, и эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела) с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия».

— А? Каково? Ну что скажете?! — нарочно отчеркнув это место, спросил я моего чудовищного посетителя.

— Да это только так говорится между своими, в ученой либеральной конституционно-демократической среде вот уже сто лет — террор и насилие. Что, ты не знаешь, как ведутся эти разговоры по четвергам за чаем с баранками?! — напомнил дядя.

— Да ведь вы сейчас сами рассказывали, что хотят расстрелять и перевели в кандидаты ЦК, — сказал я.

— Да плевать я хотел на эти мелочи! — отвечал Фиктив-Огарев. — Я профессиональный революционер, юношей вступил в РСДРП, год спустя был арестован и сослан, после побега в 1904 году участвовал в работе Лондонского и Стокгольмского съездов партии, Женевской конференции. Работая на заводах Европы рабочим, пришел к выводу о социальном инженеризме! Вот почему ты здесь оказался. В социальной области должна наступить эпоха тех же точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей...

Я вернусь в Москву, пойду к Сталину и меня полностью восстановят как старого большевика на всех постах и вернут институт социальной гигиены и секретарство в Академии. Единственный их козырь — это ты! Ты действительно беспардонный и кричащий продукт семейственности и протекционализма. И совершенно правильно об этом постоянно пишут в нашей «Каторге и ссылке», в нашем нержавеющей органе общества старых большевиков. Во всяком случае вопрос решен, собирайся, билеты у меня на руках, вечером поезд.

Мучитель мой ушел в кофейню, я же бросился на диван и разрыдался. Великий боже! Любезный Людвиг! Это была катастрофа! Вся моя жизнь промелькнула передо мной в один миг!

Если ты помнишь, отец мой ровно за два месяца до начала мировой войны собрал-таки экспедицию на Алтай и выбрался из Москвы. Очень его занимали староверы. Все эти поповцы, беспоповцы, стригуны, прыгуны, нетовцы — от слова «нету», то есть те, которые вообще ничего не признавали.

Хлысты, пашковцы, штундисты, молокане и, конечно, темноверцы и калашники. Калашники, теплые ребята, молились через отверстие в калаче. Ни больше, ни меньше. Такая вот у них была темная вера.

Вот посмотреть, как это делается, отец очень хотел. Занятие ничем не хуже остальных (систематичность научных наблюдений всегда плодотворна). Собственно, религиозные моменты, как я сейчас понимаю, играли в жизни отца определяющую роль. У нас на Старой Конюшенной, в этой части Москвы церковей было множество. Одни из них раскрашены в красный цвет, другие — в желтый, третьи — в белый и коричневый, и каждого тянет именно к своей — желтой или зеленой. При этом говаривалось: здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку, пусть и меня будут здесь отпевать. Мне всегда казалось, что эта особенность резко упрощала общее положение вещей, и я, кроткий мальчик, каждый раз указывал на преимущества нас окружающей местности, когда разговор с отцом заходил об алтайских калашниках или тибетских макхамах.

Где-то глубокой осенью, уже после разгрома армии Самсонова, получили мы письмо от отца с фрагментом его маршрута в сторону, кажется, Сиккима, над коим сияют все 17 вершин Гималаев.

У дяди Володи, куда я перебрался по-соседству, по словам отца, всегда было не очень здорово с головой (большая и малая, золотая и серебряная медали академии по химии).

И действительно, проживал он жизнь достаточно своеобразную.

Подобно 15-летнему капитану из драмы Жюль Верна, дядя подал в свое время прошение в Михайловское артиллерийское училище. Сейчас трудно сказать, что, собственно, он имел в виду, но очень скоро дядя оказался автором статей и не без дарований: «Употребление полевых орудий без лошадей на верках Севастополя» и «Стрельба картечными гранатами и бомбами в Севастополе» и при них стоявшее наособицу, как бы в контрах, эссе «Подвижные мортирные батареи и горные единороги на вылазках и контрапрошах».

Вернувшись в Петербург и выйдя в отставку в чине поручика лейб-гвардии конно-артиллерийского полка, он, по зрелом размышлении, вступил в тайную революционную организацию «Великорусс», которая выпустила три прокламации «К солдатам», «К крестьянам» и «К проезжающим», так вместе и печатавшиеся в хорошо разошедшемся сборнике «Государственные преступления в России».

Герцен в Лондоне опубликовал ответ «Великорусу», где, в частности, отмечал, что «вольное печатное слово, сказанное в Петербурге, в главном центре тайных и явных полиций, открытый вызов самодержавию в самом пекле его — это лучший признак, что рабство начинает нас тяготить, что самодержавие — бессильно... что для энергичной смелости у нас нет невозможного, это первый шаг к нашей воле!»

Дядю, как короткого знакомого, вставил в своей роман «Пролог» и Чернышевский. А скоро представился случай и для личного знакомства с Герценом в Лондоне.

Только разговорились всерьез и надолго о способах заводить типографии, как подошел анархист Бакунин, счастливо бежавший из Сибири через Америку. Речь сама собой зашла об участии дяди в новом покушении Гаррибальди высадиться где-нибудь в южной Италии и двинуться, наконец, на Рим. Оказывается, Гаррибальди нужны были офицеры, особенно артиллеристы. Для этого сначала следовало отправиться в Милан, чтобы передать записку Мадзини Аурелио Саффи — бывшему диктатору Римской республики в 1848 году и получить от него подробное указание пути, чтобы присоединиться к высадившемуся отряду.

Дело расстроилось из-за малого (исключая собственно поход на Рим). В те годы в России среди членов некоторых дворянских собраний стало распространяться движение за подачу царю адреса о созыве «выборных всей земли русской» или «Земского собора». Герцен решил посоветоваться относительно текста адреса с И.С. Тургеневым и отправил к нему в качестве посла дядю в Гейдельберг. И дядя встретился, так сказать, в своей походной палатке со вторым великим русским писателем (это не считая Чернышевского!). Тургенев стал читать свой роман «Дым», и дядя никак не хотел уходить из такого места, но принесли записку от Фридриха Энгельса, который к тому времени вот уже четырнадцать дней изучал русский язык. Энгельс, оказалось, проходил военную службу в качестве вольноопределяющегося артиллериста в прусской армии. Стоит ли говорить, в какое умиление пришел автор нескольких десятков статей о Крымской войне, услышав об «Употреблении полевых орудий без лошадей на верках Севастополя» и «Стрельбе картечными гранатами в Севастополе». Бедняга никак не ожидал, что впереди за полночь еще предстоит встретиться с «Подвижными мортирами и горными единорогами на вылазках и в контрапрошах». Вообще-то в настоящий момент Энгельс готовился к тому, чтобы при ближайшем государственном перевороте, один из них (с Марксом) был знаком с государственными учреждениями различных стран и оттого интересовался теорией укреплений в более менее историческом разрезе, так же и знанием полевых укреплений и иными вопросами, относящимися к инженерному делу и организации армий, о снабжении, о лазаретах, о снаряжении.

Расставались они трудно. Все хотели видеть друг друга. Опять и опять. Далее Париж. Лаборатория первоклассного физика Раньо, усвоение ряда принципов калориметрии и термохимии. И наконец окончательное решение посвятить себя науке: Сжигать! Сжигать органические вещества!

Появляясь спустя десятилетия на моих детских праздниках, дядя набивал присутствующим полные карманы пистонами, раскладывал повсюду хлопушки, а под потолком вешал чудную сверкающую лейден-

скую банку собственного изготовления, которая трещала и разбрасывала зеленые искры весь вечер. Пахло, как после грозы, и порохом. Все это у дяди называлось «Химия и жизнь».

Перебравшись по отъезду отца в отведенную мне малую гостиную, я вместо цветного фонаря под потолком увидел мою давнишнюю знакомую и прослезился. Над диванчиком же висела прекрасная копия картины голландца А. Ван Лоо с изображением лейденского опыта в доме знатной особы. Ты, конечно, помнишь, что первый опыт поставил Мюссенбрук, а первым, кто испытал электрический удар, был незабвенный Кунеус. Здесь же роль кондуктора выполняла девушка, стоявшая на подставке. Еще мгновение, и несчастный негритенок прижмет руку к стержню, погруженному в сосуд, между стержнем и рукой проскочит длинная зеленая искра, и лейденская банка разрядится через младого эфиопа, который, возможно, посмотрит на придворную карьеру как бы новыми глазами.

Банка заменила мне рано умершую мать, няньку и неверных друзей детства. Помимо самого электрического треска мне очень нравилось, что открытие банки совпало с расцветом всевозможных тайных братств религиозно-мистического толка, повальными увлечениями «жизненным эликсиром», поисками философского камня и прочих универсальных средств. В великосветские салоны проникали электростатические машины, нередко служившие в руках шарлатанов...

Дядя терпеть не мог эти грезы наяву. Когда же я юмористически упомянул в воспоминаниях своего переезда о великом переселении народов, о счастливых следах его в Минусинске, Урале и Алтае, так явно ведущие к общеевропейскому романеску и ранней готике (кстати, вспомнились мне и курумчинские кузнецы, и там уж без труда я добрался до сказочных Нибелунгов, забравшись далеко на запад, вероятно, поближе к Лейдену), дядя, стоя как громом пораженный, заявил, что я шагаю по стопам моего отца (по нашим предположениям он как раз вышел на Великий шелковый путь), и, чтобы не дать мне окончательно свихнуться, усадил на семь лет разбирать свою физико-химико-математическую библиотеку.

Подобно монголу он вырвал у меня, кроткого мальчика, сердце и съел на глазах. И если китайцы в таких случаях, по слухам, лишь скрипят зубами, то русские (и это сухая правда) громко-громко кричат и плачут!

Так мы и зажили. Я читал диссертацию «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» кандидата Александра Герцена, дядя в большой гостиной, превращенной в лабораторию, определял так называемой бомбой Бергля теплоту сгорания органических соединений. Тысячи перегонки, сотни анализов. Испытываются инструменты, создаются навыки. Работа тянется, тянется как пестрая лента, через многие годы.

Помню я занимался моим излюбленным экасаэром — чудной симфонией, в которой геометрия, алгебра, теория функций и теория групп сливались для меня в чарующую полифоническую мелодию. До сих пор то время, когда я проводил эти преобразования эклитических функций 5-го, 7-го и 11-го порядка, почитаю счастливейшим в моем математическом цветении.

Неожиданно появился Фиктив-Огарев с горящими, как уголья, глазами и сообщил о торжестве февральских революционных выюг. Дядя ничуть не удивился и только сказал, что резкие реформы в химии совпадают весьма замечательно с большими социальными переворотами. Вышедший в 1789 году «Элементарный курс» Лавуазье все, не сговариваясь, оценили как химическую революцию. Под грохот пушек, громивших Бастилию, появились «Роды растений, расположенные согласно естественному порядку».

О! Внутренне я, конечно, прибавил сюда и мою работу об экосаэре, но лишь внутренне. Вновь парус Фиктив-Огарева показался в нашей гавани осенью. Большевики взяли власть, и он принес дяде охранную грамоту, чтобы его не расстреляли первым за плохой язык. Меня же по кричащему скудоумию и малолетству решили записать в Московский университет и отправить на стажировку за границу. Но это удалось осуществить лишь спустя несколько лет. Летом 1923 года я увидел Гилберта. В Германии была страшная инфляция. Считали миллиардами и миллионнами. Гамбургский порт практически бездействовал и среди этого затишья раздавался голос Гилберта, говорившего об абстрактных вещах, абстрактнейших разделах математики, о ее логических основаниях.

В Геттингене в это время кипели страсти, вызванные работами и перспективами развития квантовых идей. Каким-то образом я был захвачен этим водоворотом лихорадочной активности. Боже мой, как смешно мы встречали с Таммом Дирака весной 1923 года. Дирак должен был май и июнь провести в Голландии по приглашению кафедры теоретической физики священного для меня Лейденского университета. Эренферст поручил нам, своим ассистентам, встретить его на железнодорожном вокзале. Никто не знал Дирака в лицо, поэтому все вооружились оттисками его последней работы и заняли места у выхода каждого вагона. Дирак клюнул-таки на свой оттиск.

И, наконец, Париж. О, еще с детства, со слов дяди, он представлялся как нельзя живо. По заключении перемирия в Севастополе союзники пригласили представителей нашего командования посетить их лагерь. Нельзя было не удивляться необыкновенному количеству работ, произведенных французами. Кроме всех траншей и батарей перед Севастополем, кроме длинной цепи укреплений по вершине Сапун-горы до Балаклавы, кроме гигантских укреплений от Камышевой бухты до

Стрелецкой, кроме батарей на Федюкинских горах и соседних, они положили отличное шоссе и построили железную дорогу.

Вокруг палаток были разведены цветники, местами мы заметили парники и огороды. За несимением деревьев были воткнуты по линейкам ели. Все это вместе придавало лагерю вид веселый и оживленный. Я нашел Париж таким, каким представлял его, и был благодарен ему за это. Не знаю, чему приписать, но я встретил очаровательный прием. Думаю потому, что в последних моих публикациях мне пришлось довольно близко подойти и довольно ясно выразить проблему столкновения двух миров: старого и модерн. Счастливый переворот 1899 года, приведший к победе модерна, сделал Париж естественным центром европейских математических школ: венгерской, польской, сербской, румынской, скандинавской и, наконец, русской. Ко мне отнеслись как к равному, как к члену корпорации и от меня не делали никаких секретов. Париж в интеллектуальном отношении был так бесконечно огромен, давал так много, раскрывал перед свободным умом такие дали, что сколько бы глядел, все кажется видел слишком мало из того необъятного, что еще предстоит оглядеть.

И, наконец, встреча с тобой, любезный Людвиг! Встреча с блестящим немецком математиком Людвигом Фейербахом! Проклятая математика требует постоянного столкновения ума с умом, и это прекрасно. Наша роскошная первая половина тридцатых! Что из того, что заботы низкой жизни привели меня снова в Лейден. Это был мой город, светлый и спокойный! Здесь в трехэтажном здании университета, на кафедре теоретической физики под потолком висела, весело треща и разбрасывая длинные зеленые искры, дядина лейденская банка, подаренная мною Голландии Правительством первого в мире пролетарского государства (официальная причина моей затянувшейся командировки).

Боже мой! Бандероли из Кембриджа. Работа в «Сообщениях из лейденской лаборатории». И вдруг в миг единый все рухнуло в бездну. Я лежал на диване под треск искр моей лейденской шутихи и вдруг странная мысль осенила меня. Только что в газетах я прочитал о гибели дирижабля «Гинденбург» от удара молнии. Неожиданно я вспомнил, что Гинденбург был победителем армии Самсонова в самом начале войны, когда отец начал свою экспедицию к 17 вершинам Гималаев.

Генерал Самсонов, пытаясь лично возглавить сражение, снял свой искровой телеграф и потерял связь с войсками и штабом фронта.

Так вот, любезный Людвиг, искра божия перелетела в мой голову от молнии, поразившей Цеппелина под именем генерала-победителя Гинденбурга в снятый искровой телеграф поверженного генерала Самсонова. Я тут же встал и сделал первый набросок «Общей теории катастроф!». Вошел дядя, и мы отправились на вокзал. Я был как в лихорадке.

Забравшись на свою полку, я тут же бросился писать, как будто под чью-то дьявольскую диктовку.

Дядя между тем кричал со своего места о социализме и этой своей дикой тарабарщиной вдохновлял меня безумно. Он скандировал примерно следующее: «О, мы еще нальем соленые моря лимонадом! Новые творения произойдут во всех царствах природы! Появятся послушные анти-львы, на которых верхом можно будет ездить из Брюсселя, чтобы завтракать в Париже, а ужинать в Марселе, тяжелые антикиты будут против ветра возить грузы, проворные анти-акулы будут загонять рыбу в сети.

Люди будут жить общими страстями и страстными влечениями. Даже такие страсти, как «кабалетта» (страсть к интриге), «папилона» (страсть к переменам), «композита» (слепое увлечение), разумно направленные, принесут великую пользу и великие радости.

Средний возраст человека достигнет 144 лет. Из них 120 составит деятельное упражнение в любви!..»

И вот ... мая 1937 года мы вышли с Фиктив-Огаревым из Белорусского вокзала и оказались на большой площади, заполненной советским народом. Я вернулся сюда спустя четырнадцать лет.

Фиктив-Огарев объяснил мне в порядке, как он выразился, ликвидации безграмотности, что средний советский гражданин живет пока хуже, чем средний гражданин западных стран, но он чувствует себя по непонятным причинам более спокойным, более довольным своей судьбой и, как следствие, более счастливым. Гарантии и преимущества, которые имеет советский гражданин по сравнению с гражданином западных государств, представляются ему настолько громадными, что перед ними бледнеют неудобства быта. Социалистическое плановое хозяйство гарантирует каждому гражданину возможность получения в любое время осмысленной работы и беззаботную старость.

В местных газетах пишут, что все согласны с генеральной линией партии.

Мы стояли в ожидании машины, и я заметил, что знание языка значительно облегчает то положение, в котором мы оказались. Я, оказывается, не разучился понимать отдельные реплики и поведенческие реакции, господствовавшие в привокзальной толпе.

Под большими часами дежурные члены Моссовета демонстрировали на приподнятом дощатом помосте раздетого по пояс «стахановца» — рабочего, который не то за пять часов выполнил норму восьми дней, не то за восемь часов норму пяти дней, сейчас уже не помню. Я спросил Фиктив-Огарева, не означает ли это, что прежде этот человек затрачивал восемь дней на выполнение пятичасовой работы. Двоюродный дядя отвечал очень холодно и, пошептавшись со знакомым шофером из Наркомтяжпрома, усадил меня в машину, сел сам, и через десять минут мы прикатили в отель «Метрополь».

Здесь, в тихом, как могила, полулюксе, я и слег на диван, пока дядя утрясал наши дела.

— И не шатайся, не шатайся по коридору, как ты любишь и умеешь, не заговаривай с постояльцами, — предупреждал дядя. — В стране идут суды над троцкистами. У всех приподнятое праздничное настроение, а за стенкой у тебя очень просто живет армейский военный юрист Ульрих, главный судья на процессе Промышленной партии и банды Зиновьева-Каменева... Говори прислуге, что являешься секретным агентом Коминтерна, чай пей из крана, а не из самовара в коридоре.

Он уходил, обыкновенно бормоча: «Мерзавцы, никак не пускают старого большевика в Кремль через Боровицкие ворота!» А я оставался недвижим в ожидании.

Последний день в «Метрополе» прошел более оживленно.

— Все висит на волоске, а тебе пишу т кореша из Венеции!

Любезный Людвиг! В руках дяди я увидел жемчужину твоего письма. С криком разорвал ненавистный конверт и скоро как мог ознакомился со священным содержанием:

Драгоценный Евгений!

История повторяется! Еще в 1832 году, тоже в Париже, двадцатилетний буйный Галуа (утром он пал на дуэли) сообщил в бессмертном письме своему другу Шевалье, что обнаружил в конечных группах подлинную метафизику алгебраических уравнений. Его краткие намеки остались, однако, тайной за семью печатями...

Твой Шевалье обнимает тебя! Но нам не придется ждать сорок лет, пока Камил Джордан в трактате «О подстановках» сорвет печать таинственности и систематически обоснует теорию конечных преобразований групп. Ты молод, в блестящей форме и полон сил!!

Твой набросок теории катастроф есть *chef d'oeuvre* изобретательности. При чтении поражает одинаково и замечательное искусство вычисления и ясность и изящество методов.

Будет большой ошибкой думать, что строгость в доказательстве — это враг простоты. Многочисленные примеры убеждают нас в противоположном: строгие методы являются и наиболее доступными.

Твои дефиниции ошеломили меня. Подобно гениальному Эйлеру, ты считаешь, что недостаточно сделал бы для науки, если бы не прибавил к великому открытию чистосердечного изложения идей, приведших тебя к нему. Как благородно!

Пока математические истерички утверждают, что мы не можем путем прямого измерения определить прочность религиозного чувства во Франции конца 18 века, силу Священной Римской империи в эпоху средневековья или рост классового сознания пролетариата в капиталистических странах, обращение к историческим памятникам свидетельствует, что измерение различных процессов общественной жизни суще-

ствовало всегда. Измерялась цена жизни и достоинство свободного человека, объем прав и обязанностей свободных граждан, войны и стихийные бедствия. Можно ли требовать, чтобы мы, чистые математики, довольствовались только ожиданием заказов со стороны, вместо того, чтобы работать над наукой ради собственного удовольствия. Математика повсюду утверждает свободу своих поступков. Число — это мир, в котором наш ум воздвигает свои архитектурные сооружения по своим декретам и фантазиям.

Известно, что математика движется вперед главным образом теми, кто наделен интуицией больше, чем склонностью к проведению строгих доказательств, но первоначальный аппарат теории катастроф выполнен изумительно. У меня создалось впечателние упоительной прогулки ночью при полной луне по роскошным руинам Колизея.

Казалось бы, что может быть общего между расчетом движения небесных светил под действием притяжения к солнцу и между собой, и качкой корабля на волнении или между определением, так называемых, вековых неравенств в движении небесных тел и крутильными колебаниями вала мясорубки. Между тем, если написать только формулы и уравнения без слов, то нельзя отличить, какой из этих вопросов решается: уравнения одни и те же. Ты довел до совершенства врожденную интуитивную способность до мельчайших деталей прояснять обнаруживаемые тобой взаимосвязи.

Дагоценный Евгений! Когда проложили по дну Атлантического океана первый телеграфный кабель, и он сперва не действовал, хуже того, действовал, но так, что один сигнал, например, точка или тире азбуки Морзе, передавался в виде записи бесчисленного множества знаков, продолжавшийся 8 минут, так, что невозможно было ничего разобрать, — казалось, несколько миллионов фунтов стерлингов погребены на дне безвозвратно! И вот никто иной как Томпсон в уравнениях Фурье, данных в 1808 году, и Грина, данных в 1828, сумел прочесть, что надо сделать, чтобы кабель действовал... Но, чтобы это прочесть, надо было быть, черт побери, Вильямом Томпсоном, говорю я! Занятие математикой, как мифы, язык и музыка — один из первоначальных видов творческой деятельности людей. Меня страшно удручает, что немецкое общество в моей разлюбимой Германии, по-видимому, не в состоянии создать единую культуру, включающую точное знание...

Но есть новая Россия! Живое отрицание старой. И если в средние века на огромных пространствах Китая, Индии, арабских стран, Европы господствовали элементарные разделы математики, необходимые для решений как практических, так и отвлеченных задач в ходе ее имманентного развития, то в новейшие времена к закономерной математической гармонии оксфордской школы калькуляций, парижской широт форм или конфигурации качеств добавилась русская — твоя — школа катастроф!!

Дж. Непер, применивший открытые им логарифмы к расшифровке Апокалипсиса. Вслед ему Дж. Мид, используя метод синхронности, унифицировал интерпретацию пророчеств книги Даниила и Апокалипсиса.

Чем тщательнее анализируешь теологические, алхимические, хронологические и мифологические труды Ньютона, тем более очевидным кажется, что в моменты осознания своего величия он видел себя последним из интерпретаторов Божьей воли в ее действии, живущим в канун исполнения времен.

Ньютон писал: «Мид заложил фундамент, на котором я строю и строил и, надеюсь, будут продолжать другие, пока работа не будет закончена».

Как выяснилось, он писал о тебе, драгоценный Евгений...

И в заключение несколько слов о Венеции. Представь, я здесь в свадебном путешествии. Увы, увы. Или, как говорят у русских, ура! ура!

Мы увидели лагуны вечером. Станция. Носильщик подхватывает наш багаж и пускается вслед за всеми. Мы на канале Гранде. Я называю старый отель «Кавалетто», нас усаживают в гондолу этой гостиницы, и мы трогаемся. Я сижу, как в итальянской опере. Ночь. Воздух, насыщенный теплом, влажными испарениями каналов. Мы проходим под мостом, въезжаем в сеть маленьких каналов. Чувство оперы усиливается. Наш гондольер перекликается с встречными на перекрестках. В темноте иногда видны ярко освещенные трактории. Там засиделось несколько синьоров, может быть артистов. Звуки мандолины и чей-то тенор ди грация врываются страстным, влюбленным порывом в тишину волшебной венецианской ночи, и долго еще мы, удаляясь, слышим любовный восторг певца и вторящие ему звуки мандолины.

Мы тихо проплываем по Каналь Гранде, мимо Марии дель Салюта. Моя Марта как Догоресса. Она счастлива, довольна.

Представь, в Венеции карнавал длится полгода! В Венеции маска стала почти государственным учреждением. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пьшут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, во дворец.

Вообрази целый город, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, никогда больше не увидит.

И еще. Венеция превратила четыре женских монастыря в превосходно поставленные музыкальные школы, и слово «консерватория», обозначающая приют, сделалось с тех пор нарицательным именем. На всех, кто слышал тогда пение у «Инкурабили» или слышал у «Мендиканти» исполнение оркестра, состоявшего исключительно из девочек, одетых в белые платья, с гранатовыми цветами в волосах, эти концерты произвели неизгладимое впечатление.

— Я не имел прежде никакого представления о подобных голосах, — пишет Гете.

— Я не имел раньше понятия о таком наслаждении, о таких нежных волнениях, какие заставляет испытывать эта музыка, — пишет Руссо.

— Мало о чем я так жалел, расставаясь с Венецией, как эту консерваторию Мендиканти, — сказал еще кто-то.

Тихо подплыла наша гондола к отелю «Кавалетто». Внесли наши вещи в отведенные нам комнаты. Моя не была велика.

Итак, драгоценный Евгений, я жду твоих писем из России с развитием «Общей теории катастроф». Пламя, зажженное тобой, не елейный светильник педантичной традиции, оно согреет горшки всех математических кухонь новейшего времени.

— Что же пишет твой Людвиг? — нетерпеливо заглядывая из-за спины, спросил дядя.

— Я не имел прежде никакого представления о таких голосах! — машинально отвечал я одной из последних реплик.

— Так сходи в Большой театр и послушай! — представь, именно так сумрачно посоветовал дядя и вдруг объявил наше положение.

Сталин его не принял, из кандидатов в члены Центрального Комитета его перевели в рядовую ячейку в Замоскворечье, то есть за Москву-реку, скоро его будут чистить, он договорился по старой памяти с Наркомтяжпромом, чтобы чиститься у них, но его там продадут, а в ту же ночь расстреляют, а пока он возглавил гигиеническую комиссию по труду, которая работает и проверяет Большой театр. Теперь, — сказал дядя, — я тоже буду в СССР ходить на работу, а сегодня получу аванс.

Любезный Людвиг! По дороге в театр я мысленно перечитывал каждую строчку твоего письма. Великий Боже! Ты понял все! Ты разъяснил мне мою собственную теорию. Не откладывая, я принялся мысленно за следующее письмо.

Мы вошли в театр сбоку через неприметную дверь.

— Лифтов нет! — крикнул Фиктив-Огарев и помчался вверх. В два счета мы оказались в бухгалтерии, где мне выписали аванс в 25 рублей как члену гигиенической комиссии по труду, которая, как потом выяснилось, наводила священный ужас на прославленный коллектив театра оперы и балета.

Итак, в руках у меня были 25 рублей — первые деньги, боюсь, и последний, и серый разграфленный лист бумаги, всунутый мне Фиктив-Огаревым.

Я прочитал и обомлел: «Химический анализ пыли. Колосники. Верхний проход. Серое, порошкообразное вещество с большим содержанием рыхлой, волокнистой массы.

Н 2. Анализ воздуха на пыль. Место и условия при взятии пробы: Сцена. Опера «Борис Годунов». Много народа. Шествие. Вечер. (Результат в мг на 1м — 13,3)».

— Перепишешь все замеры в свой бланк, поставишь сегодняшнее число, распишешься и отнесешь в бухгалтерию, — инструктировал Фиктив-Огарев, подводя меня к макету партера с надписью: «Кого революция выбросила из партера Большого театра».

— Вот рекомендую, — говорит дядя. — Композитор, концертмейстер, помощник дирижера, помощник хормейстера, стихийный суфлер, альт, тенор, баритон товарищ Выжутович.

Нвысокого роста, огненно черный маэстро Выжутович впился в меня глазами.

— Пел отрока на премьере «Сказания о невидимом граде Китеже!» Самого Римского-Корсакова, — продолжал дядя. — Эту руку автор пожал с благодарностью, — вкладывая мою руку в руку Выжутовича, закончил он вкрадчиво.

«Что-то я слишком лихо начинаю... — подумалось мне. — Четверть часа в Большом театре, уже заработал 25 рублей и обрел посредничество не более не менее как с покойным Римским-Корсаковым».

— Не будем вспоминать об этом кошмарном вводе, — вздрогнул Выжутович и, не расставаясь с моей рукой, потянул наверх и наверх. Мы оказались в коротком коридорчике с низким потолком.

— Вы ведь здесь никогда не были?! — и он втянул меня в боковую дверь. — Здесь производится варка грунта, натирание красок, приготовление тонов, а в этом чане стирают старые декорации и холсты.

Он дал мне подержать кусок мокрой и холодной тряпки, а потом выдернул из закутка так же быстро, как и втокнул.

— Узнаете? — спросил Выжутович.

— Нет, — отвечал я.

— Ну как же?

Перед нами был холст, изображавший небо с облаками.

— Отчего же не пропишут края облаков? — спросил я.

— Публика-дура... из зала все равно не видно! — цинически отвечал Выжутович.

— А где же зал?

Холст пошел вниз, я глянул вослед и обмер! С ужасом догадался я, что это за муравейник копошится внизу. Голова закружилась, пошла коле-сом.

— Прощайте, товарищ Выжутович, я падаю... - тихо простился я с маэстро.

— Это с непривычки. Выпейте холодного кипятку, — успокаивал как мог Выжутович. — Вот здесь у нас как раз кипятыльник, вот его куб.

Я сделал глоток, ожил и скоро пожалел об этом.

— Вот и forte — мой спаситель пришел в крайнюю степень возбуждения. — Вы, наверное, знаете, что монолог Бориса «Достиг я высшей власти» является трагическим итогом жизни Бориса?

— Он подводит некую заключительную черту, — успел ответить я.

— Молчать! Слышите.. «Мосей измученной душе...» Пстров здесь делает, как Шаляпин.. Постепенное *gallentatalo* и слог «ду» (душе) пропеваётся *tenito*. Вся фраза от этого звучит болезненно.

— Да и я не совсем здоров, — отвечал я. — Что же вы так крепко прижали меня к кипяильнику?!

— Чу! «Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады...» Это младенец Дмитрий, убиенный царевич. Галлюцинации Бориса. Шаляпин видел буквально тысячи ядовитых муравьев, расползающихся на тридцать вторых, отравляя всю мозговую оболочку!

Поскольку Выжутович отнюдь не отпускал рук с моего хрупкого горла, естественно, и я увидел свою кучу муравьев.

— Чу! — воскликнул он, схватив меня за горло еще крепче. — «Ни жизнь, ни власть, ни слезы обольщенья, ни клики толпы...» — «Клики» идут *crescendo* и резко снижая звучность до *piano* на словах «не веселят!»...

— Да, веселого мало, — согласился я, осторожно высвобождая натруженное горло.

Он с иступлением впился в мою руку: *storsando!* Аккорд. Молчать! Это оно... Зловещее бередящее сердце тримоло на ми-бемоль. Господи Боже мой... Как у Шаляпина, на восемь четвертей. Какой кошмар! Какая бездна пустоты, в которой Борис искал луч надежды!

Силы мои были на исходе, я уже хрипел. Наконец, Выжутович опустил руки.

— Понятно, что эту музыку надо слушать не один раз и не десять, — заключил маэстро. — А вы знаете, что Шаляпин просил Римского-Корсакова написать для него «Царя Эдипа»?!

— Нет, я прежде ничего об этом не...

— Просил не то слово... — вдруг Выжутович рухнул подо мной на колени. — Умолял! Эдип:

Я гневаюсь и выскажу открыто,
Что думаю. Узнай: я полагаю,
Что ты замешан в деле, ты — участник,
Хоть рук не приложил, а будь ты зряч,
Сказал бы, что ты и есть убийца.

— Товарищ Выжутович...

Тересий.

Вот как? А я тебе повелеваю

Твой приговор исполнить над собой

Страны безбожный осквернитель — ты!

Эдип.

Такое слово ты изверг бесстыдно
И думаешь возмездья избежать?

— Товарищ Выжутович, ей-богу неудобно...

Тересий.

Уже избег: я правдою силен.

Эдип.

За эту речь не ожидаешь кары?

Тересий.

Нет, — если в мире есть хоть доля правды.

Эдип.

Да, в мире не в тебе, — ты правде чужд.

В тебе угас и слух, и взор, и разум.

— Товарищ Выжутович, дело прошлое, что теперь убиваться попу-
сту...

Тересий.

Несчастный, чем меня ты попрскаешь,

Тем скоро всякий попрскнет тебя.

Эдип.

Питомец вечной ночи, наконец,

Кто видит день, — и мне, — не повредишь!

Тересий.

Да, рок твой — пасть не от моей руки:

И без меня все Аполлон исполнит.

— И представьте, Римский-Корсаков отказался! Сказал — не потяну...

— Да, Римский-Корсаков поумнее нас с вами, — согласился я. —
Безошибочный инстинкт гения.

— Ну, вот а теперь можно и одним глазком глянуть, — решил маэстро
и вытолкнул меня опять на боковую лестницу.

— Стойте, товарищ Выжутович, ни с места. Стреляю без предупреж-
дения! — направляя на нас огромный черный маузер, скомандовал ока-
завшийся там стрелок.

— Боже мой, каждый день истерика! Глазунов — запретил! Глазунов
— разрешил! Это товарищ Голсейзовский — руководить правительствен-
ной комиссии по гигиене труда. Он хочет краешком одного глаза на
наших вождей в бывшей ложе Великого Князя.

— Никак нельзя. Я охраняю этот карман сцены и стреляю без предуп-
реждения. Вы меня знаете!

— Так ведь и вы меня знаете, товарищ Соловейчик! Отвечайте, знае-
те ли вы эту истерзанную, несчастную, проклятую богом старую белку в
колесе с одним легким и искалеченными ногами?!

Стрелок вздохнул: «Да передвигаетесь вы много..., — согласился он,
— и быстро!» и посмотрел вбок.

— Ну вот... А это товарищ Голейзовский проводит замеры пыли на сцене, обследует труппу в театре, а теперь, естественно, хочет кинуть взгляд на вождя в правительственной ложе.

Стрелок засопел.

— Да вы посмотрите, какие документы он подготавливает для членов Политбюро по нашему театру... — маэстро выхватил у меня папку и всунул стрелку в руку разграфленный лист.

Врачебно-контрольная карточка гинекологического обследования артисток балета ГАБТ СССР

Дата обследования.

Фамилия, имя, отчество.

Сколько часов упражняется в день: дома ... в ГАБТе ... Упражняется ли дома во время регул, сколько часов в день, если нет, то какой режим соблюдает.

Первые годы развития: а) вскармливалась материнским молоком — да, нет; б) когда начала ходить на ... (месяцев) году.

Менструации — характер: а) когда появились регулы — на ... году, по сколько дней (недель) проходят, как велика потеря крови: мало, умеренно, сгустками.

Боли во время регул: до, во время, после.

Половая жизнь: жила ли половой жизнью — да, нет. Если жила, то с какого времени, с ... лет, живет ли в настоящее время, регулярная половая жизнь — да, нет. Случайные половые сношения.

Половые сношения нормальные, болезненные; а) употребляются ли противозачаточные меры: да, нет; какие: прерванное сношение, кондом, спринцевание, с шариками, с колпачками.

Секречия полового канала: а) были ли бели, с какого времени, да: молоч., гноевидные, с запахом, без запаха; цвет.

Пожелания в смысле рационализации производства.

Гинекологические исследования: а) наружные половые органы. Развита правильно, недоразвита; б) половая щель закрыта, зияет; в) влагалище нормальное, опущенное. Опущенное — передняя, задняя стенка?

Вторичные половые признаки: развитие грудных желез — слабое, среднее, сильное. Развитие волос на лобке: слабое, среднее, сильное. Тип волосатости на лобке. Размеры таза.

Отверстие Бартолин желез. Тазовое дно (тонус).

Матка: норм., увелич., подвижн., фиксированн.

Шейка: цилиндрич., конич.

Трубы: правая, левая. Яичники: правый, левый.

— Да, вам можно, — согласился стрелок и отодвинул плечо.

Выжutowич тут же сунул мою голову в образовавшийся проем.

— Видите?

— Ничего не вижу.

— Вон там внизу маленькая игрушечная красная ложа, а в ней фигурки крохотные, с булавочную головку. Это товарищ Сталин. Лучший друг советской оперы и балета. Товарищ Сталин — это Ленин сегодня.

— А кто такой Ленин?

— Вот видите, товарищ Соловейчик, а вы боялись!..

После спектакля мы вышли на Театральную площадь. В ожидании дяди прохаживались по скверу. Маэстро, вероятно, считал, что экскурсия не закончена.

— Вы ведь знаете, что в 1858 году театр сгорел?!

— Вряд ли, — отвечал я.

— Полностью. Стены остались и задняя стенка. И что удивительно, уже позже, ввиду затухающего пепелища бывший зритель театра титулярный советник Талызин показал, что он в седьмом часу утра вместе с унтер-офицером Василием Тимофеевым осмотрел резервуар с водой, а на сцене работали столяры. По окончании он направился в водолечебное (!) заведение принимать ванны, где до момента возгорания пользовался как и ранее от болезни.

Пробыв там час, вернулся, когда в коридоре кто-то дурным голосом кричал: «Пожар!»

Талызин потерялся до такой степени, что выбираясь из служебной квартиры чуть не забыл про свою мать, заболевшую ни болсе ни менее как водянкой... Представь, что даже очевидная водянка не остановила столба огня. Я тут же набросал уравнение-игретку.

Внезапно прямо перед нами, как из-под земли вырос обсыпанный красной кирпичной пылью мастеровой. «Каменщик, каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь?» — бубнил он.

— Тюрьму! — бодро подхватил товарищ Выжutowич и в восторге пожал ему руку. — Как всегда неподражаемо! — и умчался к киоску метрополитена.

Фиктив-Огарев объявил мне, что мы перешли на нелегальное положение, пока не рухнет сталинская диктатура и черта с два чекисты накроют нас ночью в «Метрополе». Мы неслись по улицам сломя голову и скоро оказались в районе Староконюшенной.

— Домой нельзя! — угадывая мои мысли предупредил меня дядя. — Дом твоего отца заняло общество врачей-марксистов, а в доме дяди Володи находится общество ленинизма в медицине...

Тем не менее мы прошли в знакомые ворота и остановились в палисаднике, в глубине двора у старого сарая, где зимой хранились телеги, а летом дровни. Дядя постучал три раза и дверь открылась. На пороге в багровом свете горна появились Шивозник и Михмай — два легендар-

ных дядиных лаборанта, которых он увел еще у Сеченова на Сицилии самой черной ночью.

— Останешься здесь! — скомандовал Фиктив-Огарев.

— А где же вы сложите голову, дядя? — спросил я.

Он рассмеялся нам в лицо: «Черта с два кровавые опричники накроют меня в этом сарае!» — и скрылся в густой белой каше майского палисада. Мы расцеловались с Шивозником и Михмаем — это о них дядя всегда говорил: моя химическая дружина, пока жива русская химия и т.д.

Но силы оставляли меня. Заботы дня иссушили до дна налитую с утра до краев чашу. Посередине сарая стоял возлюбленный горн, груды железа, реактивов и лабораторной посуды. Нашлись и ясли с сеном. Я влез туда в восторге, ибо, по преданию, если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место ее нахождения. Он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашел бы предмета своих поисков. Я заснул молниеносно, улыбка блаженства, как свидетельствовали позднее, блуждала по моему челу. Вдруг я почувствовал смертельный могильный холод, сквозивший откуда из-под низа.

Я проснулся с единственной мыслью о том, что мне нужна собственная машина для вычислений. Я обнял Шивозника и Михмая и объявил им, что раньше математики приносили жертвы богам, решив одну единственную задачу из тех, что я буду решать дюжинами.

Ну, этим ребятам не надо объяснять, что я прихожусь родным племянником свосму дяде.

Между тем я продолжал, руководствуясь внезапным вдохновением: «В 17 веке испанский поэт, философ, богослов и математик Рамон Лул мечтал о создании логической машины, которая позволяла бы заменять рассуждения чисто механическими операциями. Он озаглавил свою книгу «Великое и последнее искусство». Прекрасно! Я называю так свою счетную машину для расчетов по «Общей теории катастроф».

Глаза лаборантов по качественному анализу просияли. Да это они стояли у колыбели разрабатываемой Мечниковым теории иммунитета. Это они первыми увидели (в микроскоп) полчища фагоцитов, пожирающих хвосты у головастика, превращая их в лягушек.

— До нас были, — продолжал я, — алгебраические весы Лаланна, изобретенные в 1840 году. Их назначение находить действительные корни алгебраических уравнений. 2. Машина Эснера для решения всех уравнений первых семи степеней. 3. Весы для решения уравнений высшей степени сконструированы Бойсом, Грантом и Скечем в 1886, 1896 и 1902 годах.

Штамм, Депре, Гвардуччи в 1863, 1871 и 1890 годах построили для той же цели приборы с интегрирующими колесами, увлекаемыми платформами с равномерным вращением.

4. Аналогичный прибор Кемпе, изобретенный в 1873 году, позволил решать уравнения высших степеней, преобразуемые к тригонометрическому виду.

5. Хиль Шоу и Бексфорд в 1822 году описали прибор, позволяющий изучать функции более общего, чем предложенные Кемпом, вида.

Я взглянул, не заскучили ли мои конфидененты. О нет! Это им в пылком Париже одним из первых сделали прививку от бешенства в лаборатории Пастера, когда пути дяди и Мечникова вновь пересеклись.

Да и вообще, строго говоря, что им только не прививали, начиная от невинной тропической лихорадки, скручивавшей любого в три дня в веревку, и кончая малярией-интенданта. Оттого-то, потому-то лаборанты выглядели моложе своих лет и не переставали удивлять неистребимым жизнелюбием.

Я продолжил: — 6. Чен-Лу в 1823 г. и Адлер в 1891 показали как использовать шарнирный четырехзвснник для решения кубических уравнений.

7. Алгебраические машины Торреса де Кведо, который начал публиковать свои исследования в области механизации математических операций в 1895 г. Эти машины позволяют находить действительные и мнимые корни всех алгебраических уравнений и могут быть применены также к решению нелинейных уравнений.

8. Механизмы для решения систем линейных уравнений: Веар (1878), Вельвина (1878), Гвардуччи (1890).

9. Деманэ в 1898 г. применил сообщающиеся сосуды для решения трехчленных уравнений. Этот прибор был усовершенствован Скечем в 1902 году.

10. В 1901 г. Элич применил, использовал измерение скорости истечения жидкости для извлечения корней любой степени из любого числа.

11. В 1884 году Вельтман применил систему из надлежащих расположенных коромысел у весов для решения системы линейных уравнений: равенство каждого неизвестного осуществлялось давлением столбов жидкости в сообщающихся сосудах.

12. В 1888 году Люка предложил способ решения алгебраических уравнений при помощи определенной электрической системы. При этом действительные и мнимые корни любой степени могут быть определены приемом, основанным на теории потенциала.

И теперь, наконец, к главному — мысль об уходящих вглубь опыта корнях математики не стала до сих пор общим достоянием. Это сказывается на постоянных попытках «очистить» математику, то есть освободить от интуиций, попавших в нее, якобы случайно. Широта использования этих интуиций и особенно яркость и откровенная наглядность этих интуиций сколько удается урезывается.

В математику должны быть введены приборы различного происхождения: физические и химические, физические и психологические посо-

бия. Разве ничего не говорят уму и сердцу годовые слои древесных стволов, представляющие систему силовых и изопотенциальных линий. Разве ничего не говорят бесчисленные животные и растительные организмы, являющие особые формы равновесия и в своем строении запечатлевшие разнообразнейшие типы порядка, а в некоторых случаях сами похожие на проекции. Пусть откровенным и свободным жестом математика возьмет от техники, от физики, от естествознания, самой истории, мифа то, что она вправе брать и что частично она всегда брала оттуда, но украдкой.

В катастрофах, как никто, понимали греки, дети мои, — подводил я к главному лаборантов. — Особенно предрасположенные к утонченнейшему и тягчайшему страданию элины... Острый взгляд которых давно проник в странное дело уничтожения производимого так называемой всемирной историей.

Так взирай, зритель, на одну из самых совершенных машин, когда-либо построенных богами приспособленной для уничтожения смертных, заведенную так, что пружина ее медленно разворачивается на протяжении целой человеческой жизни!

— Но далее, как сегодня, дети мои, — продолжал я, — товарищ Выжutowич в прихотливой обстановке кулис Большого театра, на колосниках посреди криков толпы рабочих и лязга лебедок, спускающихся как снег на голову, башни Кремля, упомяну о царе Эдипе. Вот-вот, что-то похожее в квази-идее. Софокл построил действие своей драмы как строят машины. Конструкция автора соперничает с ловкостью того, кто расставил западню. Техническое совершенство трагедии четкостью своего действия отражает механическое развитие катастрофы, так хорошо подготовленное Неведомым... Кто хочет добавить?

— Нельзя не любоваться тем, — подхватил Шивозник, — как приходят в движение один за другим все рычаги действия, все его ... зацепки для движения необходимого результата...

— А можно я? — попросил Шивозник. — Все персонажи драмы, и Эдип первый, сами того не зная, способствуют непреложному развитию событий!

— Они сами части этой машины, — подхватил Шивозник, — шкивы, ремни действия, которое не могло бы развиваться без их помощи!

Я подыт жил:

— С самого начала трагедии в словах персонажей, помимо их воли, звучит оттенок трагической иронии, той трагической иронии, которая задает тон этому произведению и нас настораживает, Трагедия, в которой удары судьбы следуют один за другим с такой точностью и быстротой!

... О чем говорить? Нам нужна такая машина позарез... Нам нужен мощный математической бог из машины *deus ex machina*. Сам дьявол с его энергией. Юпитер — с молнией, уносящей на небеса!!!

— Мой инженер! — вступил Михмай. — Помните, Ваш папа написал с Великого Шелкового пути, что согласно Ведам к нашему плану приближаются новые энергии, которые создадут новые условия жизни...

— Как-то ты обще говоришь, впрочем, вослед папе, — отвечал я.

— Мой инженер, — продолжал Михмай, — время приближения этих энергий исчисляется тридцатями, сороковыми годами... на дворе 37!

— Да вот именно, что на дворе... И искать надо поближе, — твердо объяснил я. — Нужно устроиться у русских работать на каком-нибудь заводе, где есть ресурсы, новое оборудование. Как это сделал итальянский конструктор... на заводе Гольцмана по словам Фиктив-Огарева. Это был очень хороший завод. После смерти Гольцмана как старого большевика его похоронили у Кремлевской стены. Когда же его заочно впутали в какой-то троцкистский заговор, то Сталин приказал его выкопать, сжечь, а пепел развеять. Ну, завод такого профиля для нас слишком далеко и высоко, но ориентир верный.

— Мой инженер! А может пригодится тот короб с «Войной и миром»? — вдруг вспомнил Шивозник.

Мы переглянулись. Последние десять лет дом от взрывов ходил ходуном. Схоронив своего товарища по походной палатке на бастионах Севастополя, автора драматического произведения «Война и мир», дядя решил создать пусть небольшое, но что-то свое на ту же тему. С редактором журнала «Научная жизнь», добрым знакомым Менделеева, они изобрели способ передачи на расстояние волны взрыва. Предполагалось, что взрывная волна с помощью промежуточных станций усиления достигнет-сметет Константинополь, и перед изумленными народами объявится оружие такой разрушительной силы, что самые войны окажутся невозможными.

Дела шли, нам кажется, неплохо, потому что день ото дня за моей стеной в малой гостиной погромыживало все приличнее. Квартиры в округе снимали чины германского генерального штаба и русской военной контрразведки. Вся неразлучная троица обыкновенно находилась вместе: короб с гадостью (что-то типа треххлористого азота, естественно, с репутацией скандальней в несколько десятков тысяч раз), банка с синильной кислотой и источник электричества. Мы подняли вверх дном весь сарай, пока опять не натолкнулись на стальной ящик.

В минуту вскрыли мы замки Рейнметалла. К баснословному нашему удивлению там оказались игрушки от самых дешевых до заграничных с заводом. Запахло лаком и свежим деревом. Чего тут только не было! Кустарные кормилки, лошадиники, монахи, стойкие оловянные солдатики с храбрыми командирами. Огромных размеров лошадь с бабой и мужиком отличной работы. Прурубь под горой со щукой из папье-маше, ведро шишек в вызолоченных бумажках, детская железная дорога с мышкой вместо паровоза, праздничный иконостас с архиереем и духо-

венством... и под всем этим великолепием наша троица: короб с «Войной и миром», банка с синильной кислотой и батарея.

— М-э-э-э! — заорал кто-то за нашими спинами.

Признаюсь, любезный Людвиг, я подумал, что это НКВД — орган, который так вдохновенно материл мой двоюродный дядя — Народный Комиссарнат Внутренних дел, кровавая причина сталинской диктатуры.

Представь, голос, оказалось, принадлежал со скверной мордой, горластому, но маленькому козленку, не весть бог откуда забредшему на наш огонек. Вмиг украсили козла венком из ящика, а рога вызолотили. Горн был превращен в роскошный жертвенник.

Козел заорал как резанный.

— Чем же заслужил он такую суровую участь? — может быть спросит кто-то.

Аполлон ответит:

— Ничем не заслужил. Так решил Зевс в своей неисполнимой воле.

Пока багровое пламя прожаривало козлятину, мы пили спирт для промывки оптики, глаза действительно загорелись, и над пламенем поднимались все десять пальцев в подтверждение сумасшедших историй нового и новейшего времени. Молодежь, так сказать, резвилась в палестрах, наслаждаясь игрой флейт и вечерними игрушками.

Мой хор Океанид полагал, что действительно видел перед собой титана Прометея и считал себя столь же реальным, как и бога на сцене. Шивозник между тем, не говоря худого слова, зацепил из короба щепотку порошка и махнул в горн, чтобы козленок поторопился и горело поярче. Поярче и загорелось, но после оглушительного взрыва. Сарай улетел, как воробушек с ладошки. Гудящий столб огня встал на месте нашего нехитрого ужина. Духом одним мы оказались на улице. Михмай согнулся под возлюбленным горном и ящиком Рейнметалла. Шивозник обнимал короб с «Войной и миром», за что я ему все простил, мне же удалось выхватить из пожарища гирскоп с тремя степенями свободы системы лейтенанта австрийского флота Обри, управляющего вертикальными рулями торпеды Уайхеда и заставляющего ее сохранить приданный ей при выстреле курс. Я невольно вспомнил отрывок из твоего письма, любезный Людвиг: «Пламя, зажженное тобой, не елейный светильник педантичной традиции, оно согревает горшки всех математических кухонь...». Ты, как всегда, оказался прав, бесценный друг.

Итак, мы стояли на Пречистинке, переименованной в Кропоткинскую в честь анархического нашего революционера князя Кропоткина, коротко знавшего, естественно, и дядю с папой, да и жившего в двух шагах от Кропоткинском же переулке. Несмотря на то, что анархический вид наш как нельзя соответствовал месту нахождения, следовало искать другого пристанища, дабы избежать возмездия впечатлительных советских властей.

Впереди расстилался Тверской бульвар. С приходом французов в 1812 году лучшие липы были срублены на топливо, на оставшихся же и на фонарных столбах были повешены заподозренные в поджогах, так что пришлось взять резко вправо. Местность эта издавна называлась чертольем. В 1933 году здесь при сломке небольшой церкви Похвалы Богородицы была найдена в подполье могильная плита с надписью “Малюта Скуратов”, кою впотьмах мы, возможно, и преступили.

Вышли мы на бывшую набережную Христа Спасителя с двумя оставшимися домами. Я вспомнил, что Храм Христа Спасителя, по словам двоюродного дяди, снесли из-за того, что раньше там собирался весь цвет старого гнусного мира: тайные и явные бллогвардейцы — помещики и купцы, чиновники и фабриканты, жандармы и проститутки.

— На месте, — вдохновенно рассказывал Фиктив-Огарев в «Метрополе», — где в прежние годы стояла идеологическая крепость старого проклятого мира, где проповедью перед палачами массам внушилась покорность и смирение перед господством рабовладельцев, там, где изо дня в день велась травля социализма и революционного рабочего движения, — на этом месте будет построена новая крепость товарищеской солидарности, коммунистического просвещения, раскрепощенного труда и революционной воли — Дворец Советов.

В целом здание Дворца Советов должно будет представлять грандиозный памятник великому основоположнику пролетарской революции Ленину. Стометровая фигура Ленина будет выражать призыв!!!

Мы заглянули в дырку забора, ограждавшего территорию строительной площадки и увидели веселые огоньки. Экскаваторы снимали верхний слой грунта, краны грузили породу из котлована в грузовики.

— Мой инженер! — закричал Шивозник. — В обход очень далеко. Давайте ср. жем напрямую к берегу.

Черт нас дернул спуститься вниз в котлован. Мостки, шедшие сначала ровнехонько, резко ушли вниз, и мы оказались ниже уровня Москвареки метров на 20 на прочной известковой скале в окружении сетки колонн ригелей-балок, распорных колец и связей.

Более или менее скоро мы убедились, что 32 пары колонн основного каркаса расположены по двум концентрическим окружностям амфитеатра Большого зала и опираются на мощные башмаки.

— Мой инженер! — закричал Шивозник. — Смотрите, в условиях обильных грунтовых вод строители решили произвести томпонацию грунта посредством битумизации...

Проплутав по главному фойе будущего зала Сталинской Конституции, мы потихоньку стали протаскиваться с пребыванием в этом лучшем из миров.

— Ясно, что свет устроен так, что давать и плодоносить можно не иначе как расплачиваясь за это страданиями и гонениями, — успокаивал я спутников.

Когда началась укладка бетона, мы забились в какую-то щель, передшую в штольню и оказались, как мы убеждали друг друга, в водопроводном коллекторе, на самом деле сильно смахивавшем на подземельные казематы с кошмарными ходами-переходами.

— Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе, — приговаривал я, пытаюсь разглядеть свет в конце тоннеля (как шутят в таких случаях).

Наконец, под нами или в наших расплавленных мозгах засверкали рубиновые звезды, и мы вновь рухнули в ледяную воду.

Утром, осмотревшись, мы были поражены окружавшими нас маленькими портиками, индейскими киосками и китайскими колонками. Мы троекратно расцеловались и вновь тесно взялись за руки.

Меж тем посреди блеска и варварства постройки возник, вероятно, хозяин лавки.

— Кто вы? — спросил он.

— Мы погорельцы и изобретатели советской техники, — отвечал я за всех и вдруг пронзительно вскрикнул: — Дядя! Неужели?!

— Нигде от вас покоя нет... — с отвращением узнал нас и Фиктив-Огарев. — Из-под земли достанете! Знаете ли вы, что забрались в ров и делали знаки?

— Как же вы нас оттуда достали, дядя? — поразился я.

— Веревкой с крюком, — последовал ответ.

— Как же вы оказались там под дождем и ветром?! — поразился я.

— Люблю гулять по собачьей погоде, — простосердечно отвечал дядя.

— А знаете ли вы где находитесь?

— Нет, — простосердечно отвечали и мы.

— Храм этот вырыли, как убедились, на краю рва, — объяснил дядя.

— Для защиты Кремля со стороны Красной площади. И он так и называется храмом «Покрова на рву», но больше известен под именем Василия Блаженного — юродивого, умершего несколько лет тому назад, современника и контр-сподвижника нашего царя Ивана Грозного.

Любезный Людвиг! Я взглянул на свои лохмотья, чуть ли не на власницу, и понял, что меня грело всю ночь. На ногах гремели металлы, голову обнимал железный колпак... Великий Боже! Возможно ли?! Сознание мое помутилось. К счастью, я припомнил один пассаж из твоего письма: «В Венеции маска стала почти государственным учреждением. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь... Вообрази себе целый город, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, никогда больше не увидит...»

Нет, любезный Людвиг! Ты ошибся! Теперь я знаю еще один город и еще один народ, который не уступит столь блестящему образцу.

— А вот и его могила, блаженного, — сказал дядя и повел нас по галереям и переходам.

Мы постояли некоторое время над ранней урной.

Затем мы прошли в церковь Василия Блаженного.

— Дядя, а что вы-то здесь делаете? — спросил я.

— Мерзавцы из ЦК решились извести меня с белого света, — объяснил дядя. — Назначили старого большевика смотрителем храма, обреченного на снос... Хотят одним ударом избавиться на Руси от Василия Блаженного и Фиктив-Огарева!!! Не дамся! — и он как-то безнадежно махнул рукой и равнодушно добавил: — Живу я, собственно, на девяти столбах... В центре главный столб завершается великим шатром. Вкруг идут переходы и галерси.

Вообрази, любезный Людвиг, в первом ярусе вкруг восьмерика действительно шло прескрасное гульбище, и это очаровало нас несказанно. Мы обошли все церкви и вернулись вновь в возлюбленную церковь Василия Блаженного. Мы сгрудились как дети перед его иконой в полный рост на фоне горного пейзажа (Кавказа?), и, как дети, разрыдались. Оказалось, по словам Фиктив-Огарева, что Покровский собор задумывался как воплощение идеи небесного Иерусалима так, что мы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах.

Пора было продолжать работу. Михайл распалил возлюбленный горн, Шивозник завозился над коробом с «Войной и миром», дядя промывал спиртом запыхавшийся в пути гироскоп. Я же засел за чертежи. Следовало превратить, наконец, ящик Рейнметалла в камеру-обскуру высоких энергий.

Кипы бумаги заполнялись расчетами, четыре ватманских листа едва вместили чертежи с планами и разрезами. Не было резких переходов, острых углов, малых радиусов закруглений. При взгляде на пятый лист у меня зарябило в глазах от хаоса допусков, значков чистоты, обработок, разрезов, размеров.

Михайл распалил в возлюбленном горне наше золото Рейна, ловко вырезая целые куски, плетя чудовищные пурпурные кружева из толстых стенок. Фиктив-Огарев тупо смотрел на пламени поселка и декламировал о всепоглощающей пещи диктатуры пролетариата.

— Бросить обломки буржуазии в пролетарскую пещу! — командовал он, тыкая пальцем в горн. — Переплавить эту общественную группу (мы вздрагивали) в полезную для общества. Можно убивать буржуазию и можно выхолостить буржуазию. Поэтому следует зарегистрировать участь, внести в списки всех лиц, не занятых трудом на фабриках и заводах или в советских учреждениях. Эти лица должны быть отданы под гласный надзор пролетариата, то есть в определенный срок должны производиться проверки того, что они делают в житейском быту и в

общественной жизни. Когда таким образом буржуазия будет обезличена, раздроблена, экспроприрована и принуждена к труду — она умрет как класс. Большая часть буржуазии на этой дороге будет превращена в босяков, деклассирована, вытравлена из общественной жизни. над нею будет тяготеть неусыпный надзор. Она будет закрепошена. Эту работу в России надо закончить, как можно скорее.

Несколько дней мы не смыкали глаз, пока, наконец, в соборе возникла сцена, отдаленно напоминая тысячу раз виденное в лаборатории на Пречистинке-Кропоткинской: Дядя у визира, Шивозник у небольшого переносного элемента Гренье, Михмай вносит бомбу в калориметр, дядя скользит визиром по штанге, взглядывает на секундомер, Шивозник замыкает ток и... раздался взрыв, оставивший впечатление уже раз слышанного. Михмай насыпал на полку затвора щепоть «войны и мира», замкнул цепь, начисто забыв про колдовавшего в камере над гироскопом Шивозником. Бедняга взлетел над сенью шатра и какое-то время, как мне показалось; укоризненно смотрел на нас. Потом, по точному описанию Аристотеля о горящих пламенниках, падающих звездах и то, что называют «головнями» и «козами», промчался по поднебесью и исчез.

— Око мое, — обратился я к Михмаю, — ведь ты знаешь, что поступил дурно, поступил нехорошо? — спросил я.

Михмай отвечал всецело утвердительно.

Мы принялись истоиво молиться по местному обыкновению: господу Богу и Святому Духу и Святому Николаю, и Святому Михаилу, и Святой Пречистой Богородице, Святому Вознесению, Святой Покрове, и Святому Юрию, и тебе прошу красное солнце, и тебе прошу, ясный месяц, и тебе прошу, царь Давида и кротости твоей, отведи злых собак от скота моего и т.д.

На удивление часа через два Шивозник действительно объявился как ни в чем не бывало в приподнятом игривом настроении, совершенно истерзанных одеждах. По устам его скользила загадочная полуулыбка, когда он рассуждал об окружавших его предметах: «Частое посещение вашего знаменитого арсенала представляет, на мой взгляд, для пытливого ума широкое поле для размышлений, в особенности, в области механики: здесь постоянно изготавливаются всякого рода машины и аппараты, множество мастеров, среди которых должно быть немало знающих и умных людей!...» — рассуждал он негромко.

— Око мое! — обратился я к Шивознику. — Ведь ты знаешь, что поступил нехорошо, поступил дурно?! — спросил я.

Шивозник же отвечал как-то косвенно, что все это пустяки, дело случая, что на Сицилии в свое время брали за бока и покруче.

Вообще же на Шивозника обижаться было невозможно — он принадлежал к так называемым «вымоленным мальчикам», то есть к таким, которых родители вымаливают после долгого бесплодия, после тяжелой

болезни или еще какой беды. Вот почему, когда он заявил, что пил чай с Вернадским, куда его и занесло в открытое окно, я сразу поверил.

За чайным столом они вспоминали моего папу, Великий Шелковый путь, дядю Евгения, большую и малую его золотые и серебрянные медали, Гарибальди, пастеровский институт и теорию иммунитета Сеченова. Владимир Иванович очень хвалил заочно мою машину катастроф и говорил, что эта идея просто носится в воздухе и висит над всеми нами.

— А еще о чем? О чем вы говорили? — настаивал я.

— Да особенно не о чем, — отмахивался Шивозник, — впрочем, Владимир Иванович показал мне, посоветоваться, письмо перед отправкой в правительство, Молотову, могу пересказать по памяти.

— Да уж, перескажи, будь добр, — отвечали ему.

— Дело может показаться незаметным, — исполнил нашу просьбу Шивозник, — но которое затрагивает величайшие, государственной важности вопросы. Дело идет о деятельности у нас иностранной цензуры — в действительности, о пределах свободной мысли в ученой работе нашего союза.

Одним из самых основных элементов научной работы является широкая и быстрая осведомленность ученого о происходящем научном движении и ходе научной мысли. Наука едина, и ученый бесконечно разнообразен по характеру и объему своих интересов.

Только он сам может ставить пределы своей научной мысли. Цензура не может ограничивать.

Одним из самых основных недостатков научной работы в СССР, требующей немедленного и коренного перелома, является ограничение нашего знакомства с мировым научным движением. Она не организована и ухудшается. Это большое, но поправимое несчастье.

С лета 1935 года систематически вырезаются статьи из лондонского натурфилософского журнала, наиболее осведомленного и влиятельного в научной мировой литературе.

В одном из последних номеров вырезана статья о «Превращении энергии» Резерфорда. Мы лишены возможности это прочитать! Немыслимо, даже академики!

— Немыслимо, даже академики! — Шивозник от возмущения замкнул цепь.

Громыкнуло, и из камеры вылетел забравшийся туда от горя Михмай. Он жутко жалел, что к Вернадскому, который так его всегда любил и почитал, как родного сына, попал не он, а Шивозник.

Еще раз бросилось в глаза, что общая форма собора напоминает облако костра, пламени и дыма, густыми сочными клубами поднимающегося над алтарем вместе с Михмаем.

— Неудобно получится, если опять за чайный стол к Владимиру Ивановичу, — и мы с Шивозником принялись истово молиться.

— Вот все-таки нет на нас истинного крестного знамения, — вздохнул я. — По существу персты управити по чину, вообразити господне древо и животворящий крест и троица: отца и сына и святого духа, и показати божество и человечество, и крещение, и покаяние, Иордан, и спас и претеча, и вся сия светолепно в руце устроив, назнаменовати крест Христов!

Как и предполагалось, довольно скоро вернулся Михмай. пролетел он не так далеко, версты три до Сандуновских бань, где и взошел в парную, пользуясь случаем. Цинический рассказ его о белых пеленах, пиве и паре я категорически приостановил.

Привел он из Сандунов и банщика, прежде работавшего натурщиком в классах живописи, и теперь намеревался рисовать с него голову Аполлона, чтобы потом перенести его, по его выражению, со щеки на щеку, на нашу машину.

Банщика я прогнал, но объявилась хозяйка козленка с Пречистинки, соседская девушка Глаша Оловянникова. Стыдно и больно было вспоминать, что козла мы закололи, поджаривали и, еще немного, сожрали бы!

— Что ж, Глаша, — сказал я ей. — Помогай нам по хозяйству, я же буду выплачивать тебе небольшое жалованье из тех денег, что приношу из Большого театра Союза ССР, из гигиенической комиссии.

На том и порешили. Я ушел в Большой театр на «Демона» — оперу Антона Рубинштейна, Глаша стала подметать понемногу в церквах, Михмай и Шивозник пальцем не смели трогать без меня машину и короб. Фиктив-Огарев направился в ЦКК — Центральную Контрольную партийную комиссию, чтобы к вечеру полностью восстановиться в партии.

Любезный Людвиг! Кто же знал, что ждет нас вечером?!

Помнишь, в ноябре 1780 года одну из препарированных лягушек Гальвани положил, по рассеянности, на стол электрической машины своего приятеля, работавшего в той же комнате.

В это время в лабораторию заглянула жена Гальвани. Ее взору предстала жуткая картина: при искрах в электрической машине лапки мертвой лягушки, прикасавшиеся к скальпелю, дергались. Дура заорала и указала на этот эффект мужа.

Очень понятно, что Гальвани стал днями и ночами держать препарированную лягушку за крючок, продетый через спинной нерв, пропускать ток и поражаться тем, как нечто вроде нервной жидкости (подобное электрическому разряду в лейденской банке) совершает переход от нервов к мускулу.

Сдается мне, что нечто подобное произошло с однотономиком Фрейда «Толкование сновидений». Дядя-то принес книгу, чтобы тиснуть разгромную рецензию в «Под знаменем марксизма» и взять куш, чем он хуже Радека (его слова). А Шивозник положил ее на лавку рядом с «Великим и последним искусством».

И уж, конечно, «Сновидения» находились под сенью шатра Василия Блаженного, накрывающего кстати и некстати и Красную площадь, и Москву, и — шире — весь СССР. А по Фрейду, все сложные машины и аппараты в сновидениях являются не больше, не меньше как половыми органами. В равной степени сюда можно отнести и ландшафты, особенно такие, где имеются мосты и возвышения.

Так вот, представь, вечером я обнаружил при входе в одну из наших церквушек, «При входе в Иерусалим» не только Глашу, но и Машу, Дашу и Наташу Оловянных, пришедших посмотреть на родную сестру и навести справки о козленке.

«Что-то будет?!» — еще успел я подумать.

Фиктив-Огарев, явившийся из контрольной партийной комиссии с подпиской о невыезде, заявил при виде такого числа сестер Оловянных, что, конечно, сейчас не может быть и речи о государственном законодательстве, нормализующем половую жизнь граждан СССР. Речь может идти лишь по линии первичного полового миршупывания путей этой реформы. Застрельщиком в половом оздоровлении трудящихся и всего человечества должна быть наша красная молодежь.

Воспитанная в героической сублимирующей атмосфере нашей революции, начиненная яркими классовыми творческими радостями так, как никогда молодежь до нее не начиналась, она легче отделается от гнилой половой инерции эксплуататорского периода.

Организованная, плодотворная, умственная жизнь требует максимальной скромности в области половых проявлений, — веско заключил дядя, но добавил, что, очевидно, для организованной перестройки половых норм сейчас самое время. Наша общественность ждет жадно тех творческих сил, которые освободятся от полового плена после этой перестройки. Имеет ли право истинный друг революции, истинный гражданин СССР возражать против оздоровления сексуальности. Но как начать, как провести эту половую реформу? — задавался дядя вопросами.

Много полового дурмана плодила и отвлеченщина нашей старой интеллигенции. Чем сильнее отрыв от боевой реальности, тем больше половой фантастики. К тому же, прикрепленная сейчас к советской колеснице строительства наиболее социально здоровая часть старой интеллигенции перевоспитывается, теряя кусок за куском и лишней половой груз, не говоря уже о том, что она постепенно все более настойчиво заменяется вновь растущей рабоче-крестьянской интеллигенцией, — здесь дядя счел нужным выразительно посмотреть на меня, — при старой постановке вопроса полового трагизма, стоившего столько слез и столько сил человечеству приниженность и некультурность женщины играет очень крупную роль в сгущении половых переживаний. Освобождение сознательной женщины изымает из этого полового фонда крупную глыбу, тем освобождая долю творческих сил. Сюда же надо отнести

и раскрепощение национальностей и прочие завоевания революции, и отрыв населения от религии. Именно она должна быть энергичным пионером. В этом месте дядя привел почти полностью рассказ Коллонтай «Любовь трех поколений». И закончил дядя совершенно темными рассуждениями о том, что бороться за материнство и младенчество на нынешних условиях значит бороться, в частности, против алкоголизма. И что беспорядочные половые связи нельзя по произволу скинуть со счетов. То есть, оценивая связи как легкомысленные во многих случаях, надо сказать: нет большей угрозы, как те половые связи, которые создаются под влиянием алкоголизма, в бездумном опьянении и которые дают очень высокий процент в малокультурной среде. И что нужно мощное общественное против частых разводов. И что нельзя бороться за улучшение положения матери и младенчества, не борясь развернутым фронтом против алкоголизма в самых доступных формах. Не упускать из виду беспорядочные половые связи и это в первую голову, то есть постоянно как-то увязывать борьбу на эти два фронта.

Дядя до такой степени заморочил мне голову, что до сих пор не понимаю, как я оказался в камере «Великого и последнего искусства», а уж нажать на гашетку Шивознику ничего не стоило.

Не знаю, что уж себе там воображали мои лаборанты по качественному анализу, когда неслись сломя голову по поднебесью, я же летел очень буднично. Скоро сумел сориентироваться и заметил, что опускаюсь где-то за Покровской заставой на площадку в десятил пятьдесят.

Любезный Людвиг! Это оказалась гигантская бойня московского мясокомбината. Железнодорожная ветка соединяла его с направлением на Курск! Оказалось, что когда животное введено в камеру, его привязывают за шею к чугунному столбу особого станка — «стяговца» и поражают ударом кинжала в продолговатый мозг. При удачном ударе бык падает с быстротой молнии и теряет чувствительность. После этого делается разрез шеи и, когда кровь выбегает в подставленные тазы, животному обрезают голову, которая немедленно за определенным номером выставляется для ветеринарного осмотра.

После этого отделяют кожу на ногах и обрезают их нижние части, продевается деревянная «разнога», и туловище подвешивается на «стяговце» брюхом вверх.

В каждой убойной камере работают 5 рабочих, причем разделение труда так совершенно, что каждый ни минуты не остается без дела. И в то время, как один рабочий доканчивает разделку туши, другие убивают следующее животное.

Свиньи закалываются ударом кинжала в самое сердце в просторном светлом зале. При бойнях находятся салотопленный, маргариновый, кровяной альбуминный, кишечный заводы и кожевенный двор.

Туши подвешиваются в вертикальном положении.

Возвращался я домой, к Василию Блаженному с чувством всепроникающей тресвоги. Прямо с порога Даша, Маша, Глаша и Наташа бросились рассказывать, как улетел прямо вслед за мной Шивозник. Ну, это еще полбеды, к этому явлению мы, так сказать, пригляделись. Но вот за стрекотаньем Оловянныхиковых наших девушек раздался чужой голос:

— Что за шум, а драки нэт?

Дядя, ближе всех по обыкновению стоявший к выходу, вдруг замер как истукан и как бы умер. Наконец, он едва прошептал:

— Заманчивая картина открывается нам в самом конце теплых майских деньков — Великий вождь и учитель товарищ Сталин и железный нарком Ежов...

— Здравствуйте, товарищ Фиктив-Огарев! Здравствуйте, товарищи советские инженеры и техники!

— Мы тихо подходим в итоге второй пятилетки, — опять зачарованно сказал дядя, — к бесклассовому социалистическому обществу. И это, товарищи, такая всемирно-историческая перспектива, которая и мертвого должна разбудить. Но было бы ошибкой думать, что так легко это дается и так легко повернуть на новые рельсы нашу работу.

— Наконец товарищ Фиктив-Огарев заговорил о деле, — сказал Сталин. — Вот шли мимо с товарищем Ежовым и решили посмотреть, что за огни?! Что такое постоянно взлетает над Красной площадью, над Кремлем, над сердцем огромной страны Советов.

Но дядя не сходя с накатанной дорожки, глядя мимо всех присутствующих замогильным голосом он продолжал:

— Товарищи! говоря о заслугах партии, об успехах нельзя не сказать о великом организаторе наших побед! Я говорю о товарище Сталине!

— Жаль, жаль! Очень жаль! — вздохнул в ответ Сталин. — Вот мы слушаем с Генеральным Комиссаром государственной безопасности товарищем Ежовым товарища Фиктив-Огарева и печалуемся... Мы печалуемся от того, что партия допустила большую кадровую ошибку — она поставила на храм Василия Блаженного не того человека, не того Фиктив-Огарева!..

— Товарищ Фиктив-Огарев говорит, а сказать ему нечего, — подтвердил железный нарком Ежов.

— Партия поручила вам до особых распоряжений надзор за храмом юродивого Василия Блаженного, — напомнил Сталин. — Пока партия думает... действительно собор является выдающимся произведением русского зодчества — и тогда его приукрасить! Или перед нами лишь пестрая подделка под святыню русского народа — и тогда его разгромить!

— Никак нельзя! — воскликнул дядя. — Вот опыты! Вот настоящая опытность советских конструкторов и инженеров! Машина подобная греческой, *deus ex machina*, которая вдруг и молниеносно уносит на небо любого, как героя эллинских трагедий.

— Суньте в машину палец для пролетарской пробы, товарищ Ежов, — предложил Сталин.

Генеральный комиссар государственной безопасности СССР, ни на минуту не задумываясь, сунул палец в «Великое и Последнее искусство».

Искра божия мгновенно высеклась и пронзила палец.

— Твою бога мать! — заорал железный нарком, сунул окровавленный палец в рот и с полыхающей ненавистью посмотрел на небольшой коллектив нашего конструкторского бюро.

— Машина задумана интересно, — разводя огонь в трубке от угля возлюбленного горна, сказал Сталин. — Партии кажется, что эта машина задумана интересно. А теперь, товарищ Ежов, попробуйте засунуть и всю большевистскую руку.

Длинная рука вожака советских чекистов скрылась в указанном направлении.

— Твою бога мать! — опять заорал товарищ Ежов. Он зажал руку между коленками и раскачиваясь, размазывая катившиеся жемчуга слез, причитал:

— Суки, суки, позорные убили руку!

— Что на это заявление скажет товарищ Фиктив-Огарев? — спросил Сталин.

— В больших мировых начинаниях и ошибки должны быть грандиозные, — без запинки ответил дядя. — Затрагивая все человечество за живое! Без исключений! Никому не позволено безнаказанно быть просто зрителем интересных событий... и, — переходя на пророческие нотки, закончил — каждому придется хлебнуть этого интереса до слез! если не до крови!

— Я тоже думаю, что теперь нет хат с краю, — сказал товарищ Сталин, — а что по этому поводу думает товарищ...?

— Штукатуров, — подсказал дядя.

— Повсюду синяки и разбитые коленки, — отвечал я, глядя на свои торчавшие из-под власяницы синие коленки, разбитые от недавнего падения во рву.

— А что по этому поводу думает все-таки товарищ Генеральный комиссар государственной безопасности Сэ Сэ Сэ Рэ?!

— Тут и думать нечего, — крепко перехватывая руку куском грязного каната, отвечал маршал. — Для построения дворца общечеловеческой живой истины потребуется неизмеримо больше жертв и усилий. Немало погибнет народа в расприх о «форме купола», толкая друг друга в начатую яму для фундамента. Толпами миллионов заполнится эта яма. Кровь и слезы спаяют всю постройку вместо цемента.

— Но зато какое величие! Какая простота! — закричали мы все хором.

— Ну что ж, товарищи конструкторы и техники, капитаны и маршалы, по-моему, самое время пройтись, подышать чистым воздухом по единственному гульбищу великого русского храма, пагулять вокруг девяти столбов над роскошным шатром.

Мы вышли на гульбище. Огоньки великой стройки Дворца Советов весело блистали. На маршала Ежова было больно смотреть.

— У древних греков в системе их органов (ошибка) в системе их мифологии был один знаменитый герой Антей, — начал товарищ Сталин.

Глава государственной безопасности приободрился и несколько разогнул спину.

— ... Он был, как повествует мифология, сыном Посейдона, бога морей, и Геи — богини земли. Он питал особенную привязанность к матери своей, которая его родила, вскормила и воспитала. Не было бы такого героя, которого он бы не победил — этот Антей. В чем состояла его сила? Она состояла в том, что каждый раз, когда ему приходилось туго, он прикасался к земле. И получал новую силу. Враги учитывали эту его слабость и подкарауливали его. И вот нашелся враг и использовал эту слабость. И победил его. Это был Геркулес. Но как он его победил? Он оторвал его от земли, поднял на воздух, отнял у него возможность прикоснуться к земле и задушил его таким образом в воздухе.

Я думаю большевики, в данном случае большевик — железный нарком товарищ Ежов, напоминают нам героя древнегреческого мифологии — Антея!..

Ежов распрямылся и вынул палец изо рта.

— Он так же, как и легендарный Антей, силен тем, что постоянно держит связь со своей матерью, с массами, которые породили, вскормили и воспитали и его, и всех нас!

Вот в чем ключ непобедимости большевистского руководства. — И, оглянувшись на нас, Сталин предложил: — Что ж, Николай Иванович, пригласим к нам в гости, на экскурсию по седому Кремлю, эту группу советских инженеров-конструкторов.

— А я?! — встрял дядя.

— А вы, товарищ Фиктив-Огарев, стерегите пуще прежнего воплощенный народом в камне идеал русского государственного устройства — храм Василия Блаженного!

Мы миновали Спасскую башню, и Ежов сказал, что из-за преступного попустительства бывшего секретаря ВЦИК Енукидзе на территории Кремля была создана целая сеть террористических групп троцкистов, меньшевиков, монархистов и слобгардейцев. Я поверил на слово, потому что по такой жаре кроме нас никто не слонялся по Кремлю. Мы уже подходили к Большому Кремлевскому дворцу, когда вдруг рядом затормозил автомобиль.

— Товарищ Штукатуров... — сказал Сталин. — Вы давно посещали жемчужину кавказского побережья город-порт Батуми?

— Никогда там не был, — твердо отвечал я.

— Съездите на немножко, а потом расскажите президиуму Верховного Совета о ваших впечатлениях.

Любезный Людвиг! Через 20 минут я был на аэродроме в Тушино. А через пять часов на берегу Черного моря в столице вечнозеленой, вечно солнечной республики Аджарии — городе-порте Батуми.

Шпалеры пальм, лавров, драцены вытянулись вдоль улицы Коминтерна, по набережной лейтенанта Шмидта, по бульвару Челюскинцев. Гордость батумцев — приморский бульвар. Километровые аллеи засажены благоухающими магнолиями, благородным лавром, недалеко плещется озеро Нурие-тель.

На аэродроме меня встретили Константин Каландаров, Герасим Каладзе, Порфирий Куридзе, Кишварди Церцвадзе и Порфирий Ломджария — старые рабочие завода Ротшильда.

Не откладывая дело в долгий ящик, мы отправились в местную городскую тюрьму.

— В этом холодном каменном мешке великий Сталин просидел целый год! — сказал мне Константин Каландаров.

— Отсюда великий Сталин рассылал огненные листовки! — сказал Порфирий Куридзе.

— Как изменилось все вокруг! Город не узнать! Лишь один памятник тех суровых лет стоит прямо перед нами! — сказал Кишварди Церцвадзе.

Мы перешли через дорогу и набились в бывшую камеру номер 6. Всем налили вина.

Порфирий Куридзе высоко поднял до краев полный стакан и сказал:

— У обкома партии есть смелый план — разбить в центре города две прекрасные рощи, они будут состоять из 88 особо ароматических итальянских деревьев алиафрангаз. Батуми превратится в подлинно благоуханный сад!

Мы выпили и налили снова. Любезный Людвиг! Тут появился шестой человек в нашей шестой камере. Товарищ Лаврентий Берия. У него очень трудно формулируемая должность. Он заведующий пропаганды и агитации ЦК. Ну, он на своем месте. Мы так надрались под его тосты в шестой камере, что я только в Москве опомнился.

Собственно, тост был один. Перед тем, как начать пить, все говорят друг другу: Пролетарии всех стран, соединяйтесь... Ребята, видно, до того одурели от жары на самом краю земли, что ждут в гости каких-то аргонавтов-пролетариев. Это выглядит довольно остроумно в первые 10-15 употреблений, но потом утомляет.

— Я не хочу умереть в своей постели! Я хочу бороться! — сказал Константин Каландаров и высоко поднял свой стакан.

— Поздней осенью 1901 года всего за каких-нибудь две недели товарищ Сталин создал 11 кружков для рабочих! — сказал Герасим Каладзе и высоко поднял свой стакан.

— Товарищу Сталину достаточно было одного взгляда, одной реплики, чтобы безошибочно угадать, годен ли человек для такой большой и ответственной работы как создание социал-демократической организации города Батуми! — сказал Порфирий Куридзе и высоко поднял свой бокал.

— Уже светает! Пора расходиться. Скоро взойдет солнце! Пройдут годы, и это солнце будет светить для нас и наших внуков! — сказал Кишварди Церцвадзе и высоко поднял стакан.

— Расходиться по одному, по два! — сказал Лаврентий Берия, и мы вдвоем пошли в сторону, как он говорил, аэродрома. На прощание он сунул мне в нагрудный карман удостоверение:

«Всесоюзная Коммунистическая Партия (б)»

(б) — это, конечно, Батуми. Я много смеялся при посадке в самолет, что усложняло предстоящий отрыв аппарата от земли.

На коленях у меня лежал тяжелый бурдюк с вином.

В Москве, из аэропорта в Тушино меня сразу отвезли в Большой Кремлевский дворец, в столовую.

Посреди зала я увидел свое прекрасное «Великое и Последнее искусство», засиявшее снаружи хромом и никелем, задрапированное в алый кумач. Я повесил на него подаренный бурдюк с вином.

В мраморной столовой господствовали мотивы античности. Скульптуры Леды и Гименя, а в рельефах на стенах кратерообразных ваз запечатлены менады и сатиры, на постаментах — олимпийские боги. Гименей — божество брака, сын Диониса и Афродиты, стройный юноша со строгим выражением лица, с факелом в одной руке и с венком в другой.

Мы обнялись с Михмаем и Шивозником и залюбовались менадами — безумствующими вакханками, спутницами Диониса. Украшенные виноградными листьями, плетущим они сокрушали все на своем пути. Полуобнаженные, в шкурах пятнистого оленя, со спутанными волосами, перепоясанные задушенными змеями, они в безумном восторге зывали к Дионису. Они растерзывали в лесах и горах диких животных и пили их кровь, как бы приобщаясь к растерзанному богу.

В углу зазвонил телсфон правительственной связи. Дежурный сотрудник комендатуры Кремля передал мне трубку.

— Здравствуйте, товарищ Штукатуров. Это Сталин беспокоит. Как съездили? Понравился ли город-порт Батуми? Какая там обстановка?

— Товарищ Сталин! Город Батуми несомненно является столицей Аджарской республики. Шпалеры пальм, лавров, драцен вытянулись вдоль солнечной улицы Коминтерна, по набережной лейтенанта Шмидта, по бульвару Челюскинцев. Гордость батумцев — приморский буль-

вар. Километровые аллеи засажены благоухающими магнолиями, благородным лавром... Недалеко плещется озеро Нурие-тель...

— Вы заставили чаще биться сердце большевика-"ленинца", товарищ Штукатуров, — сказал Сталин. — А показывали ли вам товарищи шестую камеру?

— Практически не выходили. Константин Каландаров, Герасим Каладзе, Порфирий Куридзе, Кашварди Цецвадзе, Порфирий Ломджария, все сразу и набились. Позднее подошел заведующий отделом пропаганды и агитации Лаврентий Берия.

— Что пили?

— «Эрмитаж», «Папский шато-неф».

— Значит, понравилось. Очень хорошо. Вы ничего не слышали про доклад наркома обороны Ворошилова о военном заговоре? Нет? Мы сейчас к вам подойдем с товарищами из Политбюро: Кагановичем, Молотовым, Ворошиловым, Калининным, Микояном.

Трубка замолчала и вдруг вновь раздался звонок. Я сорвал трубку с рычага.

— Товарищ Штукатуров, это Глаша Оловянникова. А когда мы поедем к Вам в Кремль?

— Глаша, а не рано? — спрашивал я ее в ответ и попросил позвать к аппарату двоюродного дядю.

— Дорогой дядя, это вы?! — узнал я голос Фиктив-Огарева. — Я только что из шестой камеры батумской городской тюрьмы. Сейчас сюда, в столовую Большого Кремлевского дворца, подойдут члены Политбюро... неудобно как-то... я никого не знаю... может и вы подойдете, помириться?!

— Ты из батумской тюрьмы?! — с восторгом спросил дядя. — Конечно, прискачу! Мы еще нальем этим мерзавцам соленые моря лимонадом!!!

Что ж, наконец я остался один с моим «Великим и последним искусством». Пора было начинать первую серию вычислений. Шифозник протер красшомо рукава пиджака по стеклу гироскопа лейтенанта Уайхеда. Михмай, подобно легендарному сеятелю, вытащил щепоть порошка из короба с «Войной и миром». Фавны вышли из лесов. Им одинаково чужда, как вежливость форума...

Совсем рядом раздалось голоса, шум шагов, говор толпы. В зал вошел Сталин, я узнал армвосенюриста Ульриха, следом несколько штатских и десятки генералов.

— Вот вам последняя правда о заговоре! — закричал один из них, выхватив мою руку.

— Это вы мне говорите?! — поразился я, выворачивая назад руку.

— Ни в истории нашей революции, ни в истории других революций не было такого заговора, как наш — ни по целям, ни по составу, ни по тем следствиям, которые заговор для себя выбрал...

— Какие средства выбрал себе этот заговор? — закричал генерал вновь.

— Как? Опять все справки у меня? — сбрасывая руки уже с горла, отбивался я.

— Все средства: измена, предательство! поражение своей страны! шпионаж и террор! Для какой цели?

— Ну хорошо, для какой цели?

— Для восстановления капитализма. Для замены диктатуры пролетариата фашистской диктатурой. Я вам больше скажу. Люди, входившие в заговор, не имеют глубоких корней в нашей Советской стране, у каждого из них есть своя вторая родина: у Якира родня в Бессарабии, у Путны и Уборевича — в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдеман с Прибалтикой.

В ту же минуту толпа оттеснила меня.

— Встать! Руки вверх! — пронеслось по залу... Именем Союза Советских Социалистических Республик! Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР в составе: председатель, члены, секретарь. В закрытом судебном заседании рассмотрела... и приговорила...

Было предъявлено обвинение: М.Н.Тухачевскому, И.Э.Якиру, И.П.Уборевичу, А.И.Корку, Б.М.Фельдману, В.К.Путне по статьям: измена родине, шпионаж, террор.

Заместителям наркома обороны А.И.Егорову, Я.И.Алкснису, И.Ф.Федько, В.М.Орлову, заместителям начальника Генерального штаба АККА В.Н.Левичеву и С.А.Меженинову, заместителям начальника Главпура РККА А.С.Булину, 22 начальникам и 30 ответственным работникам Наркомата обороны и Генштаба:

Е.И.Ковтюху (командное), Н.Д.Каширину (боевой подготовки), Я.К.Берзину (разведывательное), И.А.Халепскому (вооружений), А.П.Вольпе (административно-мобилизационное), Г.Г.Бокису (автобронетанковое), Н.М.Роговскому (артиллерии), А.И.Седякину (ПВО), М.О.Степанову и Я.М.Фишману (военно-химическое), Р.В.Лонгу (связи), А.И.Тодорскому (высших военных заведений), М.Л.Медникову (воснно-строительное), И.Ф.Максимову (топографическое), Б.И.Базенкову (материально-техническое снабжение), Н.Н.Мовчину (снабжение горючим), Д.И.Косичу (обозно-вещевого снабжения), А.И.Жильцову (продовольственного снабжения), М.И.Баранову (санитарное), М.Н.Никольскому (ветеринарное), З.Д.Перцовскому (финансовое).

Командующим войсками военных округов: С.П.Урицкому (Московский), П.Е.Дыбенко (Ленинградский), И.П.Белову (Белорусский), В.К.Блюхеру (ОКВДА), М.Д.Великанову (Забайкальский), Н.В.Куйбышеву (Закавказский), И.И.Гарькавому (Северо-Кавказский), И.К.Грязнову (Среднеазиатский), Я.П.Гайлиту (Уральский), И.Н.Дубовому (Харьковский).

88 старшим командирам округов, а также 8 начальникам военных академий и школ: Д.А.Кучинскому (Академия Генштаба), И.Ф.Немерзелли (Военно-политическая академия), И.И.Смолину (Военно-инженерная академия), Я.Л.Авиновичко (Академия химзащиты), Н.Г.Егорову (Школа ВЦИК), Т.И.Брынкову (НИИ РККА), И.И.Милейковскому (Научный испытательно-технический институт РККА), Н.Н.Бажанову (Научно-испытательный институт ВВС), 26 профессорам и преподавателям.

Далее шел военно-морской флот: нарком А.П.Смирнов, его заместитель, начальник Морских Сил РККА М.В.Викторов, начальник штаба Морских Сил П.Г.Стасевич, командующими флотами И.К.Кожанов (Черноморский), К.М.Душенев (Северный), Г.П.Киреев (Тихоокеанский), командующий Амурской флотилией И.Н.Кодацкий, начальник Военно-морской академии И.М.Лудри, начальник НИИ военного кораблестроения Н.В.Алякринский.

Секретарь Совета Союза ЦИК СССР И.С.Уншлихт, секретарь Комитета обороны при Совнаркоме СССР Г.Д.Базелевич, заместитель наркома оборонной промышленности СССР Р.А.Муклевич и начальник Главного управления этого Наркомата К.А.Нейман.

Всего мое «Великое и Последнее искусство» прогремело 401 раз. Красное батумское вино из бурдюка разлилось по всей столовой и накрыло и Диониса и безумствующих вахханок.

Ко мне подошел распорядитель кремлевского коменданта и пригласил в машину; меня ждали в правительственной ложе Большого театра.

— Как, опять в Большой театр?! — поразился я.

В салоне, за правительственной ложей, за накрытым столом уже сидели члены и кандидаты в члены Политбюро. Сталин встал и усадил меня рядом.

— По замыслу американских капиталистов, электрический стул, — наливая себе сухого вина, а мне коньяку в фужер граммов на четыреста, сказал Сталин, — должен был продемонстрировать всему миру гуманность американского правосудия... Что же получилось на деле? Авторы собрались в Аусбургской тюрьме Нью-Йорка, зажали в кресле приговоренного убийцу Кемслера. Американские капиталисты включили ток. Через 17 секунд сидевший на стуле товарищ еще был жив...

— Был еще жив, — с отвращением пронеслось по столу с вожжами.

— Капиталисты включили ток еще более высокого напряжения и еще долго и мучительно доводили «эксперимент» до конца. Эта, с позволения сказать, «казнь» вызвала справедливое негодование простых труженников и всех людей доброй воли.

За нашим столом присутствует гениальный русский конструктор-самоучка, товарищ Штукатуров, внесший неопределимый вклад в непосредственный разгром троцкистско-фашистского заговора.

Товарищ Сталин продолжал:

— Подобно гениальному древнегреческому самоучке Архимеду товарищ Штукатуров строил свои теории, пользуясь какими-то одному ему известными «леса», и только, когда теория приобрела совершенно ясную, четкую и красивую форму, он убрал эти «леса», и перед взорами восхищенных современников предстало неповторимое «Великое и последнее искусство». Великое пролетарское изобретение пришло на смену бредовому кошмару француза Гильотена, циничной английской виселице, испанской гароте, безотказному китайскому способу отрубить мечом голову, ухваченную предварительно за косу...

Но мы вправе спросить себя: а каково политическое лицо товарища Штукатурова? Гениальный русский конструктор-самоучка прошел вместе со мной тяжелый путь революционера ленинско-искровского направления.

На Лондонском и Стокгольмском съездах партии, Женевской партийной конференции мы только зорко присматривались друг к другу. Но целый год, проведенный вместе в непроницаемом каменном мешке — шестой камере городской тюрьмы Батума — открыл для меня образ негибасмого борца, неповторимого конспиратора, последовательного марксиста-ленинца.

Сегодня вы провели еще одну кошмарную ночь в шестой камере, расскажите, товарищ Штукатуров, кленам и кандидатам в члены Политбюро о своих свежих впечатлениях.

— Дорогие товарищи! Друзья! — начал я, — город Батуми — это подлинная столица солнечной Аджарской республики. Шпалеры пальм, лавров, драцены вытянулись вдоль улицы Коминтерна, по набережной лейтенанта Шмидта, по бульвару Челюскинцев. У героического обкома есть смелый план — разбить в центре города две рощи — они будут состоять из 88 особо ароматических деревьев — итальянских олива-франгаз. Батуми превратится в благоухающий сад!

— Превратится! Превратится в сад! — пронеслось по столу.

— Предлагаю наградить товарища Штукатурова за разгром троцкистско-фашистского гнезда в красной армии орденом незабвенного товарища Ленина.

— Наградить! Наградить! — поддержали голоса.

Мы выпили по фужеру еще раз.

— Говори! — приказал Сталин.

— Дорогие товарищи! Друзья! Что сказать на все это? И раньше люди умирали и умирали почти всегда преждевременно, не доделав своего дела, и бессмысленно, и случайно, — успокаивал я как мог себя и собравшихся, — ныне же, обозревая потери наших близких, либо прямо убитых, либо замученных дикими условиями жизни, потерей имущества, любимого дела — глядя на наши преждевременные болезни и бес-

смысленность нашего существования, мы часто думаем, что болезни, смерти, старость, нужду, бессмысленность жизни выдумали большевики. На самом деле они этого не выдумывали и не впервые внесли в жизнь, а лишь значительно усилили.

— Значительно усилили! Значительно усилили! — пронеслось по столу.

— В обывательских размышлениях мы часто мучаемся ненормальностью нашей жизни, с горьким болезненным раскаянием осуждаем наше собственное легкомыслие, небрежность и слепоту, с которой мы дали разрушить в России все основы нормальной разумной жизни.

Произошедшее ужасающее потрясение и разрушение принесло нам одно ценнейшее, несмотря на всю его горечь, благо: оно сняло призрачный покров и показало нам неприкрытый ужас жизни, как она есть сама по себе, на самом деле!..

— Ужас, ужас!.. на самом деле! — откликнулось эхо.

— Но мы еще наполним соленые моря лимонадом, — вспомнил я бодрюю дядину прибаутку, — проворные анти-акулы с готовностью будут загонять рыбу в сети, тяжелые анти-киты будут возить против ветра грузы.

Люди будут жить общими страстями и страстными влечениями. «Кабалетта» — страсть к интриге, «папильона» — страсть к переменам, «композита» — слепое увлечение, разумно направленные, принесут великую пользу и великие радости! Средний возраст человека достигнет 144 лет. Из них 120 будут отданы деятельному упражнению в любви!

Легко на помине дядя тяжело и быстро заколотился в двери.

— Мерзавцы! Пустите старого большевика водку пить с выдвинувшимся родным племянником! — забарабанил в дверь кулуаров двоюродный дядя.

— Какой шюмный у тебя дядя, товарищ Штукатуров... Пустите, пустите старого козла в огород. Налейте стакан джигиту. Почему переехал насовсем из Кремля, товарищ Фиктив-Огарев, почему не видно в Президиуме Верховного Совета, почему закрыл институт революционной гигиены труда, не кажешь глаз в ЦК?

— Я? Я почему?! — наливаясь краской ярости, как помидор, повторил дядя.

— Ты, ты, о тебе разговор. Хорошо, шутки в сторону. Партия решила поручить тебе, мой добрый старый товарищ, судьбу Центральной комиссии партийного контроля. Очисти нам, старый товарищ, партию от врагов, от прилипал... от перерожденцев, а помощником... заместителем Народного комиссара внутренних дел, возьми своего драгоценного для нас племянника.

— Товарищ Сталин, ну какой из меня народный комиссар? — осторожно спросил я, — мне надо начинать первую серию вычислений на нашем «Великом и Последнем искусстве».

— А вот товарищ Микоян говорит и правильно говорит, что у нас каждый гражданин СССР — сотрудник наркомата внутренних дел.

— Микоян хорошо сказал! — подтвердил дядя и добавил: — При мне в первый раз...

— А то, что получается, — продолжал Сталин, — арестовывают все кому не лень. И кто, собственно, не имсет никакого права арестовывать. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Действуют по правилу: сначала арестуем, потом разберемся! Сначала разберись, а потом арестуй! Правильно я говорю, товарищ Штукатуров?

— Правильно, товарищ Сталин.

— Я хочу выпить с таким замечательным Первым заместителем комиссара безопасности. Выпить на брудершафт.

Мы выпили и расцеловались.

— А теперь будем расходиться по одному, по два.

Вожди задвигали стульями, закашляли.

— Товарищ Штукатуров, Жэня, задержись на минутку, — сказал Коба, — хоть и просидели мы вместе целый год в одном тесном каменном мешке злошей тюрьмы, ныне города-героя Батуми, хоть и одновременно вошли в ЦК на Пражской партконференции незабываемого 1912 года, я все ж таки хочу тебя немного поучить и предупредить. Ты знаешь, что такое диктатура пролетариата?

— Коба, я не знаю... — честно признался я.

— А я знаю. Меня товарищ Ленин научил. Служай: научное понятие диктатуры пролетариата означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютными правилами не стесненную, непосредственно на насиле опирающуюся власть. Понял?

— Понял, — твердо отвечал я.

— Ничего ты не понял. Учение Маркса вызвало к себе во всем мире с момента появления величайшую вражду и ненависть всей буржуазии и либеральной науки, которая видела в марксизме нечто вроде вредной секты. Но вредная секта, низы, подонки общества выиграла в этой революции и установили свою кровавую диктатуру. В огненной печи пролетарской диктатуры мы, подонки общества, уничтожили цвет русского древа, его благородную крону. Но это еще не конец. Помнишь, в 17-ом Владимир Ильич сказал нам с тобой, Стасовой и Иоффе, когда без труда взяла власть: будет очень много крови, и у кого нервы слабые, пусть лучше уходит из ЦК...

— Ну, я, пожалуй, пойду, — потихоньку двинулся я к выходу, но Сталин попридержал и продолжил: — У нас у всех руки по локоть в

крови. Этого не надо стесняться. Или как ты, делать вид, что ничего не происходит. В стране несомненно идет своеобразное творчество. И в этой стране у тебя большое будущее. Я тебя поздравляю с назначением на пост первого заместителя народного комиссара водного транспорта. Помоги и там нашему товарищу Ежову. Он стал уставать в последнее время на работе.

— Никак не получится, Коба! Ну никак...

— Пачиму?

— Напрасно дух о свод железный

Стучится крыльями скользя.

Он все один над той же бездной,

Упасть в соседнюю нельзя...

— Можно, можно и в соседнюю, если партия попросит. Еще и за Большим театром присмотри, ты у нас большой специалист по театральному делу.

Мы стали спускаться по лестнице к выходу.

— А что переписываешься с Людвигом Фейербахом, это хорошо. Работы, вошедшие во второй том его сочинений, оказали большое значение в становлении марксизма и являются «фейербаховским» периодом в развитии воззрений Маркса и Энгельса. Проводите, товарищ Каганович... И последнее. Где твой партбилет, Женя?

— Какой-какой билет, — не понял я.

— Вот твой партийный билет, — Коба вытащил из нагрудного кармана красную картонку.

— Да, это Лаврентий всунул, в шутку, на аэродроме. Это партия (б)

— Батуми!.. — тут я некоторое время смеялся, как при посадке в самолет.

— Это партия большевиков, Женя... Ты теперь у нас будешь и секретарем ЦК!

— Коба, ну какой я, к черту, секретарь ЦК? — попробовал я замять дело.

Но Сталин уже подзывал Кагановича.

— Товарищ Каганович, проводите, покажите товарищу Штукатурову, где у нас находится Лубянка; помещение Наркомата Внутренних дел.

Мы вышли с Кагановичем из Большого театра. Толпа на театральной площадке сразу узнала своих героев.

— Да здравствует бывший Первый секретарь Московского горкома! А ныне железный Наркомтяжпром и Главный железнодорожник страны! Товарищ Каганович! — неслось над площадью.

— Да здравствует верный сын партии, секретарь его Сталинского ЦК, гениальный русский самоучка, создатель «Великого и последнего искус-

ства», товарищ Штукатуров. Железный заместитель железного наркома внутренних дел, железного товарища Ежова!

Мы пробились к дверце, забрались на заднее сиденье, и Каганович стал душить мое хрупкое уставшее горло.

— Ты откуда такой взялся?! Мы пресажали всех первых секретарей комсомола! Рывкина, Шацкина, Цейтлина, Смородина, Чаплина.

— Товарищ Каганович, я не из комсомола, — вяло отбивался я. — Я из... стакана в кувшин, из кувшина на ладонь, с ладони на плетку, с плетки на коня, из коня в тридцать воронов, из воронов в тридцать молодых.

— Уничтожу! — хрипел в ярости Каганович.

— Товарищ Каганович, вы же железнодорожник. У меня Михмай тоже лежал долго под паровозом. Мы его так и зовем — паровозником. Лучше людей просто нет.

— Уничтожу! — скрипел Каганович до самого наркомата, где, наконец, я выволокся из машины наружу. Боже мой, любезный Людвиг, этот железнодорожник испытывал ко мне такую же ненависть, как моряки Аякса и их вождь к путешествующему Одиссею.

Как ты там писал в своем прекрасном венецианском письме: «Тихо подплыла наша гондола к отелю Кавалетта. Внесли наши вещи и отвели нам комнаты. Моя не была велика».

Великий Боже! Я вспомнил, что до сих пор нахожусь в железном колпаке Василия Блаженного. С холодным ужасом я сбросил его и заменил на сине-зеленую фуражку НКВД с красным околышком, власяницу, которая неверно сохраняла неверное тепло заменил форменным кителем с тремя большими звездами на рукавах, металлы на ногах уступили место яловым самогам. И все это сверху накрылось возлюбленной небесно-голубой шинелью.

Меня провели в мой кабинет на пятом этаже с дубовыми дверями. От моего предшественника на огромном столе остались три записки. Я прочитал первую: «Ленин. Суд должен устранить террор, а обосновывать и узаконить его принципиально». Вторая: «Во время проведения ночных операций по контрреволюционному элементу требуются ночью машины. Три раза просил Рязанова дать машину на ночь, он отказал. Все эти факты определяю как начало загнивания коммуниста и при таком поведении он может запросто потерять партбилет». И третья: «Некто Капитонов говорил, что коллективизация сельского хозяйства совсем не нужна, она привела советский народ к голоду: троцкисты, бухаринцы не такие уж плохие люди, как о них пишут и говорят. Бахвалов говорил поздней осенью тридцать шестого года, что мы потребляем сейчас меньше, чем раньше. А Войцеховский о наличии в колхозах и совхозах экономического неравенства».

Любезный Людвиг! Я разложил перед собой документы о сорока вскрытых в партии заговорщицких групп и организаций и решил засесть на всю ночь. Среди них фигурировали: «Военно-эсеровская организация», «Террористическая группа в Политуправлении РККА», «Шпионская вредительская организация в Восниздате», «Террористическая группа в Центральном Доме Красной Армии», заговорщики из санитарного управления РККА, офицерско-монархическая организация, запасной троцкистский центр в Киевском Особом военном округе, повстанческая организация в Приволжском военном округе, террористическая группа в Академии Генштаба, заговорщическая организация в двадцать четвертой дивизии.

В кабинет мячиком впрыгнул Ежов.

— Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза!

— Ну что, подлец, рад?! Думаешь, стал первым в Москве?

— Да не держите вы в голове, Николай Иванович, — отвечал я. — Не мне вам рассказывать, какой кабинет я занимаю. Всю середину 30-х просидел Реденс. В 37-ом расстреляли. Стал Петровский. Через три недели застрелился здесь же, не отходя от кассы. Сменивший его Якубович был арестован почти сразу же. На два дня пришел Каруцкий. В первый день успел представиться офицерам Управления, а на второй день застрелился. Назначили Коровина, сменили Журавлевым. Теперь я сижу. Что тут особенного нового? Кто прискал из Семипалатинска и дал по морде сверхтроцкисту Серебрякову?

— Я! — отчеканил Ежов.

— А-а. Сразу догадался. Такой человек вы у нас один, Николай Иванович. Других таких нет.

— Уничтожу! — пообещал Народный комиссар государственной безопасности Союза ССР и вышел.

Зазвенел телефон.

— Штукатурова!

— Дорогой дядя, это вы?

— Это Комиссия партийного контроля говорит, — официальничал дядя. — Сейчас к тебе привезут на допрос мерзавца Молотова. Не миндальничай с ним.

— О Господи!

— Да. Агентура Ватикана!

— Дядя, а нас за это не...? Все-таки как-то неудобно — Председатель Народных Комиссаров.

— Да я его старше на несколько лет! Я годами с Рыковым на бильярде играл... Какой он председатель, когда у тебя на Лубянке сидит. Не дергайся, хозяин нам его продал. На него есть уже несколько пудов показаний по Свердловской и Куйбышевской области. Сейчас тебе его Ушмировский подвезет. Один из лучших реабилитированных следователей. Верни ему, кста-

ти, орден Ленина. Отдай пока свой, я тебе другой выпишу. И не тяните, не канительте с троцкистско-зиновьевским отребьем.

— Дядя, а вы случайно не знаете по партийной линии, где мои Михай с Шивозником, может вы забыли, это мои лаборанты по качественному анализу.

— Шивозник у тебя на Лубянке, во внутренней тюрьме, на мясорубке, а Михай сам ищи.

— Старший следователь по особо важным делам Ушмирский явился к месту прохождения вдохновенной службы, — отрапортовал Ушмирский.

— Серп и Молот с тобой? — имея в виду преступного Молотова, спросил я.

— Так точно!

— Молодцом. Партия возвращает Вам, Ушмирский, ошибочно отобранный орден Ленина... На днях возвращает и поручает Вам ответственное задание.

— Со дня прихода Николая Ивановича Ежова я работал не покладая рук на пользу партии и советской власти, — плаксиво затараторил Ушмирский.

— Партия вас обнимает как товарища и приветствует!

— ... Разоблачил таких заговорщиков как Чубарь, Постышев, Коссиор, Эйхе, Мирзоян, Глинский, — начиная захлбываться слезами, говорил Ушмирский. — Одно ознакомление с томами каждого из этих дел покажет, сколько сотен и тысяч заговорщиков я вскрыл. Сколько шпионов разоблачил.

— Партия верит вам как никогда прежде! — успокаивал я как мог.

— Во всем наркомате знали, что вряд ли кто из следователей, — разревелся Ушмирский не на шутку, — обрабатывает так тщательно своих арестованных, как я выкачивал из них факты.

— Знали и знают, — поддерживал его я на плаву, но Ушмирский уже во всю размазывал слезы по щекам.

— Мой арест в ночь с 24 на 25 в Хабаровске потряс меня так, как я никогда ни в чем не отступал от сталинской линии партии, свято относился к партийным и государственным обязанностям и по мере сил боролся со всеми происками контрреволюции. А мне пришили...

— Что пришили?

— Сионистскую организацию на Украине и предложили дать правдивые показания. Попробовал протестовать... Тогда меня стали бить. Мысленно не расставаясь сердцем с Николаем Ивановичем, я заявил, ссылаясь на его указания, что бить надо тоже умеючи, на что мне цинично ответили: Это тебе не Москва, мы тебя уьем, если не дашь показания!..

— Ну вот, и слезы в три ручья. А еще заслуженный чекист СССР.

Ушимирский захлебнулся, ухнул и, наконец, вновь обрел священный дар речи:

— Мне и самому приходилось бить, — серьезно сказал он, — в Лефортовской тюрьме (и не только там) врагов народа, но мы не били так зверски... Так зверски мы не били! — убежденно повторил он. — И у меня не было представления об испытываемых муках и чувствах. К тому же допрашивали и били по необходимости — и то действительных врагов народа, не считая нескольких отдельных случаев, когда мы арестовали ошибочно, но быстро, благодаря Николаю Ивановичу, исправляя свои ошибки.

— Есть наметки, счастливые прикидки, как будете работать по делу?

— Предупрежу, что возьмем жену — и начнем писать. Откажется — будем бить, — решил Ушимирский.

— Если дело пойдет, поднимайтесь без звонка прямо ко мне.

Ушимирский развернулся и вышел.

Я связался по телефону с начальником внутренней тюрьмы и приказал разыскать некоего Шивозника и срочно известить о находке.

К моему удивлению в кабинет вошли Ушимирский и Молотов с письменными принадлежностями.

— Ну что, Молотов, я мну подушку невзначай, потом встаю чуть-чуть скучая, я буду пить китайский чай, я не желаю жить без чая... — такая у вас, кажется, любимая попевка, — приветствовал я вошедшего.

— У меня?! — изумился бывший Председатель Совета народных Комиссаров, но вдруг схватился обеими руками за рот и стал раскладывать письменные принадлежности.

— Уже пишем, — сообщил следователь.

— Устраивайтесь, раскидывайтесь, как бог на душу положит, — освобождал я лучшую часть стола.

Без лишних слов Ушаков-Ушимирский приступил к диктовке.

— Преступно решив уехать из России, мы с преступной моей женой Полиной начали систематически готовиться к этому, изучая карту. Мы упорно изучали Южную оконечность Крымского полуострова и провели пальцем линию до Турции, где я бы мог обратиться в датское посольство и оттуда позвонить Нильсу Бору!

Серп и Молот невольно вскрикнул.

— Этого не надо, — строго сказал Ушимирский. — Этак с криками мы никогда не кончим. Оказалось, что расстояние до Турции составляет 170 миль. Так началась наша крымская кампания.

Ушимирский, начиная крымскую кампанию, расхотелся по кабинету, раскраснелся и восторженно декламировал:

— О том, чтобы нанять лодку и пересечь на ней Черное море, нечего было и думать. Как вдруг нам представился неожиданный случай. Одна московская фабрика начала производство маленьких складных байда-

рок, — радостно бросал он Молотову, объясняя возможно непонятные места. — На деревянный каркас натягивался резиновый корпус... Мне удалось раздобыть такую байдарку через спортивную секцию Дома Ученых, который и преступно оформил заказ на байдарку для испытания в открытом море. Ну вот, лодку раздобыли, — похвалил себя между прочим следователь. — Теперь надо продуктами в дорогу заняться. Идем дальше. — В Москве с продуктами было туго? И мы, естественно, не могли раздобыть высококалорийных концентратов. Мы начали запасать яйца со штампами «экспорт», которые иногда появлялись в продаже. Мы варили их вкрутую и складывали впрок. Нам также удалось найти несколько плиток шоколада и две бутылки коньяку, которые пришлось весьма кстати в открытом море, когда мы вымокли и продрогли.

— Как находите? — замирая спросил Ушмирский.

— По-моему, нормально. И полуголодная Москва и преступный Дом ученых и яйца в обмен на божий дар Родины.

Ушмирский порозовел и вновь разбежался:

— С навигацией дело обстояло проще простого: нам нужно было держать все время на юг. У меня был карманный компас, — Ушмирский достал из кармана компас. — А ночью путь нам указывала бы Полярная звезда... Кроме того, я рассчитывал, что на полпути к турецкому берегу самая высокая гора на Крымском побережье Ай-Петри скроется слева за горизонтом, — Ушмирский посмотрел налево и что-то увидел впереди, — и вскоре на юге покажутся горы Малой Азии... Приехав в Крым в начале лета 37-го года, мы поселились на базе отдыха Дома ученых. И вот сразу после завтрака мы отчалили, — всем, кто отдыхал с нами на базе и ранним пташкам на пляже, кто махал нам вслед, — помахав, — мы сказали, что отправляемся в симеизскую обсерваторию, где заночуем, чтобы нас не ждали, когда мы не явимся к ужину...

Резко взвизгнул телефон. Я снял трубку.

— Почему задержали «Жизель» на семь минут?! — проорал кто-то в трубку.

— Ты куда звонишь, Вася? — мягко спросил я.

— Говорит комендант Москвы! Это директор Большого театра Штукатуров?! Почему занавес сегодня подняли на семь минут позже? Выяснить и доложить.

— Мерзавец, на коленях будет ползать, — обронил Ушмирский. — Так разговаривать с вожаком советских московских чекистов. А ты что заснул, спящая красавица, — дернул он Молотова за мочку уха. — Пиши, блажь, а то никогда не кончим.

— В первый день все шло прекрасно. Днем с востока подул легкий бриз, но гораздо больше нас смущала стая дельфинов, кружившая вокруг лодки.

Я решил разыскать-таки Выжутовича по телефону:

— Что там у нас сегодня с «Жизелью»? Нет, лучше подъезжайте с докладом сюда как мой первый заместитель!

— ... Когда солнце зашло и наступила ночь, пришлось впервые отойти от первоначального плана: мы так устали грести, что перестали грести и устали. На утро положение осложнилось — ветер усилился настолько, что срывал пену с гребней волн, — Ушимирский помрачнел и завис над писцом, как коршун, будто боясь, что тот исчезнет между волнами. — Жена моя, преступная Полина, едва успевала вычерпывать воду, я же мог лишь подгрести, чтобы удерживать лодку носом вперед. Ветер толкал меня в грудь, и лодка пятилась назад (старшего следователя по особо важным делам действительно довольно живописно толкало взад-вперед). На рассвете мы заметили землю! Выбравшись из лодки на берег, мы предстали перед изумленными татарами Балаклавы, в 70 милях от Алупки. Вернувшись на базу, мы рассказали, как вчерашний бриз отнес лодку в открытое море, и наше объяснение было принято как официальная версия происшедшего.

— Ну вот и ладненько, вот и умничка. Ручная, тонкая работа, — похваливал себя Ушимирский, пробегаая текст и приказывая еще добавить:

— Не знаю, многие ли поверили этому, хотя, с другой стороны, трудно представить себе, что кто-то мог решить, будто мы собирались бежать в Турцию!

— Как находите?! — передавая мне текст, спросил Ушимирский.

— Точно случилось жемчужную нить, подле меня тебе врозь уронить, — отвечал я.

Зазвонел телефон.

— Большой театр слушает! — снял я трубку.

— Инженер, это я! Шивозник!

— Око мое, ты откуда доносишься?

— Я из Фуркасовского переулка.

— Кто знает, где Фуркасовский переулок? — спросил я у своих.

— Это тюремная пристройка к нашему зданию, — объяснил Ушимирский.

— Око мое, что ты там в тюрьме делаешь, я понять никак не могу?!

— Мой инженер, товарищ Сталин послал меня монтировать здесь наше «Великое и последнее искусство», а товарищ Молотов переставил на большую мясорубку. О мой инженер! Это настоящий народовольческий корпус, как говорят, почти такой же, как в Шлиссельбурге. Межэтажных перекрытий нет, этажи соединяются железной винтовой лестницей.

— Да и черт со всем этим! Надо рвать отсюда когти!

— О, мой инженер! В случае побега арестант бежит по железному настилу, который грохочет при каждом его шаге, а когда уже спускается по винтовой лестнице, то попадает под огонь центрального поста.

— Сейчас пришлю наряд и вся недолга. В каком мы там номере?!

— О, мой инженер! У меня никаких жалоб. Меня поместили пожить в одиночку, в которой стоит железная кровать и такой маленький столик. На кровати белье, одеяло и подушка.

— Совсем рехнулся. А куда Михмай подевался?

— В Бутырках.

Любезный Людвиг! Надо было вытаскивать и моего «паровозника», который итак в этой жизни так долго лежал тяжелым.

— Послушайте, Молотов, по-моему вы развлекаетесь не по средствам. Коба посылает Шивозника клепать «Великое и Последнее искусство», ты, сука, ставишь на какую-то большую мясорубку и человек уже, хорошенькое дело, ночует в одиночной камере с туалетным столиком!

— Осталось убийство Дзержинского, Менжинского, Куйбышева, Кирова, Горького и Максима Пешкова. И Ленина, — доставал бумаги Ушимирский.

— Я категорически отрицаю эти обвинения, — неожиданно заявил Молотов, протерев чистой скатертью грязное пенсне.

Ушимирский стал закатывать рукава.

— Категорически отрицаю свое знакомство с Шаранговичем. Впервые узнаю про существование Максимова, никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Козаковым. Категорически отрицаю свою причастность к убийству Менжинского, Куйбышева, Кирова и Ульянова-Ленина.

— Ну, что ж, Вячеслав Михайлович, с вашей редкой по нашему времени марксистско-ленинской подготовкой нетрудно догадаться, что в таком случае Сергея Мироновича мы ухлопали с Николаем Ивановичем и Ушимирским третьим. Сталинский ЦК на этот гнусный подлог не пойдет никогда. Ушимирский, уведите!

— Ну, что хорошего, что смешного у нас в Большом театре? Товарищ Выжutowич, — поприветствовал я Выжutowича, столкнувшегося с товарищем Кагановичем при входе, — что там происходит с нашей девушкой «Жизелью»?

— Так потихоньку, полегоньку, без особых приключений... — ознакомил с положением дел Выжutowич. — Даже благодарности есть.

— Зачитайте, мне тоже будет очень приятно.

— 7-го мая мы, рабочие завода «Серп и Молот» отдела главного механика просмотрели оперу «Садко». Постановка нам понравилась! Теперь хотим отметить некоторые недостатки. Во-первых, когда Садко должен тонуть, то он очень долго тонет. На дне очень много артистов, и это отвлекает от Садко. Очень высокие дома в Нижнем Новгороде.

— Ну, черт с ней, с благодарностью. А что хорошего из хроники за месяц?

— Девятого. Риголетто. Сиорафучил перестарался. Передавая Риголетто мешок, так затянул в нем узел, что тому пришлось узнать Джильду, не раскрывая мешка.

— Совершенно недопустимо. Далее.

— Десятого. На сцене крик, шум, гам, пыль столбом. Рабочий сцены вместо того, чтобы подать на двухметровую высоту площадку весом в два пуда, бросил ее оттуда. Площадка упала и лишь случайно не убила электроосветителя. В трюм глубиной в 15 метров упало солнце, луна и люстра.

— Какой кошмар.

— Двенадцатого. «Псковитянка». В прологе артистка Кругликова — мать — укладывая ребенка, внесла его в колыбель ножками вперед... В результате образ матери — дискредитирован.

— Совершенно недопустимо впредь! Дальше.

— Двенадцатого. «Псковитянка». Для расправы с мятежным Псковом прибыл с опричниками Иван Грозный. Для псковитян момент действительно серьезный. Предстоящая расправа должна вызывать ужас и содрагание, но артисты разулыбались, строили глазки царю. Стеша кокетничала. Окруженный заигрыванием и улыбками сам Грозный обмяк, растаял, превратился в доброго старого папашку.

— Какой кошмар! Дальше.

— Двенадцатого. «Псковитянка». В сцене «Вече» совершенно неожиданно посреди действия, на глазах у зрителей двое псковичей, стоявших на лобном месте провалились на ровном месте сквозь землю и исчезли...

— Совершенно недопустимо.

— Пятнадцатого. Имеются такие артисты оркестра, которые не все написанное играют, не все выигрывают. Следует добиться полного выигрывания всего написанного.

— Следует.

— Шестнадцатого. В антракте «Лебединого озера» в оркестровом фойе несколько артистов оркестра играли в шашки на деньги. Игра на деньги в стенах Большого театра продолжается!

— Тихо, тихо, товарищ Выжутович, — попросил я.

— Кто-то бросил на доску играющих платок, шашки полетели на пол. Оркестрант Б. ударил кулаком по лицу оркестранта Р. К нашему стыду мордобой все еще продолжает иметь место в стенах Большого театра Союза ССР! Мордобой процветает!!!

— Тихо, тихо, тихо, — еще раз попросил я.

Прзвонил телефон.

— У тебя, что, Дыбенко на ковре?! — спросил Ежов.

— Да работаем без особых приключений, — успокоил я.

— Еще что хорошего, товарищ Выжутович?

— Позвольте ознакомить с итогами проверки партдокументов членов и кандидатов в члены ВКП(б) Большого театра Союза СССР.

— Да это интересно.

— Отсутствие бдительности, ротозейство, благодушие и политическое слабоумие способствовало принижению в партию классовых врагов, не разоружившихся троцкистов-зиновьевцев.

Шпирук. Член ВКП(б) с 21 года исключен за утерю двух партбилетов и за слабое общее понимание вкруг происходящего.

Орлов А.Е. Член ВКП(б) с 30 года исключен за неуплату членских взносов с несерьезных заработков.

Астахов П.Ф. Исключен как балласт.

— Давно пора. Надосл. Ну, что, товарищ Выжutowич, своеобразное у вас учреждение. Вот послал господь работенку...

— Да не держите в голове, товарищ Штукатуров! Раз сидели мы, в восемнадцатом году, тоскуя, в редакции уже закрытой большевиками социалистической газеты «Власть народа». И было уже время расходиться. И один из членов редакции, стоя уже со шляпой в руках у двери, вдруг обратился к нам: А помните ли вы, господа, городского?

Все удивились немножко.

— Помните ли вы, — продолжал тот, — этого скромного труженика, который за какие-то сорок рублей в месяц и днем и ночью охранял наш с вами покой. И с семьей ухитрился жить на эти гроши... Когда нужно обмерзал на посту, когда нужно погибал от пули. Помните ли вы его?

— Помним, — отозвались голоса смущенно.

— А помните ли вы, как звали мы его за все это?

— Помним. Фараоном...

— А как, господа, по совести: ведь стыдно?

— Немножко стыдно... — сознался кто-то.

— Ну, слава Богу, хоть немножко.

— Спасибо, успокоили, товарищ Выжutowич, — поблагодарил я с некоторым сомнением.

Прозвенел телефон.

— Ну и нюх у Ежова, — подумал я. Но это оказался на этот раз не он. В трубке я узнал голос Михмая.

— Мой инженер, это я!

— Тумбочка, на которой стоит телефон, кому принадлежит?!

— О мой инженер! Мне тут объясняют, что тумбочка принадлежит Бутырской тюрьме, одной из старейших в Москве.

— Да черта лысого ты в Бутырках делаешь?!

— Я тут нахожусь по прямому распоряжению товарища Кагановича. Нас в камере 100 человек, но никто ничего не делает... Жалоб не имеем. Мой инженер, у нас здесь самоуправление! Даже интересно. В старой тюрьме остались неписанные традиции прошлого. В каждой камере кроме вы-

борного старосты есть еще культорг и комбед. Староста поддерживает порядок, культорг получает книги в библиотеке, а комбед кормит тех, у кого нет денег. Каждые десять дней можно выписать ларек за 10 рублей...

— Ну-ка передай, балбес, трубку, кто там рядом из начальства! — приказал я. — Ну, что ж, товарищ Выжутович, не смею больше задерживать! Заходите каждую среду после спектакля, часиков в двенадцать ночи.

Выжутович столкнулся при выходе с Ушимирским.

— Сегодня много работы, — заметил Ушимирский, пропуская вперед Кагановича в сопровождении двух стрелков. Посадив его на место Молотова, Ушимирский первым делом поинтересовался:

— Зачем вы обманули партию, Каганович?!

— Каганович, — эхом отозвался Каганович.

— Зачем вы взяли данные о весе поезда, скорости, среднесуточном пробеге в девяностых годах прошлого века и в нынешнем 1937-ом и получилось, что интенсивность эксплуатации вагонного парка возросла в 2-3 раза, а уровень ремонта остался прежним?!

— Кто это все сделал?! — в ярости прохрипел Каганович в полужабытьи.

— Из этого вы сделали вывод о необходимости ремонтного срока для вагонов, чтобы изъять вагоны из рабочего парка... Сорвать план перевозок и в обстановке анархии и хаоса заставить прибегнуть к услугам вашей личной мышины дороги. Установить личную диктатуру и поставить партию на колени!..

— Всем членам ВКП(б)! Каганович арестован! — заорал вдруг Каганович. — Суки арестовали Кагановича!

— Вам нужно сделать выбор — бороться с органами или помогать нам. Никто не считает вас неисправимым контрреволюционером, — успокаивал его Ушимирский. — Ведь вы были секретарем ЦК? Вы попали под скверное влияние.

— Всем мыслящим людям стало безумно тяжело жить! — словно в бреду заявил Каганович.

— Вы еще молоды. Все еще поправимо, — успокаивал Ушимирский. — Нужно признать участие в антигосударственной деятельности, признать факт вредительства и выступить на открытом процессе.

— Товарищи по крови! — заорал Каганович. — Снимите ваши шапки перед страданиями ваших товарищей по борьбе.

— Вашу группу будет судить Верховный суд, вы будете осуждены и получите 8-10 лет. Коли вы ничего не признаете, то все равно будете осуждены. Но просидите от звонка до звонка.

— Каганович? От звонка до звонка?!

— Вы еще во власти буржуазного предрассудка, впитанного с молоком матери, — попенял Ушимирский. — Будто судить должно не исходя из политических указаний партии, а из соображений высшей справедливости. Если подпишите — после осуждения, как бывший железнодорожник, попадете в транспортный отдел БАМа или Москанала...

— Будете жить с женой, с Кагановичехой, в домике для специалистов. И через два-три года освободитесь с орденом... Мы еще с вами, Лазарь Моисеевич, на охоту будем ходить!

— Ну, что вы сидите, Каганович, как честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, — сказал я путейцу. — Вы способный молодой человек...

— Мы давно следим за вами, — подхватил Ушимирский. — В системе НКВД будете работать не хуже, чем в НКПС...

— Честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим... — с особенным чувством повторил Каганович.

— Послушайте, Лазарь, зачем вы взяли данные о весе поезда, скорости и среднесуточном пробеге?!

— Кто это все сделал?! — в ярости заклекотал путейец.

— Ай-яй-яй, — укоризненно пожурил Ушимирский. — Прикидываетесь, будто только сейчас родились? Учтите, Каганович, у нас проходил по делу один фрукт, учившийся в Пражском университете, так он записал к себе в сообщники Гец фон Берлихингена — представителя немецкого рыцарства... В расчете, что мы идиоты. А тот рыцарь, якобы, умер в 1562 году. Так трибунал НКВД быстро выписал по расстрелу этой парочке. Разоружайтесь перед партией, Каганович. Перестаньте изворачиваться и лгать перед ЦК! Вы знаете, что итальянец Зелотти заставил стрекотать мертвого кузнечика? А партия проденет вам через глазницы конский волос, с внутренней стороны, и перепилит переносицу и правильно сделает.

Вошел курьер и откозыряв положил конверт под расписку. Я вскрыл его. Великий Боже! Любезный Людвиг, это было письмо от тебя.

Я вышел в соседнюю комнату, тем более, что Каганович уже стал нести полную околесицу про какую-то «внутреннюю свежесть всего существа»...

— Драгоценный Евгений! — писал ты. — Я рад, что Революция оценила тебя сполна! Теперь, подобно Лазарю Карно и Гаспару Монжу, ты не только генерал от математики, но и генерал от революции. И как знаменательно, что ты у нас потомственный артиллерист! С артиллеристами так всегда бывало. Вспомни, декретом Конвента от 7-го вандемьера III ода Республики Единой и Неделимой, то есть в 1794 году в Париже основывается Центральная Школа общественных работ, которая через 11 месяцев декретом 15 фруридора того же III года, то есть 2 сентября 1795 года переименовывается в Политехническую школу, в

связи с которой образуется 9 артиллерийских училищ, военно-инженерное, путей сообщения, горное, топографическое, корабельных инженеров, навигационное.

Успехи наполеоновских войн обязаны и Друо, ставшем вскоре начальником всей артиллерии; Лагранж говаривал, что за всю его долготную деятельность в качестве главного экзаменатора по математике оканчивающих Школу, лучшие ответы получал он от Друо.

Итак, ты переехал из собора Василия Блаженного, чья шумная сень дала так много, и вошел в кремлевский инженерный эксперимент, где, безусловно, можешь многое сделать по его теории.

Ты стал членом Политбюро партии большевиков, получил в свои руки могущественный Наркомат внутренних дел (в товариществе с маршалом Ежовым) и жалуешься, что ты еще и директор-распорядитель Большого театра и, что, действительно несколько странно, Наркомата водного транспорта (опять же в товариществе с Ежовым).

Но, друг мой, симметрия проявления жизни была охвачена обобщающей мыслью гораздо менее, чем симметрия твердого тела. Станным образом учение о симметрии оставлено без внимания тысячелетней философской мыслью. Недавняя попытка связать это понятие с Лейбницевским принципом достаточного основания, впервые, кажется, сделанная философом и математиком Федерико Энриксэном, явно недостаточно глубока.

Учение о симметрии разработано, главным образом, минералогами и математиками. Морфологи биологи работают над симметрией вне учения о симметрии, его не зная и его не учитывая.

Ярко видна особенность симметрии жизни хотя бы из одного факта. Ось симметрии 5-го порядка, неразрывно связанная с «золотым или божественным сечением», отражающемся в нашем сознании красоты, занимавшим мысль Леонардо да Винчи, Иоганна Кеплера. А между тем, эта пятерная симметрия играет видную роль в геометрии, она определяет один из пяти многогранников, которым Платон придавал огромное значение в строении мира.

Но вернемся в присланному тобой мемуару в продолжении теории катастроф. Конечно, краеугольным камнем любой математической теории является непременно приведение доказательств всех ее утверждений. Конечно, математика вынесла бы себе смертный приговор, если бы она отказалась от вынужденных доказательств. В своем анализе катастрофы армии Самсонова ты используешь всю область возможных рассуждений и даже скользишь по самому краю возможного. Невероятная эффективность математики в естественных науках есть нечто граничащее с мистикой, ибо никакого рационального объяснения этому факту нет. Определенные аспекты реальности, как будто бы в результате предопределения укладываются в некоторые аксиоматические формы математики.

В том-то и состоит секрет гениальной продуктивности, чтобы по-новому ставить вопросы, предугадывать новые теории, выводить важные следствия и обнаруживать взаимосвязи. Если бы математика не выдвигала новых точек зрения, не замсчала новых целей, она очень скоро потеряла бы строгость своих логических рассуждений, пришла к застою, а вслед за тем и к оскудению самого предмета.

Повторяю, ты на пороге создания полной, окончательной и отныне классической теории катастроф!

Мне особенно импонирует в твоих записках всепроникающее историческое чутье, ты все угадываешь в исторической перспективе. Легко подчеркивая, что знание начинается, так сказать, в середине, и теряется в неизвестности не только вверху, но и внизу. Наша задача рассеивать тьму в обоих этих направлениях, а абсолютный фундамент, этот огромный слой, поддерживающий своими могучими плечами крепость истины, останется скорее всего вымыслом...

.....

От редакции. На этом месте в рукописи провал. События вновь продолжаются через полтора года с осени 39-го, с присутствия автора на заседании Политбюро в Крсмле.

— Что новенького, что хорошенького в главном театре страны, товарищ Штукатуров, в Большом Академическом театре Союза ССР?!

— Да ничего, Коба, новенького. Вчера на «Пламени Парижа» перед открытием занавеса лошадей не оказалось. Герцогу пришлось давить французскую крестьянку собственными ногами...

— А что там происходит у вас с «Катериной Измайловой»?! Что вы там написали с Шостаковичем?! Смотри, что «Правда» показывает: «Эта музыка умышленно сделанная “шиворот-навыворот” — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку. Следить за этой “музыкой” трудно, запомнить невозможно. И все это грубо, примитивно, вульгарно... Эта игра в заумные вещи может очень плохо кончиться». Значит сумбур вместо музыки?!

— Коба, ты же знаешь, я музыкальных произведений давно не пишу.

— А зачем ставишь? Кстати... Как идет подготовка политически важного спектакля «Гугеноты»?

— Да как она может идти?.. Через пень-колоду... Как еще? До сих пор не установлено, кто ставит балет в опере. Работает один лишь хор гугенотов. Шум, гам. Основная беда в том, что отношение гугенотов к важнейшим производственным задачам во многом определяется сильно рас-

штанной в коллективе гугенотов трудовой дисциплиной, отсюда безответственность гугенотов, а порой и наплевательское отношение к своим гугенотским обязанностям. Да что «Гугеноты»! «Псковитянку» не могут сыграть по-человечески! Вот двенадцатого. Для расправы с мятежным Псковом прибыл с опричниками Иван Грозный. Для псковитян момент действительно серьезный. Предстоящая расправа должна вызвать ужас и содрагание, но артисты разулыбались, строили глазки. Стеша кокетничала. Окруженный заигрыванием и улыбками сам Грозный обмяк, растаял и превратился в доброго старого папашку. И это Римский-Корсаков...

— Карашо, — махнул рукой Сталин. — Это Большой театр. Неполадки в пробирной палатке. А что у вас происходит в Енисейском пароходстве?!

— Где?

— Вы же у нас нарком водного транспорта Два! После преступного Ежова. Зачитайте, товарищ Маленков, письмо из тех краев.

Маленков поднялся, разгладил свое бабье лицо и заканючил: «В 1939 году нас из Елецкого политизолятора, измученных режимом, цингой и дистрофией, привезли в Красноярскую пересыльную тюрьму. Оттуда погрузили на деревянные баржи, оборудованные восьмیارусными нарами, и на буксире колесного парохода «Марина Ульянова» вслед за ледоколом повезли по Енисею в Дудинку.

Этот этап длился два месяца. Кормили затирухой: смешивалась вода из Енисея, соль и мука. Весь рацион составлял три черпака на душу. Вместо посуды каждый получал затируху кто в ботинок, кто в фуражку, шапку, рукав или полу пиджака. Алюминиевые ложки отобрали, а деревянных не дали. Поэтому кушать приходилось по-собачьи, вылизывать содержимое».

— Кто у нас в Наркомводе отвечает за Енисейское пароходство? — спросил Сталин, зорко озираясь.

— Штукатуров, — ответил Маленков.

— Так, так... Гражданин Штукатуров ничего не хочет сказать?

— До Енисея, товарищ Сталин, — далеко... И, так сказать, высоко!.. Пока еще из стакана в кувшин, из кувшина на ладонь, с ладони на плетку, с плетки на коня, из коня в тридцать воронов, из воронов в тридцать молодых...

— До Енисея далско. Харашо. А до Кремлевской стены? Гольцман был старый большевик и член коллегии аэрофлота. Его с почетом похоронили у Кремлевской стены. Зачем вы вовлекли его посмертно в контрреволюционную организацию, приказали вырыть его останки, сжечь, а пепел развезть?

— Вот это, по-моему, все как-то без меня обошлось... Не припоминаю...

— Не припоминаете... И отвечаете, как господин Вандервельде, бывший министр бельгийского короля, соавтор Версальского договора, председатель III Интернационала. А что вы сделали с нашим ленинским ЦК, гражданин Штукатуров?! Куда вы подевали за здорово живешь 98 членов и кандидатов в члены ЦК из 139 избранных на 17 съезде? Н.И.Бухарин — редактор «Известий», А.И.Рыков — нарком связи (до 1936 г.), В.И.Иванов — нарком лесной промышленности, Г.Ф.Гринько — нарком финансов СССР, А.П.Розенгольц — начальник управления резервов при СНК СССР (до этого нарком внешней торговли РСФСР), М.А.Чернов — нарком земледелия СССР, Т.Т.Ягода — нарком связи, А.Икрамов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана, И.А.Зелинский — председатель Центросоюза, — все 15 марта.

К.К.Стриевский — председатель ЦК профсоюзов рабочих тяжелого машиностроения, В.В.Птуха — второй секретарь Дальневосточного крайкома партии, Е.И.Вегер — первый секретарь Одесского обкома партии.

Я.Э.Рудзук — кандидат в члены Политбюро ЦК, заместитель председателя СНК СССР, И.А.Пятницкий — заведующий отделом ЦК партии, Я.А.Яковлев — заведующий отделом ЦК партии, В.И.Межлаук — заместитель председателя СНК СССР, М.Л.Рухимович — нарком ... промышленности СССР, В.П.Затонский — нарком просвещения Украины, Э.К.Прамнэк — первый секретарь Донецкого обкома, И.С.Уншлихт — секретарь Союза Советов ЦИК СССР, А.И.Стецкий — зав. отделом ЦК партии, Л.И.Лавренев — первый секретарь Крымского обкома партии, В.В.Осинский — начальник Центрального правления Нархозучета СССР, И.И.Пахомов — нарком водного транспорта СССР, Я.Б.Быкин — первый секретарь Башкирского обкома партии, М.Е.Михайлов — первый секретарь Воронежского обкома партии, У.Д.Исаев — председатель СНК Казахстана, В.П.Шубриков — второй секретарь Закарпатско-Сибирского Крайкома партии, А.С.Булин — заместитель начальника Главного Политуправления РККА.

А.В.Косарев — Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, А.И.Угаров — первый секретарь МК и МГК партии, П.И.Сморозин — первый секретарь Сталинградского обкома партии, Б.П.Позерн — прокурор Ленобласти, С.В.Косиор — член Политбюро ЦК, заместитель председателя СНК СССР, П.П.Постышев — кандидат в члены Политбюро ЦК, Л.И.Мирзоян — первый секретарь ЦК КП Казахстана, И.М.Верейский — первый секретарь Дальневосточного Крайкома партии. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на 17 съезде партии, репрессировано 98 человек.

В.М.Михайлов — начальник строительства Дворца Советов в Москве. И.Д.Кабаков — первый секретарь Свердловского обкома партии. П.П.Любченко — председатель СНК Украины, К.В.Уханов — нарком

легкой промышленности РСФСР, Б.А.Сесенов - первый секретарь Сталинградского обкома партии, Д.З.Лебедь — заместитель председателя СНК РСФСР, А.И.Криницкий — первый секретарь Саратовского обкома партии, И.П.Румянцев — первый секретарь Смоленского обкома партии, Б.П.Шеболдаев — первый секретарь Курского обкома, М.С.Хатасевич — второй секретарь ЦККА(б) Украины, М.С.Чудов — второй секретарь Ленинградского обкома партии, И.Ф.Кодацкий — председатель Ленсовета, Н.Н.Демченко — нарком совхозов СССР, В.И.Полонский — замнаркома связи СССР, А.С.Енукидзе — секретарь Президиума ВЦИК, — все 30 октября.

И.Е.Любимов — нарком легкой промышленности СССР, Д.Е.Сулимов — председатель СНК РСФСР, И.П.Носов — первый секретарь Ивановского обкома партии, Н.А.Кубяк — председатель Всесоюзного Совета по делам коммунального хозяйства при ЦИК СССР, — все 27 ноября.

Ш.З.Элиава — замнаркома легкой промышленности СССР, К.Я.Бауман — заведующий отделом ЦК партии, М.И.Колманович — нарком совхозов СССР (занимал этот пост до Н.Демченко), Н.М.Голлод — председатель СНК Белоруссии, М.О.Разумов, Н.П.Комаров — нарком коммунального хозяйства РСФСР, И.Г.Еремин — замнаркома легкой промышленности СССР, А.С.Кальнина — секретарь Воронежского горкома.

1938 год.

Г.И.Благоднаров — начальник Управления шоссейных дорог РСФСР, Г.Мусабеков — председатель СНК Закавказской федерации, Г.Н.Каминский — нарком здравоохранения СССР, К.В.Рындин — первый секретарь Челябинского обкома, Н.Н.Попов — секретарь ЦК КП(б) Украины, А.П.Серебровский — замнаркома тяжелой промышленности СССР, — все 10 февраля.

— Ну, что скажет на арсне лжи, предательства и чудовищных злодеяний самовлюбленный нарцисс и холодный эгоист?! Для которого трупы невинных людей, рабочих и крестьян, женщин и детей только средства достижения своих целей.

— Прошу разрешить мне рассказать подробно, — попросил я, поняв, что Коба сегодня не в настроении, — как я постепенно, начав с антимарксистских позиций в области науки, дошел до контрреволюционной подпольной деятельности...

— Это вы называете подпольной деятельностью. Вы уничтожали открыто и по плану. Сверху спускали контрольные цифры в обкомы и райкомы. Расстреливали целые райкомы, обкомы, крайкомы и наркоматы... А за ними новые составы партийных комитетов, которые едва успевали отмыть руки от крови. Органы НКВД сами арестовывают, сами проводят следствие, сами выносят приговоры, сами приводят их в испол-

нение. Следователи сами составляют и сами подписывают протоколы непроведенных допросов.

— Товарищ Сталин! — громко заявил я. — Партийность в математике — вот основной урок, который мы — математики-марксисты должны вынести из разгоревшейся дискуссии.

— Это вы называете философской дискуссией? А что вы сделали с Всесоюзной переписью населения 1937 года?

— В начале 1937 года, товарищ Сталин, я находился за границей, работал в «Сообщениях из Лейденской лаборатории»... — напомнил я.

— Ой ли, гражданин Штукатуров. Слишком знакомый почерк... Вы извратили, Штукатуров, итоги переписи! Каждая колонка статистических таблиц итогов переписи, каждая цифра этой колонки имеет крупное политическое значение. Перепись января 1937 года исчисляет население в СССР в 162 миллиона. Итоги переписи находятся в резком противоречии с исчислениями а) Госплана СССР для 1936 г. — 177 млн.

б) ЦУНХУ для 1932 г. — 165,7 млн.

то же для 1933 г. — 168 млн.

Если предположить, что перепись точно учла население и предположить так же, что исчисление населения Госплана и ЦУНХУ также точно, то придется прийти к чудовищному выводу, что 15-17 миллионов населения страны за 10 лет вымерло... Ясно, что мы имеем дело с порочными цифрами. Где люди, Штукатуров? Где миллионы людей? Куда вы их подевали в своем НКВД?

— Коба, у нас, у подонков общества, как ты говорил, большевиков ленинско-искровского направления, руки, конечно, по локоть в крови!

— И это говорит коммунист... Всего за эти два года было арестовано 1 млн. 372 тысячи 392 человека, из них расстреляно 681 тысяча 692 человека, в том числе по решению внесудебных органов 631 тысяча 897 человек. Количество арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности преступлениях в 1937 году увеличилось по сравнению с 1936 более, чем в 10 раз.

— А я что говорю, — подхватил я, видя, что, наконец, Коба сменил гнев на милость. — Мы счастливы, что живем в дни величайшей эпохи, рождающие прекрасных энтузиастов, одерживающих невиданные в истории победы. Эти победы прямой результат великой воли величайшего из советских людей, нашего любимого вождя товарища Сталина! — провозгласил я бодро. — Только за 1937 год товарищ Сталин подписал 383 списка, в которых значились сотни тысяч людей! Только за один день 18 октября Двойка в составе Ежова и Вышинского рассмотрела материалы в отношении 5552 человек. А наши чудо-богатыри Молотов и Каганович?!

— Ай-й-яй, Штукатуров, — пожурил Сталин. — Неумело пытаетесь перенести ответственность за избивание партийных кадров на ленинское Политбюро. Дошли и до этого. Не старайтесь понапрасну. У вас слыш-

ком заметный почерк. Зачем вы разгромили Государственный банк и сняли с должности Марьясина? Что вы сделали с так называемой Промышленной партией? Вы сами ее создали — сами уничтожили. Вы питаете звериную ненависть к старой интеллигенции. Куда вы подевали офицеров царской армии, выигравших нам войну? Вы и их уничтожили. Вы так понимаете дни аполоновской жизни, говоря на вашем языке. Харашо. Страх перед офицерами можно понять. Но зачем вы разгромили советское славяноведение, Штукатуров? Чем могло вам повредить изучение славян? Волк ненасытный! Зачем разгромил советское архивоведение?! Где директор Центрального архива Красной Армии Я.Я. Бумерг? Бывший директор Архива Октябрьской революции А.А. Копятевич? Бывший директор Государственного архива феодально-крепостнической эпохи Н.А. Лапин? Директор Центрального киноархива А. Минченко? Где директор Центрального государственного архива внутренней политики Крутыньсон? Чем вам помешал Крутыньсон? Вы, Штукатуров, заманили бедного Крутыньсона в столовую Большого Кремлевского дворца и там сожрали, как остальных! Посреди ваших безумствующих вакханок.

— Я сожрал?

— Вы сожрали! — повторил Сталин.

— Да я подобно кузнецу Гефесту только ковал громы и молнии для Зевса.

— Под большевистским флагом вы уничтожали лучших русских людей! Вы громили золото русского генофонда, чтобы потом у нас в стране рождались — турки!..

— Я?! Да мы с Людвигом еще со съезда германских естествоиспытателей в Кенигсберге находимся на позиции Гилберта, выступившего с разбором законов наследственности мухи Дрозофилы: на числа, которые мы изучаем, распространяются линейные Эвклидовы аксиомы конгруентности и аксиомы о геометрическом понятии «между», таким образом, мы еще с того времени, выводим законы наследственности, как применение линейных аксиом конгруентности.

— Партия знает эту вашу большую мысль: будто вы Леонардо Пизанский при дворе императора Фридриха // . Так вы себе это представляете...

— Да, и мое «Великое и Последнее Искусство», подобно треножникам Гефеста, могло бы автоматически входить в собрание богов на Олимпе! Мои медные бедные быки, мой вензель Пандоры! И, если я и приковывал какого-нибудь Прометея, то только по прямому указанию свыше...

— Партии известна ваша большая мысль, что не может быть пролетарской математики, пролетарской физики. Ни Ленин, ни Маркс не являются для вас авторитетами со своей реакционной философией диалектического материализма. Партия расстреляет вас, Штукатуров, и правильно сделает.

— Меня?! Да Гефеста дважды сбрасывали с Олимпа. Кстати, оттого он так хром и безобразен. Что, впрочем, роднит его с архаическими стихиями. Расстрелять Гефеста революции — до смешного доходит.

Другая радость в мире есть — родиться и забыть себя и имя

И в стадо человеческое влезть, чтобы сосать одно ржаное вымя!

— И вечная ваша олимпийская похабень, Штукатуров. Все эти ваши Глаши, Даши и Наташи Оловянниковы. Достаньте из внутреннего кармана и прочтите, что там все время носите.

Я сунул руку во внутренний карман за партбилетом и достал к своему удивлению разграфленный лист бумаги:

Врачебно-контрольная карточка гинекологического обследования артисток балета Большого театра Союза ССР.

Все события этого года пронеслись передо мной в миг единый. И, конечно, посещение с дядей бессмертной оперы «Борис Годунов».

— Читайте, читайте ваш катехизис, — напомнил Сталин.

Фамилия, имя, отчество.

Сколько часов упражняется в день: дома, в театре.

Менструации — характер: по сколько дней (недель) проходят, как велика потеря крови — мало, умеренно, сгустками.

— Что на это скажет красный маршал Ворошилов? — спросил Сталин.

— Какой кошмар, Иосиф Виссарионович, — разнервничался Ворошилов. — Уши вьнут.

— Кстати, Клим, — вспомнил я, — Ушимирский просил узнать: ты уже протал нам своего помощника Петухова или нет?

— Продал, — по старой памяти сообразил Нарком Оборон.

— Читайте дальше, Штукатуров.

Половая жизнь: жила ли половой жизнью: да, нет. Если жила, то с какого времени, живет ли в настоящее время, регулярно, случайные сношения.

Половые сношения нормальные, болезненные.

Скрещения полового канала: были ли бели, с какого времени, да: молк, гнойвидные, с запахом, без запаха, цвета.

— Что на это скажет товарищ Калинин? — спросил Сталин.

— Ужас, ужас, — рзюмировал товарищ Калинин.

— Калиныч, ты бы лучше на Дон съездил, там бы, когда взяли «за густые решета» за тридцатый год, там бы и ужасался, — посоветовал я.

— Читайте дальше, Штукатуров, — сказал Сталин.

— Гинекологические исследования: а) наружные половые органы. Развита правильно, недоразвита. б) половая щель закрыта, зияет...

— А что на это скажет товарищ Каганович?

— Расстрелять мерзавца! — несколько оживился железный нарком-путь.

— Лазарь, не тебе здесь выступать, — посоветовал я. — Кто четыре года рассказывал про дрова, применяемые в американских паровозах?

— Что еще можете сказать своему ленинскому ЦК в своем действительно последнем слове, бывший товарищ Штукатуров? — спросил Сталин.

— Ну, так уж и последнем? — засомневался я.

— Последнем, последнем, — успокоил Генеральный секретарь.

— Дорогие товарищ Сталин! Наш любезный вождь, учитель, друг всей счастливой страны и здоровья навсегда! В своих бесчисленных преступлениях перед родной ленинской партией, советскими трудящимися, к несмолкаемым оргиям на склонах Киферона, затягиванию строительства льнокомбината, уничтожения лугов, изведения люцерны, распространению чумы среди свиней и анемии среди лошадей, хотелось бы добавить еще и искусанную грудь совместно с академиком Платоновым.

— Про Платонова партия помнит, — помнил Сталин. — Но что и вы искусали той же ночью, ту же грудь, партия слышит впервые...

— А мне нечего скрывать от родной коммунистической партии, — благодарно разрыдался я.

— Видишь, ты, оказывается, все знаешь про человека, да не все, Лаврентий, — назидательно заметил Сталин.

— Да он соврет, недорого возьмет, — недоверчиво процедил Берия.

— Конечно, у товарища Штукатурова было много ошибок, много грехов, много огрехов, — рассуждал Сталин. — Но у кого их нет. Коммунист Штукатуров искусал женскую грудь совместно с врагом народа Платоновым... но не стал скрывать, затемнять содеянное, а пришел в свой ленинский ЦК и чистосердечно рассказал все своим товарищам по партии... Я думаю, такой человек не потерян для партии. Ему можно дать возможность исправить свои ошибки. Где бы вы хотели поработать, товарищ Штукатуров? Может, в Наркомате связи. Вы же все время переписываетесь со своим Людвигом Фейербахом...

— Нет, спасибо. Сначала Рыков, Ягода, а теперь я...

— Харашо. А вас самого, куда больше тянет? Может быть, заняться желатиновой промышленностью?

— Это трест «Костьобработки» Главмяса? Нет, спасибо. Товарищ Сталин, Коба, можно я буду директором вагона-ресторана крымского направления?

— А почему так? Откуда такое желание? По-моему и в аппарате ЦК, в секретариате, всегда было что выпить. Почему не сказал, что тебе мало?

— Да когда мы в Лейдене встречали с Таммом Дирака, не зная его в лицо, то каждый встал у своего вагона с версткой его статьи, чтобы он на нее клюнул. ну так вот, в том поезде не было вагона-ресторана...

— Так вы это себе все представляете? — проговорил Сталин, глядя сквозь.

— К тому же Эдиссон тоже начинал поездным мальчиком.

— Харашо. Партия даст тебе вагон-ресторан... в поезде, в агитпоезде «Великая Октябрьская Революция» с действующим трибуналом, с твоим «Великим и Последним». Посмотрим, как ты поработашь на юге, на Украине. Доделаешь то, что не доделали засранцы Молотов и Каганович. Ты за год получил три ордена? Получишь четвертый. Давай поцелуемся на прощанье, больше не с кем... как хотел Чкалова на твоё место, хотел, хотел, а он разбился...

— Вот что меня больше всего удивляет, Коба, в нашей жизни, — удивился я, крепко обнявшись с вождем, — так это то, как быстро у нас, в советской стране, летит время. С какой скоростью все у нас происходит... Вот, например, 29 июля 1925 года из Геттингена поступила в редакцию иностранного журнала первая статья Гейзенберга «О квантово-теоретическом истолковании кинематических и механических соотношений». Примерно через месяц он получил корректуру и один экземпляр послал Р.Фаулера в Кембридж. От последнего ее получил Дирак, было это в начале сентября. Свою собственную статью он послал в печать в дорогой для нас всех день 7 ноября. Цикл — 3,3 месяца. Статья Дирака была опубликована уже 1 декабря, то есть меньше, чем через месяц после получения в редакции...

А у нас все происходит еще быстрее! Я уже через три недели стал Наркомом и секретарем ЦК и получил первый орден Ленина!..

— Вот видишь, а ты не верил, что мы их обгоним и перегоним...

— Коба, а где мой любимый, почти родной дядя, что-то я его давно не вижу?

— Дядя Фиктив-Огарев оказался нечестным человеком. Он все нам рассказывал, как ему в Смольном на ночь Ленин оставлял ключ от своего кабинета, а оказалось, что оставлял и Троцкий... И много-много чаше!

— Теряем людей... — корректно заметил я.

— Эх, Жэня, Жэня... — вздохнул Сталин. — Сколько в тебе замечательных качеств, хоть и любишь говорить про непонятное, а вот внимательности к людям нет. И как нет. Вот тебе все равно, что у партии сухая рука (Сталин показал руку), а была бы костяная нога — тоже было бы все равно. Ну, да ладно. Посезжай, отдохни в агитпоезде, я тебе даже дам в дорогу изобретателя «Советского сыра», у него 25 лет, посмеетесь там, без меня. И не забывай, Жэня! Ты представитель победивших подонков русского общества, у нас у всех руки по локоть в крови, а классовая борьба, по мере продвижения нашего вперед — постоянно усиливается.

— Бьются старые зеркала и гранятся новые!

— Вот примерно так.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Центральный Комитет ВКП(б)
Народный комиссариат водного транспорта.
Большой театр Союза ССР.

Любезный Людвиг! Телеграфирую тебе на старом бланке из вагона-ресторана агитпоезда «Октябрьская Революция». Здесь довольно мило, в моем распоряжении сколько угодно красного вина и изобретатель сорта сыра «Советский»: лауреат Сталинской премии некто Фартуков. Мы с ним пьем вторые сутки и разговариваем ни о чем.

Первым делом я распорядился караульной роте, по вдохновенному примеру Леонардо, вычистить бараньи кишки до такой чистоты, что их можно было взять голой рукой, после чего привязал их к кузнечным мехам.

Поначалу они занимали мало места, потом захватывали все большее и большее пространство, пока не заняли весь салон. Леонардо и я вослед сравниваем их с гением...

Над головой я повесил пересланную тобой из Голландии лейденскую банку и читал вслух последнее письмо дяди. Он, оказывается, жив и, представь, вот что пишет: Во время отправки часовые били людей прикладами, толкали прямо в испражненные места и люди пачкались, обращались очень зверски, чего я не ожидал и никогда не думал. 38 дней я находился в камере пыток. Раз в день давали суп без ложек, два раза пускали в уборную, оправлялись в кальсоны, портянки, шапку, галоши. В баню не пускали. Посадили голым в камеру к 90 человек. Старались окончательно убить морально и выбить всякое человеческое достоинство. Когда я попытался говорить, почему они так поступают, ведь я председатель Контрольной Партийной Комиссии, то следователь отвечал: «А как же с тобой разговаривать, ты теперь никакой не председатель, а г... будешь у меня ж... целовать, держась за штаны следователя.»

Слушатель мой и собеседник приходил в священный ужас и я его успокаивал, как мог.

— Партия расстреляет вас, Фартуков, и правильно сделает. Зачем вы все время твердите, что это вы, якобы, создали «Советский» сыр?

— Да рецепт «Советского» сыра изобрел я, — рыдал переполненный вином Фартуков.

— Теория «героев» и «толпы» не большевистская теория, а эсеровская теория. Зачем вы говорили, что если вам дадут оружие, вы повернете его против партии и правительства?! И что самое обидное, говорили, что большевики это сволочи.

— Вы грязный и низкий интриган. А я есть и буду изобретателем «Советского» сыра.

— А я говорю, что ВЦИК расстреляет вас и правильно сделает. И не воображайте, что это какой-нибудь длительный и таинственный процесс. Все списки на один манер: штампы и печати. Заключение следователя: полагал бы расстрелять. Виза начальника отдела: согласен. Виза начальника управления: утверждаю. Резолюция заместителя наркома: расстрелять! Вы потеряете свое тело, Фартуков, и в таком состоянии и станете вечно живым создателем «Советского» сыра. Культ смерти важнейший элемент идеологии социализма. Зачем вы предлагали название газеты «Правда», но с добавлением: основана в Вене?

— Вас самого выгнали со всех постов и даже из Большого театра!

— Да, но мне оставили все ордена, звание академика и депутата Верховного Совета, и назначили директором этого вагона-ресторана по моей просьбе. А Венеция не делает решительно ничего!.. Она слишком долго и слишком далеко отправляла свои галереи, слишком много мечтала о грандиозных предначертаниях и слишком многие из них осуществила. Резкие тени подчеркивают огромные носы и глубокие глазные впадины масок, большие муфты из горностая увеличивают впечатление какого-то необыкновенного сна. Встречаются дети одетые маленькими арлекинами... люди в высоких шляпах... наш ум отказывается верить... — покосился я на раздувающиеся бараньи кишки. — Да, в стране безусловно идет своеобразное творчество. Ну, что богоданный Фартуков, вы что-то рассказывали про вашу ученую деятельность?

— Да, рассказывал, — всхлипывал Фартуков. — Я ведущий специалист Наркомата пищевой промышленности.

— Очень может быть, — соглашался я. — Имея способности и желания в нашей стране легко быть ученым. Сама советская жизнь заставляет в той или иной степени быть ученым. У нас, в СССР, собственно очень трудно и даже невозможно провести резкую непроходимую грань между ученым и неученым.

— Я стажировался в Швейцарии в лучших фирмах...

— И потому рассуждаете, как Вандервельде, бывший министр бельгийского короля, автор Версальского договора, председатель // Интернационала. Вам уже дали 25 лет, добавят еще 25!

— Если бы мне в Швейцарии, во дни, наполненные созданием сыворотки, в эти блаженные минуты сказали, что я буду с таким чудовищем сидеть в одном вагоне-ресторане...

— Ну, как мы убеждаемся, это не худший вид отсидки. Но что вы хотите, богоданный Фартуков, от судьбы, меняющейся, как волны! Опрокидывающей одной рукой то, что она построила другой, раздающей наугад свои благодеяния и свои немилости и, кажется, издающей над заслугами и добродетелями. Взять хоть нас с вами: две светлых головы, два рафинированных интеллекта, едем в агитпоезде «Октябрь-

ская Революция» с трибуналом в одном из вагонов в сторону Крыма... Не смешно ли?

— Действительно, а зачем мы едем? Товарищ Штукатуров?

— Ну, чтобы вы имели возможность в Советском Крыму пить советское шампанское и обнимать советскую девушку.

— Нет, правда?!

— Да вот остановим поезд, где повеселее, поставим одну треть волости и будем лупить кулаками справа налево, как в 18 году. Мерзавцы при приближении большевистских отрядов надевали даже женские кофты на себя, но красноармейцы, гражданин Фартуков, умсют так изловчиться, что сразу две рубашки внизывают в тело мужика. Потом пусть в бане или просто в пруду отмачиваются, да по несколько недель не ложатся на спину.

Даст бог, так разгуляемся, что села по 15 тысяч будут вставать стеной от ужаса... и идти.

— А куда идти? — спросил Фартуков.

— Фартуков, вы мыслитель, знающий, что две руки и палец ноги это — 11, могущий догадаться, что у третьего человека на первой ноге 3 это — 53 — дегенерируете на глазах!.. Ну, куда им идти? Не забыли еще, куда Данте ходил?!

Как клочья шерсти (Люцифера) и коре ледяной
Как с лестницы спускалась тень Вергилия
Когда же мы достигли точки той,
Где толще чресл вращает бедр громаду, —
Вождь опрокинулся туда главой
Где он стоял ногами, и по гаду
За шерсть цепляясь, стал входить в жерло:
Я думал, вновь он возвращался к Аду.
Как изумился я тогда в тревоге,
Пусть будит чернь, которая не зрит,
Какую грань, я миновал в дороге.

Вы, кстати, понимаете, богоданный Фартуков, какую грань не зрит эвклидовская чернь? То есть окончив путь и миновав центр мира, поэты оказываются под гелисферой противоположной той, где распят был Христос, они поднимаются по жерлообразному ходу, после этой грани поэт восходит на гору Чистилища и возносится через небесные сферы. Таким образом Дант все время движется по прямой и на небе стоит — обращенный ногами к месту своего спуска. Это понятно?

— Про две руки и палец ноги — это 11 — понятно...

— Взгляну оттуда, из Эмпирея, на славу Божию в итоге, оказывается вновь во Флоренции. Отсюда мы с вами делаем вывод: Дантово пространство весьма похоже на эллиптическое. Итак, двигаясь все время

вперед по прямой и перевернувшись раз на пути, поэт приходит на прежнее место в том положении, в каком он уходил с него. Следовательно, если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл бы по прямой на место своего отправления вверх ногами. Но выберемся ли мы с вами, Фартуков, из этой поездке — очень большой вопрос.

— Я лауреат Сталинской премии и создатель «Советского» сыра, — взвизнул Фартуков.

— Кстати, что вам снилось эти две ночи? Разумеется, кроме затягивания строительства льнокомбината, распространения чумы среди свиней и анемии среди лошадей?

— Ничего не снилось. Меня все время тошнит.

— А мне собаки. Возвращаюсь я будто из одного дома, где накануне подвергся нападению собаки, которая меня слегка укусила, хотя и не прогрызла кожу: однако, так как она сделала это исподтишка и не залав, то я боялся, не бешеная ли она, тем более, что, когда ей поставили воду, она не стала пить.

Вдруг я вижу очень крупную собаку, которая с большого расстояния бежит прямо на меня. — Что это у меня за встречи с собаками вчера и сегодня?! — сказал я сам себе. Вчера я отделался одним пустым страхом, а кто знает, не бешеная ли это собака? Пока я так размышлял, собака бросилась прямо на меня, прыгнув через голову моего мула, прежде чем я успел опомниться. Взглянув назад, я спросил моего мальчика-слугу, ехавшего за мной: «Скажи мне, видел ли ты, что сделала эта собака и не укусила ли она тебя?» — «Я совсем не пострадал от нее — отвечал он мне. — Но видел очень хорошо, что она проделала с тобой. — Скажи же мне, пожалуйста, — спросил я его снова. — Что же она сделала? — Она прыгнула прямо над твоей головой! — отвечал он мне. Но так, как ты нагнулся, то она перескочила через тебя и не повредила тебе. — Тогда я сказал самому себе: Нет сомнения, что мне ничего не привиделось, но дело это такого рода, что оно может любому человеку показаться совершенно невероятным».

Любозный Людвиг, думаю, такие собаки сняты перед строго определенными событиями, постарайся ответить мне, как можно скорее.

Зазвонил телефон правительственной связи, стоявший на столике под грудой бананов и горкой ананасов.

— Директор вагона-ресторана агитпоезда «Октябрьская Революция» слушает. Кто говорит?

— А вы отгадайте, товарищ Штукатуров, — сказали на том конце провода.

— Да угадать не трудно, — задумался я. — Это ты преступный Константин Каландаров, мой добрый старый товарищ по шестой камере?

— Нет, но угадали, товарищ Штукатуров. Но тэпло...

— Тогда это ты, преступный Герасим Каладзе! С тобой разделил я ужас царских застенков.

— Нэт, не угадал, — развеселился собеседник. — Но еще теплее.

— Узнаю тебя, Порфирий Куридзе! Преступный заводила камеры № 6.

— Нэт и не Порфирий! Отгадывай дальше!

— Всегда ты так-то вот... преступный Кишварди Церцвадзе!

— Нэт и не Кишшварди!

— Эх Порфирий! Преступный Порфирий Ломджария ничуть не изменился!

— Еще давай!

— А я-то тычу пальцем в потолок, преступный Лаврентий Берия! Лаврик, сучка золотая, я тебя не узнал!

— Нэт, это не преступный Лаврентий. Это преступный Иожеф Джугашвили.

— О господи! Как же я не узнал возвысившегося, как кедр на Ливане, как кипарис на горах Ермонских, как пальма в Енгадди, и как розовые кусты в Иерихоне и как красивая маслина в долине и как платан, как новый Константин!

— Послушайте, Штукатуров, партию утомило ваше юродство! Как там у вас дальше? Что подслывает изобретатель «Советского» сыра?

— Совершенно деградировал в дороге. Мечтает добраться до советского Крыма, пить советское шампанское и обнимать советскую девушку.

— Что-то вы сегодня развеселились, Штукатуров. Я вот что звоню, мы тут посоветались с товарищами из ЦК и решили послать вас в Архангельск на укрепление, членом губкома партии.

— В Архангельск?! Там же Соловки в двух шагах. Мерзавцы мигом скатят под гору!

— Вы же любите путешествовать: из стакана в кувшин, из кувшина и т.д.

— Ну что ж, товарищ Сталин, в конце концов сие маловременное и скоротекущее настоящес житие есть дым, сон и тень.

— Вот это ответ настоящего большевика.

— Только как же вы нас вернете — мы же струимся в Крым?

— А мы агитпоезд остановим, подгоним сзади паровоз и перевернем назад.

— О господи! При дикой красоте негданнных сближений... Минуты не пришло, как говорил я богоданному Фартукову об эллиптическом пространстве Данте.

— Все бы вам, товарищ Штукатуров, — эллипсы. Синусы, косинусы. Даже в смертную минуту... Самовлюбленный нарцисс и холодный эгоист.

— Товарищ Сталин, я ведь во след великому Галилею читаю «комедию» с циркулем в руках. Мрачная сцена адской воронки с помощью архимедовой теории конических сечений приобретает характер правильного геометрического образа, формы кругов измеряются на основании статистических опытов архитекторов, а их пропорции устанавливаются в соответствии с теоремами Альбрехта Дюрера.

— Так вы себе все это представляете?! Ну что ж, вольному — воля! Поезжайте в Архангельск на Всесоюзную лесопилку...

— И попытайтесь превратить ее во Всемирную мясорубку...

— Ай-яй-яй... товарищ Штукатуров. — Ай-яй-яй... Давно тебе хотел сказать, очень бы тебя не любил товарищ Ленин, очень ненавидел бы... и давным-давно наполнил тебе все соленые моря лимонадом!

Трубка затихла.

Драгоценный Евгений!

В последней телеграмме ты говоришь, что предчувствуешь свой близкий конец. Жаль, конечно, но тебе, безусловно, виднее. Еще раз жаль. Не мне внушать естествоиспытателю катастроф твоего класса ложные надежды. Твой вклад в этой области человеческих знаний теперь — неоспоримый закон. Мой же долг сказать несколько прочувственных слов над ранней урной.

Жизнь нашего собрата была исключительно посвящена науке. Она не была длинна, но полна почта. Секрет его гениальной продуктивности заключался в том, что он по-новому ставил известные вопросы, предугадывал новое, выводил следствия и обнаруживал взаимосвязи.

Тем не менее математика движется вперед главным образом теми, кто наделен интуицией больше, чем склонностью к проведению строгих доказательств и там, где оставалось усилием логики придать единую форму всем деталям, он не выдерживал до конца. К нему нельзя отнести девиз Гаусса: «Не считать дело сделанным, если что-то остается доделать!»

Несравненная сила предвидения, изобретательность и интуиция не уравновешивались у него «исполнительской» мощью.

Вместе с тем судьба главного его золотого плода — «Великого и Последнего Искусства» будет подобна громоотводу Франклина, чья конструкция не менялась в течение двухсот лет, хотя объяснение его физической сущности претерпевало значительные изменения.

Оказавшись, подобно Эйлеру, волею судеб в России он получил в свое распоряжение гигантскую лабораторию: Владимирский централ, Суздальский политизолятор, Краснопресненская пересылка, да все разве перечислишь?

И если у Эйлера, сделавшего срочную работу за три дня вытек глаз, то Штукатурова стерли в порошок только за 2,5 года.

— Чем же заслужил он такую суровую участь? — спросим мы и Апполон ответит. — Ничем не заслужил. Так решил Зевс в своей неисполнимой воле.

Военная коллегия Верховного Суда СССР

Справка о реабилитации

6 мая 1937 года на Лейхерском аэродроме (штат Нью-Джерси, США) от удара молнии в результате взрыва и пожара действительно погиб дирижабль — 129, «Гинденбург».

15 августа 1914 года командующий второй русской армией генерал Самсонов выехал утром со своим штабом из Найденбурга в Надрау и одновременно действительно снял свой искровой аппарат, вследствие чего была прервана связь не только со штабом фронта, но и с корпусами.

Первым кто испытал на себе электрический удар был незабвенный Кунеус. На прекрасной картине голландца Ван Лоо с изображением лейденского опыта в доме знатной особы роль кондуктора выполняла хорошенькая девушка, стоявшая на подставке, лейденская банка разрядилась через молодого эфиопа, который, возможно, посмотрел на придворную жизнь как бы новыми глазами.

В нашем случае искра божия перелетела в голове т.Штукатурова от молнии, поразившей Цепелина под именем генерала-победителя Гинденбурга в снятый искровой телеграф поверженного генерала Самсонова, что и привело к созданию «Общей теории катастроф» т.Штукатуровым и гибели вслед младому эфиопу, так как никаких зримых концов военной прокуратуре по этому делу обнаружить не удалось.

Вывод юридической экспертизы:

Счастлив кто падает вниз головой,
Мир для него хоть на миг, но иной!..

Виктор КРИВУЛИН

СТИХИ ЛЕТА 1993 г.

1

чьей природе подражаем
листья бледные черня?
самозванный бог державин
самочинный бег червя
все в извилинах туннелей
мыслит яблочко само
о вселенной о себе ли
превращаемом в письмо

2

я подобье адресата
в чьих раздавленных очках
буквы строясь как солдаты
под очаковым во прах
повергают то ли турок
то ли хищных крымчаков —
я читаю полудурок
ноты полковых значков

3

и мерешится и мстится
голубое в серебре
с парковой императрицей
лейб-гвардейское карре
будто титульной страницы
многодышащая гладь
натываясь на ресницы
ершится мешает спать

страшно ли что старшие ушли?
что с детьми уже неинтересно

ставши на пороге на краю земли
перекрикиваться вечером воскресным?

временный расцвел зеленый дачный стиль
душные цветы качнулись и уснули
и журнальная к земле припала пыль
теплая как босиком в июле

по залысинам проселка — но куда?
к речке или к станции? не все ли
мне равно — десятые года
или сотый километр во чистом поле

только бы далеко только бы как мед
медленно густея в обстающих
сумерках

Господне Лето! ни шмелев ни шестов
такую не застали благостынь:
аресты в мае, в райскую теплынь,
в июле, в пору дачного блаженства, —
конвейерный допрос, поток слепящей тьмы
здесь папоротник цвел над прото-колом
и торф горел подкожный и такого
гримасничанья девы-Костромы
не ведал даже ремизов со сворой
своей прелестной нечисти... Но вот
переломился август, и народ
на освященье под крыло собора
антоновские яблоки несет —
и запредельна виза Прокурора
поверх постановления ОСО

россия — это что?
в каких низинах быта
рождаются часовни спортлото
оранжевые ризы кришнаита?

справляясь по любительским наброскам
равняясь на “дворянское гнездо”
на михалкова с кончаловским —
в конце концов тут восстановят то

что может быть господствовало до —
но восстановят обновленно-плоским
шитом пластмассовым на съезде с автострады

к лесному капищу к мистическим киоскам —
какие там русалки и дриады
воспитанницы школы тэквандо!

* * *

взошел непроясненным и тяжелым —
но выпрямился как стекло
язык прижатый к альвеолам
студеным элем обожгло

напиток среднеевропейский
в аду студенческой пивной
попробуй все-таки допейся
до ясности до ледяной

латыни в русском переводе
когда мерцает Марциал
зимой в подземном переходе
под грудой драных одеял

румынистый или одесский
оркестрик — скрипка и труба —
так не по-римски, не по-детски
фальшивит, словно бы судьба

Империи — в пуху и в перьях:
письмоводительный орел
вперяя очи в дальний берег
крылом ошипанным повел

и тяжести как не бывало
и хлынул никелевый град
на байковое покрывало

* * *

пока не позовем
ты жди — пока совсем...
и ты ни жив ни мертв
при имени своем
на перекличке жертв

и я ни мертв ни жив
под маршсвый мотив —
стоит ли он в ушах
давно уж отслужив
свой срок свой строй свой страх

лежит ли среди них
уоставивши в зенит
зияние фанфар
сиянье радуниц —
бетховенский удар

там за глухой стеной
финал его Седьмой

* * *

воздвиженье хвои. беспомощную мошь
из глубины черно-еловой
спинным хребтом почувствуешь проймешь
пунктир ствола и вертикаль чужого слова
и старчество его и вдумчивой коры
наружный мозг в извилинах и в морщи —
здесь доживали, выйдя из игры,
свой век мыслители, а нынче, перемерши,
располагаются удобнее дождя
вольготней тьмы вечнозеленой
угрюмым шумом в комнаты входя
просачиваясь пятою колонной
в сознание — и глубже — и темней
ничем не защищаемых ветвей

* * *

вскрешая, Бог неистов
то разрушил то отстроит
павильоны эллинистов
в целлулоидных пластронах

целую пожрали вечность
ан пока еще не сыты!
и на что я с ними встречусь
подле статуи разбитой

Мира? анненский зелинский
жебелев или варнеке —
поминальные записки
о Всемирном Человеке

вот он есть, самоубийствен
и болезненно-веществен
мрамор дорашенный гипсом
до предела в совершенстве

* * *

не все еще друзья развеяны по свету
не до сухотки обезвожен ямб —
но словно увлажненную газету
из-под надзора галогенных ламп
изъятую для чтения вслепую
еще цитируешь послание в стихах
почти что по инерции тоскуя
почтовой тоскою, ведя о пустяках
в один конец, в обратный (шестистопной,
со скрипом, бесцензурною строкой)
рассказ дорожный двойственный подробный —
и лишь по видимости легкий и мирской

Олег ЮРЬЕВ

ПРОГУЛКИ ПРИ ПОЛОЙ ЛУНЕ

(Шесть рассказов из книги)

Шестой ленинградский рассказ

Циця решил стать *андрогинном*, но не в грязно-обиходном смысле этого слова, а в чисто-платоновском. Для достижения целокупности Циця записался за 14 рублей ежемесячно в подпольную секцию йогической аэробики при Дворце культуры железнодорожников. Ему нужно было возможно скорее сделаться как гуттаперчивый мальчик, чтобы свободно давать себе в рот. Без йогической аэробики он не дотягивался даже до курчавой серой пенки вокруг подбородка (очень мшал мгновенно круглевший и отвердевавший маленький каучуковый живот), и целый день после того глухо и сладко потягивали мускульные клинья с обеих сторон позвоночника. А после четырех занятий Циця сравнительно уже легко помавал себя по губам, но — к несчастью — Платон не знал того, что знал к несчастью Платонов — а именно, что *хули не гули, в рот не залетят*, — поэтому Цицю на самом восходе его андрогинной карьеры окостенил радикулит. И он спал сидя. И мы с девушкой, похожей на кожаный веник, ездили под землей на качком электрическом поезде его навещать. Все одно нам нужно было дожидаться ухода полковника на всенощную. Мы сидели, смиренно поезживая ягодицами (она — почти никакими, цыганскими) по жирному зернистому дерматину продольной вагонной лавки, и разговаривали о том, как ближайшим же летом совместно поселимся в Пярну. Я об этом со всеми зимними девушками разговаривал, но ни с одною — на что бы она не оказывалась похожа — так ни разу и не съездил, только лишь их на метро катал. А жаль. А может, и не жаль: летние девушки зимою слабо грели — наверно, и зимние летом не освежали бы.

Над нами ветер гонял по голому черному асфальту шары, спутанные из седой паутины, а на перекрестках, приседая и поднимаясь, стояли в опрокинутых фонарных кратерах отливающие желтым волчки. Все это немножко выло и потрескивало. Немножко воя коротким горлом и потрескивая искрящейся папирской, каталась по длинному полутемному коридору цицина мачеха, Рашель Ссменовна, — низенькая хищная

голубка с подпрыгивающими на спине шелковыми кистями сизо переливающейся шали. Циця сидел на кушетке, обмотанный клетчатým пледом, и читал Гельдерлина. Цицин же отчим на антресолях над нами скрипел, щелкал, чмокал и гулькал. Толстые голуби, утопившие костяные головки в курчавых тройных воротничках, из неосвещенных деревянных клеток ему несогласно отвечали своею нескончаемой блаutoю псней без слов.

Мы сидели у Цицина полуложа, прислушиваясь то к коридору, то к потолку, а сами думали: я: “Ушла ли уже полковник в германдаду?”; девушка, наклоня гладкую черную голову: ничего; Циця: “Нет, никогда ему все-таки не сделаться андрогинoм!” (обо мне). Рашель Семеновна укоризненно внесла чай — а она думала, что это я виноват во всех цициных несчастьях, а виноват-то был не я, Прохор Самуилович был виноват, открывший моду на андрогинаж и самопознание.

— Я вас провожу, — неожиданно сказал Циця и сидя встал. Плед обвис на нем.

— Котик, — закричала из далекой-далекой кухни мачеха: — Константин! Немедленно вернись! Ты упадешь с лестницы и разобьешься!

— Циця, — сказал я. — Тебе, пожалуй, надо не Гельдерлина читать, а Кита.

Циця посопел-посопел и, как приземистая курносая Баба-Яга над печной заслонкой, заорудовал поднятыми из-под пледа руками над выходной дверью. Девушка (с налитыми усердной слезой заслуженными кнопочками глаз) втискивала свои многочисленные тонкие ноги в длинные блестящие сапоги. Наконец, втиснула и вопросительно повернула ко мне плоское личико с намертво приклеившейся ко лбу вороной гладкостью. Я уцепил ее за замшевую шкурку и за ворсистые крупные складки под коленками и поповорачивал в воздухе, поспособнее примеряя к дверному проему. Я, понимаете ли, везде носил ее на руках, чтобы под ногами не путалась. “Головой вперед,” — посовествовал Циця. — “Ты думашь, она с головы уже?” — спросил я. — Или ты суеверный?” — “Конечно, я суеверный,” — с гордостью отвечал Циця.

Циця трусил рядом со мной — согнутый, с охвостьями пледа, высунутыми из рукавов и из-под подола его пролысой рыжей шубки; как будто я мало того, что несу поноску, но при том еще и выгуливаю какую-то небольшую старую собаку, типа, предположим, эрдельтерьера. Снег остановился: на асфальте изогнутыми бороздками, на деревьях — прерывистыми узкими полосами, а в воздухе — редкими рядами частых сеток попереК Кронверкского. “Пошли завтра в зоопарк? — спросил Циця снизу. — Покатаемся немножко на пони”. — “А ты не упадешь? Меня твоя Рашель Сменовна на крохи говенные размечет, а отчим турманам скормит”, — и я дунул на девушкину голову, чтобы отдуть свесившуюся ровную прическу, заслонявшую мне вид на Цицю. Моя

девушка мальчиговая обеими руками схватилась за лоб (так я никогда этого лба и не увидал, хотя, тем не менее, очень сомневаюсь, чтобы была на нем какая-то особнная кайнова печать, скорее — судя по тому глубокому льду, что вообще пронизывал всю ее прямую узкую кость, — новокайновая блокада), но боковые и задние волосы на миг откачнулись, и стало видно, как Циця вместо ответа легкомысленно машет рукой, где-то уже в самом низу, у тротуара; мы еще не дошли до Горьковской, а его, бедного, совсем скрючило. Но развеселился он стчего-то необычайно. Семенил все быстрее, подскакивал, хлопал в ладоши, спугивая мороженных голубей, теснящихся к густо парящему люку в мостовой. У кинотеатра “Великан” мы перешли дорогу, и здесь, на широкой хрустящей и игольчато поблескивающей аллее (в конце ее неровно светилась летающая тарелка на вечном приколе), Циця, с его вечными приколами, и вовсе разбушевался — погнался, тоненько рыча и хохоча, за длинной драной кошкой, которая, в свою очередь, скакала, сжимаясь и разжимаясь, за полубодраным припадающим голубем. “Циця, Циця!” — закричал я насквозь девушки, наискось приоткрывшей для лучшей звукопроводимости неглубокий сиреневый рот. Но Циця мчался все быстрее, сгибаясь все больше, и вот, наконец, коснулся дорожки козырьком своей шерстяной кепочки с опущенными ушами и — покатился кувырком — колесом — шаром, вздымающим снежное пылево, — дальше, — за кошкой, сиганувшей вбок, по клеенчатому снегу, в сложную коленчатую тьму деревьев, и — мгновенень — исчез вслед за нею. Только я и видел, что медленно обваливающиеся выбросы ледяного песка и дробленой земли; только и слышал, что оседающий на басы и отдаляющийся цицин взвой. Потом все стало, как прежде, — нигде только не было вокруг ни Цици, ни кошки и ни даже ни голубя.

“Ну чего, ушла полковник в германдаду?” — спросил я у пожилого эрделя, поднявшего курчавый подбородок со скрещенных лап. “Мама уже ушла на работу”, — огорченно сказала девушка, выйдя из спальни, и маленькими замёрзшими руками начала расстегивать свои очень тугие и очень белые штаны.

Залаэгерсегский рассказ

В глубоком окне магазина висел на блескучем шнуре глазурованныйй кувшинчик, а из него наискось торчало павлинье перо, похожее на скелет гигантской селедки с ярко-зелеными глазами. Разинув алые

продолговатые пасти, к кувшинному рыльцу прислонились косыми закругленными каблуками длинные-предлинные штиблеты на отлакированных по-блатному пуантах. Перед натюрмортом стоял режиссер в голубой курточке и широкими плоскими ногтями зачесывал за уши серые и желтые волосяные полосы. Его лоб, взятый в квадратные скобки, переходил, экономя на переносице, в худощавый нос, а маленький круглый подбородок и жевательные желваки под скулами шевелили задумчиво и взыскательно пепельной мелкоколючатой бородкой. Дымные джинсовые джинны, мы с ним уже трое суток как раскупорили изнутри пыльную четверть, безграничную нашу родину (которая за три с тех пор истекших года вконец выдохлась и стала наконец истинно безгранична), потом с разлинованных Аэрофлотом небес пролились на нерусскую землю и дожидались теперь в предрождественской сиреневой слякоти послеобеденного открытия магазина. Пахло мусорным зимним солнцем, копченым дымом, перченым горячим вином. Хищные голуби без стеснения бродили вокруг на грязных высоких лапках и косо глядели на режиссера. Но он не обращал на них никакого внимания, и бедные поклевывали пока черно-крупитчатую дрянь, застрявшую в решетках стока. Стоит мне, кстати, ступить за какую-нибудь границу, как первым делом я полной подошвой наступаю на собачий высерок — что на посиленную фонариками китайского ресторана вавилонскую пирамидку с бульвара Сен-Жермен, что на парочку темно-желтых обоеконечнозастренных гусениц с берлинской темно-розовой мостовой, что на зеленостатую вегетарианскую лужицу с дерсянной эспланады, ведущей от мелких кирпичей Брайтона к кони-айлендским дробно-сверкающим колесам. И за эти три первых дня черное будапештское первоговно не стерлось еще окончательно с рубчатого испода моего правого ботинка, как я ни шаркал им по центральноевропейским тротуарам. “Олег, голубчик, да не майтесь вы так, — мягко сказал режиссер, не отводя глаз от витрины. — Пойдите пока в театр, я потом подскочу”. И, отогнув растопыренную ладонь, свернул по очереди все ее крупные, чисто вымытые пальцы. Я же чувствовал себя лучше умытым изнутри — практически полым, хотя и безвоздушным, хотя и с корочкой засохшей желчи в основании горла, — потому что всю предыдущую ночь блевал на коврик в загородном замке четырнадцатого века, отведенном под наше с режиссером местопребывание. В одной ровно побеленной комнате стояло восемьдесят восемь пустых, одинаково застеленных кроватей, а в другой двенадцать. Мы выбрали вторую как более уютную. Два вечера ограничивались мы на ужин бутылкой жирного токайского и ученым разговором, а на третий, после банкета, выпили все, что осталось в столовой от банкета. Театральная секция конференции “Будущее творческой интеллигенции” закрывалась сегодня, хотя мы ее вчера уже отвалили с гусарским битьем бокалов, с произнесением тостов на неиз-

вестных языках и с удивительно стройным хоровым исполнением (соединенными славяно-угро-еврейскими силами) двух любимых песен творческой интеллигенции *Акварелисты*, *Сталин дал приказ* и *Мы красные акварелисты* -- и вперед. Нет существа, которое может выпить так много и изменить выражение лица так мало, как венгр. Кроме разве слона. Дневной рацион слона, подаренного Петру I персидским шахом, включал ведро зеленого и ведро виноградного вина. Сторожа, естественно, слону ничего не давали, да еще и склоняли его русским матом. Слон обиделся, простудился и умер — вот о чем я думал, отчаянно поглядывая на дверь и отработывая свои и пропавшего режиссера суточные докладом на тему *Трудно торговать, когда торговать нечем, особенно если торгуешь собой*. Поскольку на маленькой золотозубой переводчице в наездничьих сапогах вчера женился увозом представитель музыкально-драматической общестственности породненного города Херсона, я надеялся, что никто меня не поймет, но увы! — наивность, с какою я верил всем встречным, сладострастно-вежливо представлявшимся двоечниками по оккупационному наречию, хоть и поколебленная вчерашним пенъем, оказалась справедливо наказана. Я убегал, а в затылок мне летели консервированные перцы по семьдесят две копейки банка. Задняя дверь театра прошелестела и тяжело вздохнула за мной, и я остановился в отчаянье. В семь часов вечера город уже умер: ни фонаря не светилось, ни человека ни шло — редко-редко где матово голубело окошко. Как я сыщу в этой ночи маленького русского режиссера с грустным и грубым лицом?! Проклятая Европа — ты заглотила его — интересного собеседника, талантливого постановщика, примерного мужа и отца, в чьей характеристике на загранкомандировку было написано *Пользуется любовью актрис, но не пользуется ею* — в тот самый момент, когда вся жизнь его, все его существо должны были перемениться! Он еще и сам этого не знает, а я выкинул ему червонного хлапа, и марьяжную встречу, и неприятности в казенном доме. Не говоря уже, что у него мой обратный билет... Я заметался по черным улицам — хоть милиционера найти, чтоб запросил по рации *предварилку* и *приемный покой*... О Боже ж ты мой! — я прыгнул и ухватился за родимый мышинный рукав.

— Ich hab' das Ding doch da gekauft! — возмущенно закричал милиционер и замахал руками себе за спину. Потом случайно поглядел в мои жестяные глаза и стал покорно стягивать шинель. В ужасе и стыде я побежал от него прочь, чувствуя, как наполняется металлическим воздухом полость внутри меня и маленькое сердце размножается делением. Только лиловое небо, по которому красным шариком летел самолет, еще освещало этот город. Я пробежал каким-то длинным двором (длинные кошки с длинным шипением спланировали в разные стороны от мусорного бака), оказался в хрустящем туманным льдом скверике (на мгновенье испугавшись, что выскочил из какого ни на есть города - в

дикий лес), обогнул серые казенные колонны и вдруг выскочил к уже разоренному на ночь, но ослепившему меня длинноголовым фонарем и несколькими сине-красными гирляндами стану рождественского базара. На краю площади перед зарешеченным лабазом стоял режиссер в голубой курточке и поглядывал на часы. “Представляете, Олег, так все еще и не открыли!” — сказал он протяжно. Я глянул мельком на свое толстогорлое, ушастое отражение, скользящее поверх погашенных штиблет, и сказал: “Знаете, что я все хотел спросить, но все забывал — как поживает, кстати, актриса Казакинова?” — и у меня похолодело вокруг копчика. Он пожал низкими плечами и вздохнул: “Пойдемте, я расскажу вам в поезде. Мы же еще не опоздали?”

Пятый московский рассказ

В высоком закругленном окне медленно оплывала водоросль сумерек. Там, промеж ее матовых извилин, из личинок снега на лету выводились червяки дождя и со стуком и скрипом ползли вниз по стеклам. Мое лицо вылезало из диванной подушки блестящее, осевшее, дырявое. Между кожей и мясом по всему отдалившемуся телу вслоилась непроницаемая горячая пленочка. Вдоль груди тихо и узко гудело. Вверху горла выросли толстые короткие волосы, щекочущие и задыхающиеся. На ближней стене, вложенные один в один, сжимались и разжимались темные, золоченные кружки какой-то иконы, перед которой на узкой полке горела лампочка от фонарика, припиленная к рогатой батареечке и разложенная мосй близорукостью на вписанные в большой круг желтые мигающие точки. Соня — *московская кузина* — металась по огромной, в остальном еще бессветной квартире, то мелкосерийно роняя что-то чугунное на далекой кухне, то тягуче хлеща в противоположной ванной обвисшие щеки близнецов Вени и Вити, вздумавших сравнивать свои пьськи, то долго прикладывая озабоченно неподвижные холодные губы к основанию моей шеи у правой ключицы. Иногда она обрушивалась на низкий диван (меня приподымало на другом конце) и, запахивая халатик на тесно сведенных и косо приставленных к полу белых ногах, ругательски ругала или меня, появляющегося к родственникам только когда заболēju (что неправда — Москва и ангина для меня синонимы, а в этот раз я просто попался на дежурном визите), или “этого уголовника Гриньку” (впрочем, честно отсидевшего полсрока и вернувшегося по амнистии). “Нет, ты подумай, я его еще утром послала на Ленинградский рынок для тебя за гранатом и к Свете в библиотеку за горчишниками, а его еще нет как нет! Ну как такому человеку можно верить?! Наверняка опять с друзьями в церковь завалился!” — “Верить

ему нельзя, и даже дважды — и как *вору прощеному* и как *жиду крещеному*», — сказал бы я — немо и медленно, потому что каждое мое слово, протащившись меж мелко изрезанных гуттаперчевых валиков миндалин, выползало бы наружу длинное, плоское и шелестящее, как газета, — но московская кухня, смеясь, положила свежо и тонко пахнущую водопроводом ладонь на мои шелушенные губы.

Зима удалась гнилая как никогда, и московские кривые кольца были в коричневой суспензии по щиколотку; и волглые деревья не отзывались на прикосновение; и человечество в кроличьих шапках, змеясь, расставалось со своим прошлым на брусчатой площади, в слякотных торговых амбарах и в освещенных провиснувшими тускло-багровыми цепями елочных загородках; и грязные хлопчатобумажные голуби с зелеными шелковыми шеями бегали в подземных переходах, оскользаясь; даже вороны кашляли; и все плыло. Меня, конечно, погубили книжные магазины — выйдя из Столешникова на Петровку, я был еще здоров и весел, а на Кузнецком мосту уже не мог левым горлом сглотнуть снежного мусора, поналетевшего в рот. Зато я купил китайскую книгу в букинистическом отделе *Лавки писателей* — на шероховатой малиновой обложке был нарисован вытертым золотом длинноглазый и длинноносый старчик в халате.

Совсем стемнело. Окно занавесило зеленоватой пургой, сквозь которую смутными низкими углами светились лучевые руины стадиона «Динамо». Близнецов прислали ко мне пожелать спокойной ночи — они, пихаясь и хихикая, шаркнули одинаковыми толстыми ножками издали от двери. Дядя Ханания, серый кардинал Госплана, уже вернулся из какой-то своей знаменитой комиссии и, тиская кожу под сердцем, морщил маленькое бровастое лицо над завтрашной газетой. Кухня ворвалась, включила надо мною торшер в дырчатом абажуре (защелкавшем мелким бисером во множестве африканских косичек) и оказалась у бедра с тазиком разведенного уксуса. Смоченным в нем полотенцем она обтерла мне лицо, и кожа блаженно разошлась, и пленка под ней растворилась, и стертые кости лба, подбородка и скул задышали насквозь. Потом она встала коленями на диван, закатала мне майку до упора и, свирепо приговаривая *Какие уж церемонии между родными*, стала протирать подмышки, грудь (с интересом подковырнув острым мизинным ногтем прилипший у левого соска длинный волос), бока и стекший с подложечки бледный живот. Я потянулся привстать — она толкнула меня кулачком в плечо и снова опустила сморщенный, согревшийся край полотенца в тазик. Потом оттянула резинку трусов (я попытался было выгнуться, чтобы догнать свою резиночку беззащитным полусожженным пахом, но получил еще один тычок, на этот раз под ребро, и с концами обвалился) и любознательно заглянула. «Все на

месте, все как было”, — известила меня милая моя кузина с деловитым московским распевом и поплескала рукою в тазике, поставленном прямо на алые и рыжие разводы вытоптанного персидского ковра. И плашмя просунула свою мягкую, свежую, сильную ладонь, Я, закинув затылок за край диванного валика, считал короткие горячие мурашки перед полузакрытыми глазами и холодные длинные под полуоткрытыми трусами. На семнадцатой и четвертой меня злорадно зазнобило. “Ого,” — удивленно адресовалась ко мне Соня: “Всюду жизнь!” Еще выше оттянула резинку, приложила похладную полную щеку к низу моего живота и вдвинула лицо поглубже. Пошевелила там своим твердым, холодным, изогнутым вверх клювом, снова выпрямилась и, зацепив у себя что-то на бедре, перекинула через меня изумительно ловко высвобожденную, хлесткую, матово просветившуюся, по лучшим парижским лекалам нарисованную ногу. Я приподнял голову из-за валика. Резкое ее лицо быстро наклонилось и уронило из своего рта в мой две продолговатые немящие и холодящие (куда еще?) пилюли. Мое бездыханное горло мягко зазеленело вокруг соленой продольной щели и по срединной грудной трубке соскользнуло в самый низ. Слава Богу, она заслонила этот дробно-дырявый торшер своим большим еврейским телом и своей маленькой египетской головой с низким ровным лбом и заложенными за уши темно-блестящими волосами, — и мои глаза перестали болеть.

“Как всегда вовремя”, — сказала она погодя и одним движением соскочила с седла. Левою ногой она прыгала в тапке, правой целила в шелковую смятую дырку, левою рукою трогала мой лоб, одновременно на него опираясь, а правой то помогала соответствующей ноге, то сворачивала вниз мою майку — впрочем, все это без особенной спешки. И уже низкий голос ее звучал в прихожей. Надеюсь, хоть русский бог не обиделся на наши еврейские водевили.

— Что Борьчик и Глебчик, уже спят? — бодро интересовался дважды перекованный Григорий, выворачиваясь из пальто. — А родственничек?

— Ты бы еще завтра явился!... Постой, а горчишники где?

— Ч-черт! — и Григорий испуганно перекрестил повисшими на руке драповыми отрепьями свое узкое трехступенное лицо с двумя волосяными крюками сверху и снизу: — Ты куда?

Кузина Соня уже натягивала пернатую шубку прямо на-халат: — Куда-куда... Пойду искать Свету, она сегодня, по-моему, в вечер...

Вышел, шлепая, встревоженный дядя Ханания: “Что, Сонечка, Алику плохо? Может, по спецномеру «Скорую» вызвать?”

— Ничего-ничего, папа, не волнуйся, ему уже лучше — он только что пропотел.

И так оно и было... Хотя, конечно, это мне лучше было бы пойти поискать Свету. Но я не знал, где в этом генеральском домоуправлении размещается красный уголок.

Загородный рассказ

Фима Мордкин, который умер, все норовил отслоиться от моей правой руки и, как еврейский Есенин, обнять морщинистые колени какой-нибудь сосенки или же влезть под дыряво-колючую юбочку ели, чтобы проникновенно прокричать в их пахнущую горечь и сыростью кожу *Будь другом, насри кругом. Будь братом, насри квадратом. Будь сестрой, насри звездой.* И раскохотаться в мелкие финские звезды, до сих пор так и не научившиеся по-русски. Особенно он гордился последней частью триптиха как своим личным изобретением. Вообще-то Фима был цыганисто мрачен и молчалив, но в этот день необычайно раздухарился, разухарничался, разохальничался — попросту говоря, набухался, да так, что был изгнан из *Рены* до окончания срока путевки за дебош — вместе с восемью другими маленькими сердитыми евреями — и теперь введом на дачу к отдаленным знакомым для переночевки. Из них умер один Фима, остальные уехали в Америку.

А левой рукой я волок Ильюшу Хмельницкого, который ничего не говорил, а только все падал. Поднимать крупного Ильюшу в гладком кожаном пальто из ямины, по-лосиному пропоротой им вверху тонко засохшем (на манер розоватой нордовской меренги) снегу, и так было бы нелегко, а тут еще ходи Фиму с соснами разлучай... Набитая сапогами и шинами дорожка вдоль железнодорожного перегона Репино—Комарово сверкала и скользила; морозная, но безветренная ночь предъявляла необычайную ясность и глубину вырезных теней в ослепительном снегу; с темно-синего неба звезды, как уже было сказано, не понимали по-русски, но низкая отчетливая луна, похожая на утреннее яйцо с ровно отрезанной верхушкой, наоборот, все понимала и плыла надо мной в своем колечке из взбитого света сострадательно. Она, насколько мне известно, не умерла и в Америку не уехала, а вернулась в Германию, где и висит себе сейчас спокойненько в плетеном окне справа от моего стола, аккуратно выеденная до половины. Из-за дерева шатнулась к нам длинная узкая тень, а за нею разбойничий тулуп на журавлиных ногах. Когда мы с ним поровнялись, тулуп пристроился четвертым и молча зашагал, стараясь попасть в ногу. Но мы и сами не могли. После нескольких тягостных минут Фима вдруг резко остановился, обвис на моей руке и веско оборотился к новоявленному Д'Артаньяну всем своим засыпанным хвоей крупновеким, толстогубым лицом: "А ты еврей?" — "А то

кто же”, — не раздумывая отозвался тот. Все испытали невыразимое облегчение, кроме Ильюши Хмельницкого, который упал. До дачи было минут еще тридцать обычного ходу, а такого — и все часа полтора. А ведь день начинался так хорошо! Во-первых, еще утром, когда мы с Ильюшей Катили на станцию Репино, в одном с нами вагоне ехал бородатый Зассерман, которого потом проткнули в лифте отверткой. “... а я ей: *понимаешь, хочу спать, ну просто спать, спать и все!* — и отвернулся к стенке! А она меня от злости укусила здесь сзади за левую жопу”, — торжественно рассказывал он стайке завистливой молодежи. Во-вторых, когда мы уже играли во флиппер, нас взялся поучать великий человек по этому делу Алша Бровкин, мающийся в ожидании заказа вставить кому-либо пистон. “Ну что ж ты ее, как пизду?! — стонал Алеша. — Ее же нежненько, нежненько надо, как пизду!” При малейшей попытке возражения он скидывал курчавую белесую голову и, угрожающе урча глубоко проваленным “р”, восклицал: “Ты на меня баатон не кр-р-рааши! Я парастой саавецкий п-пар-р-рень!” В-третьих, мы наблюдали акт выставления девяти маленьких сердитых евреев, которые сочлились затем в гостиницу мимо контрольных бабушек через все возможные щели, и окончательно простились с нею только уже вечером, в ресторане, осуществив свой знаменитый *репинский срыв*. Последним за столом остался самый маленький, взъерошенный и глупый Персивер, которого по всем трем причинам даже и побили не очень, хотя пристой советский парень Алша Бровкин присутствовал и страстно подавал репинским черноусым халдеям свои непонятные советы. В-четвертых, —

...А Фима перенес лирический задор с хвойных пород на широколиственный Хмельницкого. “Хмельницкий, угадай, как будет по-румынски болван?” Ильюша раскрывал заиндевелые глаза и заинтересованно мычал. “Болван по-румынски будет “болванеску”!” Ильюша падал. Фима Мордкин тоже падал. Но теперь подымать их помогал Геня, оказавшийся близнецом отсутствующего брата. Брат уродился круче Гени и очень его обижал — сперва, несмотря на Генины убедительные просьбы, не запускал его под видом себя к своей ляльке, хотя что, жалко ему что ли? а потом, когда Геня завел-таки собственную девушку, певшую в хоре озерецкой баптистской молельни, целыми днями басисто над ним смеялся: “Ха, хористка. Поет — но не дает!” В конце концов их обоих посадили, но по разным статьям: Геню по “Письму вождям”, а брата по “Жить не по лжи”. Неожиданно встал быстрый, мелкий, завихренный снег, заслонивший все и вся, если было чего заслонять. Мир существует в форме снегопада — и мы оказались как бы посередине густоты звезд, в ослепившей нас темноте и в тишине — оглушившей. Но было это недолго. Снег исчез как не бывало, и где-то

пронзительно закричали и застучали. Подобные звуки я слышал еще лишь один раз, когда в зоопарке под Тель-Авивом с восхищением наблюдал, как сбуются большие старые черепахи. Но в данном случае это в *Литфонде* писатели играли на бильярде. Значит, надо было переходить через полотно и углубляться в глубоко мерцающие улицы Комарова.

Высокая железная печка трещала. Семь маленьких сердитых евреев сидели на трех кроватях в смолистом пару протрезвевшие, нахохлившиеся, без штанов. Фима соскреб с себя мокрые джинсы, прицепил их к печке и сказал, указывая пальцем на белые кальсоны в чудную продольную нежно-сиреневую полосочку: “Вот, выдали моему дедушке в одна тысяча тридцать восьмом году, в Казанской пересыльной тюрьме. И до сих пор как новенькие.” И сел на кровать. “А Персивер где?” — спросил кто-то чуть погодя: “Ты же предпоследним рвал. Персивера — не заметил? — поймали?” — “Он в *старых большевиках* ночует”, — услужливо сказал близнец Геня: “У него там лялька отдыхает. Можно, я у вас за него поночую?” Через два года он бы сказал не *лялька*, а *телка*, а еще через два — *туловище*, а через десять минут мы с восстановившим осанку бая Хмельницким стояли на станции Комарово в надежде на наипоследнюю электричку.

— а в-четвертых, в нижнем баре Репинской тургостиницы я встретил мою два года назад одноклассницу со стайкой узколицей за-ссермановской фарцы. Я кивнул проходя, фарца засмеялась над моим не личащим прикиду высокомерием. Она сказала своим тягучим, потрескивающим голосом: “Ну вы, не стибайте мосго одноклассника”. Я отвернулся от ее молодецких плечей, сильных узких бедер с продольными выемками посередине и лисьего лица с маленьким подбородком и широким лбом. Только нос был не лисий. Нос был лосиный. Три года назад я ездил к ней на дачу в Лисий Нос вместе с другой одноклассницей — молчаливой, тонкобровой, милой — и напарным одноклассником-татарином. Другая на следующий год умерла, эта через одиннадцать лет уехала в Америку. Не знаю только, что же случилось с татарином. Вероятнее всего, ничего.

Железнодорожный рассказ

Погасший поезд стучал с отлязгом по рельсам — по падшей лестнице, перенесшей (с бесконечно сужающейся пользой) идею подъема на плоскость. В высшем смысле он и не двигался — на лестнице этой сонному Иакову никто никогда не встретится. Четыре легких железнодорожных подстаканника подрагивали и поезживали на купейном столике, в

кривой белой и набеленной полосе, как четыре пустиносных профиля поэтессы Буратынской. Дерматиновая шторка криво застряла в самом верху окошка, и там, за нею, отлетали от обочин фонарные колоколы, не успевающие даже покачнуться. Я, свернув шсю, глядел со второй полки туда. Неразборчивый рельеф неразъемной ночи претендовал осветиться неподвижными звездами (которые все казались полярными, такие высокие, маленькие и синие они были), но безуспешно. Это дело луны, а вся она вылилась уже на столик, заваривая деготный блеск в подчеркнутном проводничьей содой казенном часе. Бедная маленькая русская луна с неравноугольной протертостью посередине — и на опивки тебя не хватило. Пахло сухостью, тьмою пылью, чем-то неуточно бакалейным — складским и мышинным. Трое соседей лежали спеленутые сырыми простынями, вокруг их голов почти зримо утолщались облачка чужого дыхания. Я думал, снять ли мне с себя на ночь нежно-кремовые турецкие кальсоны со светлым мягко-ворсистым исподом — или оставить. Как-то я спал в одном поезде не снимая кальсон, утром прыгнул вниз молодецки и, целясь в ботинки, закачался меж двух верхних полок на локтях, как деревянный медведь с Кузнечного рынка меж своих узких искрашенных костыльков... — и целый день потом себя молодцом не чувствовал. Кальсоны такая стыдная, детская, домашняя вещь... — и трусы-то, в сущности, некая уступка: истинный муж — *ебарь-перехватчик*, маленький, злой и причесанный — надевает брики на голое, жесткое, наполненное железно кровью тело, чтобы только книзу молнией вжикнуть — и — предьявиться всеготовно при случае, который всегда может случиться. Дверное зеркало ожило и заполнилось медленной решетчатой белизной станции. Поезд множественно блякнул, дернулся и встал. Железнодорожный голос с манной кашей луны в безъязыковом колоколе железного рта раскричался какими-то неразборчивыми номерами. Попутчики зашевелились под полосатыми горками одеял, но не проснулись. Как и всякий русский переезд, этот был похож на пространный морг под открытым, но не нами, небом: прожекторский свет, брошенные многоколесные платформы с мертвыми телами земли и труда, низкие строения, маркированные небрежными знаками, неизвестными смертным. Как смертельно бывает холодно в русских поездах! Я ехал однажды в юности со знакомой поэтессой на подмосковную маевку миннезингеров — и так холодно стало, что как сидели и шептались с полночи о высоком, так и обнялись на остальные полночи с ее полым кривокостным тельцем под двумя железнодорожными короткошерстными одеялами: незабываемы тот ужас и отвращение, с каким внезапно я почувствовал — встает. Все мои члены, включая и этот, одеревенели, оцепнели — ничто больше не шевельнулось, но ничто и не расслабилось: ни отодвинуться я не мог, ни придвинуться. Мы были как брат и сестра, но никогда я больше не умел

без ненависти смотреть на ее виновато-самодовольное лицо со стесненным подбородком, убранным внутрь звонкой ши. Зато через семь лет я знал уж наверное, как это оно было на подъезде к Туапсе у курсанта и курсистки — у краснощеких близнецов на пути следования к отеческим гарнизонным пенатам — положенных жизнерадостным проводником на одну полку в южном, омертвевшем и затихшем от полуторасуточной духоты поезде. “Ничего, поспите ночку валетом”, — сказал проводник, ожесточенно чеша под голубой рубахой. Интересно, можно ли спать *валетом без храна?*

Железные железы состава ощутимо напряглись, раздулись и необходимо пыхнули. Купе качнулось, свет сбегал с зеркала и ушел вниз напротив, в полуоткрытый рот спящего на спине грузина. По широкой обглаженной лестнице отраженного света, с тончайшим жутким зудением, слышимым в промежутках между колесными толчками, покатило вниз, кувыряясь, одинокий зимний комар с лицом исхудалого истребителя. Грузин закрыл рот, шевельнул, как шелкунчик, мшистым кадыком — и стало темно и тихо. Поезд поехал.

Кальсоны я снял, но, приподнимаясь на голове и пятках, надел джинсы и пошел курить. Посторонняя ночь была не видна через забранные тремя темно-малиновыми железными прутами окна тамбура — в них отражались лишь: мое дышащее лицо, и вокруг него дым, и за ним противоположное окно в каких-то невычленимых желто-черных огнях. Точнее, противоположная дверь. А в углу у двери в межвагонный переход сидел на холщовом бауле худой пьяный старик в стеганной ромбами синей телогрейке. Его беззубые щеки были до глаз покрыты тесными белыми точками. Через каждые две минуты он вставал с расплющенного баула и отряхиваясь шагал пару раз туда-сюда. Он был в хромовых сапогах, привезенных с войны, и вдобавок еще хром, всроятно, с тогда же. Собственно, я недолюбливаю тамбуры, эти морозные трясущиеся домики с четырьмя дверьми и без единого выхода. К тому же они почти всегда почему-то полны моряков и их девушек в толстых сиротских бушлатах. Девушки, как одна, огорчительно похожи сзади на море... Вот и сейчас дверь из вагона отворилась, и появился матрос. Он поднял чуть наискось подбородок и округлил глаза, как делает русский человек, когда *от себя* говорит о политике, и, словно продолжая прерванный разговор, тонким голосом сказал: “... думаю, война будет. Но не с Америкой. Они в сорок пятом году наши катюши видели. Будет с Китаем, Японией или Израилем. Ты как думаешь, отец?” Старик, как ни странно, трезво и равнодушно-скуучливо поглядел в сторону, на мое широковолосяе дымное и темное отражение: “Как ни ссы, последняя капля в трусы”. — “И то верно”, — неожиданно согласился матрос: “Пойти посикать, что ли...” — и, перешагнув тамбур, с усилием отворил дверь в зажатую между двумя летящими покачиваю-

щимися вагонами русскую зиму. Я бросил окурок ему вслед и пошел в купе. Комар, проглоченный грузином, тем временем очнулся, напился изнутри пряной, жирной грузинской крови, вырос до размера маленькой мыши, перебрался в основание носоглотки и невероятно усилил через три ее волосатых отверстия свой голос, не потерявший, однако же, природной пронзительности. Все, понял я, мне не заснуть никогда.

“...поезд прибыл в столицу нашей Родины город-герой Москва”, — сказал железнодорожный голос из гладко-пупырчатой купейной стенки, запнулся, пошипел с треском и поправился: “...город-герой Москву”. Купе было уже пусто.

Девятый ленинградский рассказ

Вокруг нашей могилы в кладбищенской тесноте стоят светлотелые сосны, и твердое сизое небо расплосовано ими сверху донизу.

Вокруг нашей могилы лежат и сидят черные, серые, белые камни в низких непокрытых клетках и без клеток; и чернеет в ровных рвах мягкорезиновая вода с неподвижно плывущим по ней задрав хвостик листком; и у скошенных плит, полусъеденных мхом и ветошью десятилетних листопадов пучится перепутанная трава и покачиваются на коленчатых голых расстебелях перхотные мелкоголовые соцветья, и кувркаются через ладно свинченную головку на скрежещущих нейлоновых крыльях полупрозрачные с нефтяным отливом стрекозы, и задавленные венозные буквы уползают вниз; и с коричневых — матовых и глянцевого — овалов сереют широкобровые и широкоухие, изогнувшие глаза и растянувшие губы, растерянные смертью лица. И дальше низкая стена, а за нею — разлинованное, разграненное, плосковерхое и плоскобокое жильё подталкивает рассадненными локтями в промежутки между собой жирнодеревянный сброд деревьев едва прикрывших копеечным лиственьем срам, и в каждом квадрате загораются стекла, а за ними мужчины едят, наклоня головы и в тарелках багровеет еда; и желтые автобусы катят, сжимаясь и разжимаясь, и внутри молчат; и квадратная река с еще не задернутой косой занавесью заката валится замедленно, подкошена мелковолнистозубчатой косой, которую под мышкой тащит за собой под мост до остова раздетый, низкий четырехугольный корабль. Многоугольные острова все поднимаются на своих дымных, наспринцованных голубым электричеством дрожжах, и дрожат в коротих отблесках кривые крыши, выпуклые стены и плоеные колонны; и угольные дожди маршируют сквозь сдвоенный строй лучевых циркулей по несужающимся угольным улицам; и в потных комнатах собираются бородатые люди у неживого вина, и нежный

запах глупости смешивается с грубым запахом глупости, и печаль сопит в неразборчивых словах, и изогнутые женщины обнимают из-за спины, и сколько ж их, юных — юных от колких икр до душных волос, наклоняется, перекрестив на животе руки, чтобы распрямиться со взлетающим платьем; и дорогая музыка благодарности плывет в отделенной от всего тишине.

Вокруг нашей могилы с одной стороны море — краткое море, затворенное море, жемчужное море, но жемчуг погас, оттого что его ни разу не носили. С других же сторон — суша, которая нигде не кончается или кончается столь далеко, что это уже ничего не означает, суша с потушенным поездом, несущимся мимо разрозненных дощатых деревень и рыхлых полукруглых полей, с поездом, лязгающим по мостам над сверкающими вечерними реками с наклоненными к ним слитными, поверху зазубренными, фиолетовыми лесами; с белыми круглоголовыми и ребристо-стальными городами, подвешенными к низкому облакам; с Москвой — красноносой, переваливающейся со стороны на сторону, как тяжелый полукрылый гусь, с бульварной ее расщеленностью и садовой ее расчлененностью. Татарские женщины идут по Москве, и русские женщины идут по Москве, и еврейские женщины идут по Москве, улыбаются их ягодицы, переливаются на опущенных шеех позвонки; зеленые толстые мухи летят над Москвой, купаясь в стеклянной пыли; липовые старые боги сидят на Москве, растянув по подлокотникам неошкуренные руки. Страшная музыка счастья плывет над кирпичным ее огнем.

Вокруг нашей могилы дымный дождь Варшавы проходит глинистым предместьем в распахнутой жестяной рубашке, сквозь которую видна серая безволосая грудь; черно-зеленая Прага на черепичных коленях ползет вверх, к немецкому обрыву Градчан; прострелянный разноцветными пулеметами Париж дышит на свои кучные площади высохшим гипсом и сбродившим собачьим семенем; немецкие горы в зеленых и позолоченных касках шагают друг через друга, чтобы когда-нибудь перешагнуть через врага; а американские горы Нью-Йорка гоняют по зеркальным винтам золотые короткие лодочки, никогда не начинающие и никогда не кончающие свое свистящее скольжение. И еле слышная музыка луны сплывает из белого рупора луны.

Внутри нашей могилы зеленая короткая скамеечка, на которую — прицепив проволочной петлей чугунную дверцу к оплывшему столбику — можно сесть, сторбившись; внутри нашей могилы известковый камень — пористый, серый с белыми крапинами, а под ним зарыты кувшинчики с пеплом: поскольку на нас не хватало русской земли, мы сами отдавали свои тела на сожжение — в гладкие гранитные крематории, так похожие изнутри и снаружи на аэропорты. Но никого там нет, под камнем внутри нашей могилы — ведь мертвые уходят долгими подзем-

ными ходами, и старыми, и прорываемыми ангелами специально для них, перед ними, в сутолоке корней, в сверкании угля, в шипении подземной воды. Из-подовсюду есть эти проходы — и из-под франкфуртской поляны со сваленными посередине осколками немецких шоссе, где бегал когда-то, пузыря в пробитых ноздрях запах древесной гнили и тлея глазами, франкфуртский бык, укротитель наглой кладбищенской зелени, и когда белоголовые дети с рогатками и трещотками сваливались вовнутрь со стены, он странно — низко и медленно — кричал, и все знали, что завтра быка осудят и казнят на площади, и его обезглавленное горбатое тело заруют здесь же, в углу. и, быть может, его забирали с собой ушедшие этого дня; и из-под каменной пражской ступенчатой горки, под которой с вас же возьмут восемь крон, чтобы вы поскакали по серым лестницам, подышали светлым щелочным дождиком, поглядели на ваших собственных мертвецов, хотя их уж полтора века как здесь нет. И даже из заморья, под мусорным дном океана, идут наклоненные вперед тени, оставляя за собой погасшие стеклянные ульи и подстриженную тьму на полированных камнях; и перед ними ангелы — немые ангелы перехода.

Внутри нашей могилы давно нет моего деда, который обнимал меня, и смеялся, и пел, и танцевал, и служил на непонятных службах, и чтобы то ни было, но я знаю, что он был безгрешен, и еще знаю, что где бы ни похоронили меня — а я был грешен и грешен каждый день, — но я поднимусь и пойду под землей или под морем туда же, куда и он, чтобы найти свою очередь в бесконечном ущелье, под лепестком огромной, во всех и зримых, и незримых плоскостях закрученной розы — под желтым, заставленным белыми камнями склоном. И встану в скале рядом со всеми: качаться оставшееся время, как утопленник, притянутый камнем ко дну, — в ожидании музыки, которую знаю, но не слышу — в ожидании дня разрешения и успокоения.

Ярослав АЗУМЛЕВ*

РЕКВИЕМ

Requiescat in pace!

Со святыми упокой!

Вечная память!

I

Из воды — на ненужный воздух,
когда все ничему равно.

(А вечер был в снегу и в звездах,
когда тебя коснулось дно.)

Плыло тело. Был только Волхов.
Воды — волоком. Час — как нож.
И само пространство заволгло —
не отворишь, не протолкнешь!
Стар простор. Но стал он сужен,
стиснут, сплюснен и разможен.
Отчего же он стал не нужен?
Кем кому и зачем был сужен
и навалил стопудовый сон?

(Не с гитарой на веслах
под веселый восторг —
на носилках безмозглых
прямо с молоду в морг!

Тут бесшумно как в детской,
и вопросом не тронь!
Отвечает в мертвецкой
только сиплая вонь.

И в лицо ты и с тыла,
словно камень, молчишь.
В пальцах песня застыла,
как задушенный чиж.)

* Поэтический псевдоним С.В. Петрова

Было молодости немного,
было радости на пятак.
Далеко-далеко до Бога,
но всегда за какой-то так
от порога и до порога,
а живет человек-простак.

II

Нечем стало мне помолиться!
Тряпки с тайны совлечены.
Только хочется умалиться
до ничтожной величины.

И чтоб к чорту вам провалиться,
вам, ученой правды чины!
подавиться бы вам, окаянным,
распоследним куском мертвеца!

Смыло нацело океаном,
замело до конца туманом —
нет лица на тебе, нет лица!

Просто ты в простыни закутан,
а выходит — как ангел бел.
И любой бы Эйнштейн и Ньютон
от безличия оробел.

Человек невелик. Но одно я
не могу, хоть убей, понять:
как же может свое, родное,
так безжалостно провонять?

И не знаю я, как лукавить
и кому пустить подлеца.
И зубов тебе не оскалить —
нет лица на тебе, нет лица!

Путь исплакан мир и исплаван,
ну а горе прет напролом.
И всего ты лишь белый саван
на невидном своем былом.

III

Ум со святыми не упокоит,
и начинаю я воровать
(как на ромашке) — жить
стоит — не стоит,
стоит — не стоит?

Юг, Север, Запад и Восток,
да были ли вы наемни?
На чем оборвется лепесток,
самый последний?

IV

Из воды по воздуху — в землю!
Гроб, одетый в чортов кумач,
на сочувственное глазенье,
гроб, багровый, будто палач.

Кумач задыхается в черноземе,
ком кулаком стучит о ком...
Кончилось! Боже, а что же кроме?
Холмик — как холод. А под бугорком
нечто такое, чего не надо.

Вечная память! О, как ты зла!
Вечная память — как канонада
или как выстрел из-за угла.
Вечная память — как каталажка.
Вечная память — до самого дна!
Вечною памятью монашка
тебя отпевает, совсем одна.

И как же лелеять Божью обиду?
И за нее сыскать на ком?
(Служит теперь по тебе панихиду
инокиня одиноко, тайком).

Если бы время переупрямить!
Но не развязать на горе узла.

Вечная память! Вечная память!
Вечная память! Ох, как ты зла.

V

Холмик стал как вселенский холод
с теплотою родной земли.
Через заупокойный город
с вечною памятью люди шли...

Как далёко еще до Бога
и как близко нам до креста!
В черствой глине лежит так много —
многоглавая пустота!

31 мая — 25 июня 1972 г.

* * *

Люди видели Тебя и насаказано
так, что вся твоя парсуна дегтем мазана.

Или это от забот дня рабочего
Набрехали, что Тебя скособочило?

Чем же, дескать, были вы очарованный?
Ведь у глаз-де цвет воды дистиллированной.

А затылок-де трясет крысьим хвостиком,
На гимнастике душа стала мостиком.

Может быть и так, да вот жаль, что по мосту
запрещается проезд даже помыслу.

Но возможно, что народ завирается
и гурьбою через мост перебирается.

Пусть хоть этак, хоть растак — мост да улица.
Не гулять бы на мосту, а пригулиться!

Пусть и улица пойдет малость пьяная —
не Разъезжая она, не Расстанная!

Пусть Тебя и бесом в бок, пусть — счастливица!
Только дал бы бедный Бог нам увидиться!

12 ноября 1975 г.

Моление об истине

Мне истинки на час, помилуй Бог, не надо.
Я в прописи ее не стану проставлять,
общедоступную — ну, будь она менада,
еще б куда ни шло, а то ведь просто блядь.

Гляжу на незатейливую шлюшку,
расставленную, как кровать,
и скушно верить мне в такую потаскушку,
и тошно херить мне желание познавать.

Мне истины на жизнь, помилуй мя, не нужно,
она мне, как жсна, едина и нудна,
недужно-радужна, всегда гундит натужно
и выпить норовит мсня до дна.

От вечной истины мя, Господи, избави,
я на ногах пред ней не устою.
Но если в силах Ты, а я в уме и вправе,
подай мне, Боже, истину мою!

Гильберт-фуга

Am Anfang war das Zeichen

Hilbert

Аз есмь какой-то изначальный знак.
И пусть он тощ и хром и нагло наг!
Бродяга! Сукин сын!! Варнак!!!

На высоте ума произрастают знаки,
добра и зла обугленные злаки,

чернильные смешные семена,
прозрачные как звуки имена.

Пространство точно лист бумажный чисто,
от ярости белым-бело,
но скачут по нему, как черти, числа.
Каким их ветром намело?

Застенка моего студены кафли,
ползут по ледяным ладоням слизи слез.
Как вытянулись восклицаний капли!
Как вью гнет червяк-вопрос!
И бытие в уме держу я как в остроге,
и знаки-стражи страшно многогоги.
Кишит меж палочек сухих широт и длин
жучков-значков порядок муравьиный,
Над временем, как над немой равниной,
прогрессий врезан журавлиный клин.
И существуя в беспредметных играх,
и порождая сущее из Пи,
и отсылая яви на ХУ*,
сочтя себя (а чем?), ложись и спи.
И если сон прямолинейно начат,
и на него не жаль уму трудов,
то знаки сна ей-ей не меньше значат,
чем знаки книг, деревьев и следов.

А кто сказал, что числа неподвижны,
что величины все себе равны?
Личины вечной сущности полны
И вещи точно знаки непостижны,
но лишь с обратной стороны.

Ползут жуки — глаголи, люди, буки —
и возношусь над ними я зело.
Ах, нахлобучки тайные науки,
ах, знаки, призраки и звуки!
Каким их ветром намело?

* икс-игрек

В какие иноки бы я постригся,
в какой пустыне я искал воды
как путник в путах и дошел до икса,
утыкан иктами беды?

Видеодивная уравнений грядки
и в том что пустоты все равны,
когда выстраиваются порядки
на уровне безумной вышины,
я что-то значу в виде чернокутца,
а с четырех сторон и так и сяк
четыре действия вокруг меня толкутся,
но сам я только одинокий знак.

17 февраля 1970 г.

Третий женский портрет

Как будто выглянув из детской,
глаза лучисты и чисты.
Послушницею полусветской
себя подслушиваешь ты.
“Наверно, нежный Ходовецкий
гравировал твои мечты”.

Голубоглаза, как у Греза,
Не уличенная ни в чем,
твоя задумчивая греза
склонилась над твоим плечом...

Но и сама в себе покоясь,
ты можешь жадничать и жечь.
И как экватор, тонкий пояс
тебе нетрудно пересечь.

Там страсть Господня — без страданья,
распятие — но без креста,
и как над Горним надруганье,
как сатанинская Pieta, —

миндальных бедер содроганье
и напряженье живота.

Какой задорною мадонной
ты притворяешься, дабы
жать и низиною бездонной
лжжать, вставая на дыбы!

Завещание

(фуга)

Я продолжаюсь... Этот август — мой,
и я пока еще шагаю без запинки.
Иду по скособоченной тропинке
и возвращаюсь в августе домой.
Но скоро ль разум облачится тьмой
и справит по нему жена поминки,
и жизнь пойдет предсмертной кутерьмой?
Я с самого рожденья жил и рос,
но в старости сгибаюсь как вопрос,
расхристанный хохол иль просто малоросс,
как долгоклювый мертвотушный Гоголь,
и спрашиваю под шумок, а много ль
недель мне жить? Но азбуки не зная,
я припеваючи, как Вечный Жид, живу.
И смерть узнаю я не наяву,
а в дряхлом сне. И жизнь моя сквозная
не покидает даже дом,
где вечным я сижу всегда Жидом
и, погружаясь в гробовые доски,
отшучиваюсь, Боже, по-жидовски.
Сгибаюсь мыслями в горбатый знак вопроса,
по-воробынному клюю рассыпанное просо.
А воробышка кто? Блаженная пичуга.
А лето покривилось как лачуга
от гроз, нагрывавших и с севера и с юга.
От ига стариковского недуга
трясусь, как Вечный Жид иль старый воробей,
робея, будто жук, вонючий скарабей,
катая из вещей ничтожных завещанье,
по вечности, куда еще жив,

пока я Вечный Жид и смерти не нажив,
вдоль августа тащусь я по тропинке.

Кивают мне невинные травинки,
и этим травам я, Бог весть зачем, но рад,
мне по сердцу зеленый их наряд.
Любой травинке я столетний брат
и по моим годам брожу я разом
лохматым барсуком, колючим дикобразом.
Ломаю я надтреснутые сучья,
зане природа у меня барсучья,
и норовлю я в старость как в нору
укрыться как в последнюю дыру.
Колюч как дикобраз иль даже Божий еж,
живу и ежусь я от старости. Ну что ж?
Какой же рок меня вот так нарек —
старик, зубастый как хорек,
который душит дур и белых кур,
он, бывший балагур и бедокур.
И с палочкой кривой слоняясь меж вещами,
как иероглиф Солнца — скарабей,
жене я оставляю завещанье
как жирный том моих лирических скорбей.
Послушай напоследок, друже Муза,
мне в старости бывает каково,
когда я сам себе великая обуза,
а в целом мире нету никого
опричь тебя. И посредине спора
С моим расстроеным нутром
ты посох мне и палка и опора,
пока еще далеко Божий гром,
Ты ластишься: пожить еще попробуй!
Пусть, дескать, гинут сверстники твои.
Стихи бегут как по весне ручьи.
Неприрученные, они еще ничьи.
Не стану спрашивать врачей я о прогнозе.
О смерти нынче буду думать сам,
как о мгновенном мифе, как о прозе,
которая не верит чудесам.
Прощаюсь я с собой и на разлуку
я подаю последней фуге руку.
Авось в краю моих родимых Муз
назло смертям как дым и даль очнусь.

Авось инобытийствовать я буду
и в десять вечностей я сдуру попаду.
А вечность — будто хлеб печеный на поду.
Помилуй, Боже, грешного зануду,
Сидит он в августе, как бы в густом саду.
В последний раз я спрашиваю, кто я,
как шало я полжизни вопрошал,
не место ли в поэзии пустое
и стих мой, как разбойник, согрешал?
Вопрос горбат, и на его горбу
неужто в рай лирический не въеду?
И что мне зарубить теперь на лбу?
Вся жизнь мне въедлива была, и следу
бесслезного она мне не оставит.
Мой август вечности мне не прибавит
ни к осени, ни к смерти бесконечной,
копеечной, юродивой, увечной.

Авось как Вечный Жид я буду жить,
кому и ни к чему меж строчек шляться,
кто все еще способен размышляться.
Не породнюсь я с вечностью земной.
Какая вечность будет жить со мной?
С какой же слажу, рифмоплет сумной?
Авось я буду без задора жить
и попусту ничем не дорожить.
Авось возникну я ничьей водой ручья.
Авось и будет смерть моя ничья.

1984 г., август

ПУБЛИКАЦИИ

Владимир НАБОКОВ

А Д А

(Продолжение. Начало в «ВНЛ» №3 и 4)

8.

В то же утро, или пару дней спустя, на террасе:

«Mais va donc jouer avec lui,⁵⁰ — сказала мадам Ларивьер, подтолкнув Аду, чьи юные бедра безвольно дрогнули от этого толчка. — Не позволяй своему кузену se morfondre⁵¹ в такую прекрасную погоду. Возьми его за руку. Пойди покажи ему белую леди на твоей любимой тропинке, горку и большой дуб».

Ада повернулась к нему, пожав плечами. Прикосновение ее холодных пальцев, влажная ладонь, и смущение, с каким она откидывала назад волосы, смутили его тоже, и он высвободил свою руку, сделав вид, что ему нужно подобрать еловую шишку. Он запустил шишкой в мраморную дёву, склоненную над амфорой, но лишь спугнул птицу с края разбитого кувшина.

«Ничего нет банальнее, — сказала Ада, — чем швыряться камнями в зяблика».

«Извини, — сказал Ван, — я вовсе не хотел испугать эту птичку. Но вообще-то я не из тех, не из деревенских, чтобы отличить шишку от камня. А в какие игры, au fond,⁵² она думает, мы будем играть?»

«Je l'ignore,⁵³ — ответила Ада. — Меня мало волнует, чем занят ее скудный ум. Cache-cache,⁵⁴ я полагаю, или по деревьям лазать».

«Ну, это-то я хорошо умею, — сказал Ван. — Я могу даже по веткам прыгать».

«Нет, — возразила она, — мы будем играть в мои игры. В игры, придуманные мною. В эти игры Люсетта, я надеюсь, сможет играть со мной в будущем году, бедняжка. Ладно, давай-ка начнем. Данная группа игр относится к разделу "свет и тени", и две из них я тебе покажу».

«Понятно», — пробормотал Ван.

«Понятно будет потом, — продолжала прелестная педантка. — Прежде всего следует найти подходящую палочку».

«Посмотри, — прервал её всё еще обиженный Ван, — вот еще один зя-зя-зяблик».

Но тут они дошли до *gond-point*, — небольшой круглой площадки, окруженной клумбами и буйно цветущими кустами жасмина. Над ними липа устремила руки к ветвям дуба, подобно цирковой красотке в зеленом трико, усыпанном блестками, которая взлетает навстречу своему могучему отцу, свисающему с трапеции вниз головой. Даже в то время мы оба кое-что уже понимали в этих небесных знаках. Даже тогда.

«Эти ветки наверху похожи на акробатов, правда?» — показал на них Ван.

«Ну, конечно, — ответила она. — Я открыла это давным-давно. Липа, она ведь “летающая итальянка”, но болен старый дуб, болен старый любовник, а все еще ловит ее», — (невозможно воспроизвести точно интонацию, передающую все оттенки сказанного ею — это через восемьдесят-то лет! — но она действительно произнесла нечто экстравагантное, нечто совсем не соответствовавшее ее нежному возрасту тогда — тогда, когда они одновременно взглянули вверх, а потом опустили головы).

Глядя под ноги и поигрывая заостренной зеленой палочкой, которую она вытащила из куста пионов, Ада объясняла первую игру.

Тени листьев на песке причудливо соседствовали с пятнами солнечного света. Каждый играющий выбирает своё световое пятно — самое круглое и яркое — четко обводит его по контуру острием палочки; из-за этого желтое пятнышко кажется выпуклым, словно золотая краска вот-вот перельется через край. Затем игрок палочкой или пальцами аккуратно выгребает землю из кружка, ограниченного пятном. Сверкающая пленка *infusion de tilleul*,⁵⁵ таинственно сжимаясь, погружается в глубину земляной чашки, пока не превратится в одну драгоценную каплю. Выигрывает тот, кто сделает больше таких чашек, скажем, минут за двадцать.

«И все?» — с недоумением спросил Ван.

Нет, не все. Ада, перемещаясь на корточках, обводила четким кругом великолепное золотистое пятно; ее черные волосы касались гладких, как слоновая кость, коленей, которые все время двигались, пока руки были заняты работой: в одной она держала свою палочку, а другой то и дело отбрасывала со лба назоливые пряди волос. Подул легкий ветерок, и пятно исчезло в тени. В этом случае игрок теряет одно очко, даже если тень от листа или облака, мгновенно промелькнув, исчезает.

Хорошо. А что за другая игра?

Другая игра (назидательно), может быть, немного сложнее. Играют в нее только после полудня, когда тени делаются длиннее. Играющий...

«Да при чем тут “играющий”. Это или ты, или я».

«Предположим, ты. Ты очерчиваешь мою тень на песке по контуру. Я отхожу. Ты опять ее очерчиваешь. Потом отмечаешь новую границу (передает ему палочку). И, если я опять отступаю...»

«Слушай, — сказал Ван, отбрасывая палочку, — лично я считаю, что это самые скучные и дурацкие игры, какие только можно выдумать где угодно и когда угодно, хоть до полудня, хоть после».

Она промолчала, но ее ноздри дрогнули. Она подобрала палочку и в бешенстве воткнула глубоко в глину — в то самое место, где палочка торчала раньше, поддерживая тяжелый пион, на который Ада снова накинула петельку, молча кивнув благодарному (*облагодетельствованному*) цветку. И пошла к дому. Интересно, подумал Ван, станет ли ее походка грациозней, когда она вырастет.

«Я неотесанный, грубый мальчишка, прости меня, пожалуйста», — сказал он.

Не оборачиваясь, она опустила голову. В знак некоторого примирения она показала ему два мощных крюка, продетых через железные кольца в стволах двух тюльпанных деревьев, между которыми, когда-то, еще до ее рождения, другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, обычно покачивался в гамаке, и спал там в разгар лета, когда ночи становились душными: все-таки здесь была широта Сицилии.

«Хорошая идея, — сказал Ван. — Кстати, правда, что светлячки жгутся, если натыкаются на тебя? Нет, я просто так спрашиваю. Просто дурацкий вопрос городского мальчика».

Потом она показала ему, где хранился тот самый гамак — целая куча гамаков, в холщовом мешке, который был набит прочными, мягкими сетками и валялся в углу подвальной мастерской за кустами сирени; ключ от подвала прятали в дупле, там еще в прошлом году было птичье гнездо — неважно, какой птицы. Луч ярко вызеленил крышку длинного зеленого ящика, где держали все необходимое для крокета; шары куда-то скатили с горки неусмные сорванцы, маленькие Эрминины, ровесники Вана, которые теперь стали тихими и милыми.

«Как все мы в этом возрасте», — заметил Ван и наклонился, чтобы поднять изогнутый черепаховый гребешок — из тех, какими девушки собирают волосы на затылке в узел; точно такой же он видел совсем недавно, но когда, в чьих волосах?

«У одной из горничных, — сказала Ада. — И эта затрепанная книжонка должно быть тоже ее, *Les Amours du Docteur Mertvago*⁵⁶, мистический роман пастора».

«Чтобы играть с тобой в крокет, — сказал Ван, — нужны, наверное, ежи и фламинго».

«Мы с тобой читаем разные книги, — отвечала Ада. — Мне так долго внушали, будто “Дворец в Стране Чудес” — это именно та книжка, которую я непременно должна обожать, что у меня выработалось стойкое предубеждение к ней. Ты читал рассказы мадемуазель Ларивьер? Ну так еще прочтешь. Она убеждена, что в каком-то из своих прошлых индустрических воплощений была истинной парижанкой — и пишет в таком духе. Можем *пробратся* отсюда потайным ходом прямо в парадный холл, но вроде бы мы должны пойти посмотреть *grand chene*,⁵⁷ хотя на самом деле это вяз». Любит ли он вязы? Знает ли стихотворение Джойса о двух прачках? Да,

знает. Оно ему нравится? Нравится. Ему и правда начинали очень нравиться эти оды, сады и ады. Они рифмовались. Сказать ей?

«А теперь...» — она остановилась, глядя на него.

«Да? — ответил он. — И что же теперь?»

«Вероятно, мне не стоило бы развлекать тебя после того как ты растоптал мою игру; но я готова смягчиться и показать тебе настоящее чудо поместья Ардис; это мой ларварий — он рядом с моей комнатой». (Как странно, он никогда там не был... никогда, подумать только!)

Она плотно затворила за собой дверь, и они оказались в холле, отделанном мрамором (как выяснилось, перестроенная ванная), где располагалось нечто, напоминающее сублимированный крольчатник. Несмотря на то, что помещение хорошо проветривалось — геральдические витражные окна были распахнуты (снаружи доносился свист и щебет вечно голодного и ужасно встревоженного птичьего племени), здесь воняло клеткой и ощущался запах сырой земли, гниющих корней и даже, может быть, козла. Прежде чем подпустить Вана поближе к клеткам, Ада принялась возиться с задвижками и дверцами, и ощущение бесконечной пустоты и подавленности пришло на смену тому сладостному огню, какой охватил его сегодня с самого начала их невинных игр.

«Je raffole de tout ce qui rampe (Я без ума от всего, что ползает)» — сказала она.

«Что касается меня, — ответил Ван, — то я предпочитаю таких, которые, чуть их коснись, сворачиваются в клубок — и засыпают, совсем как старые псы».

«Да не засыпают они, quelle idee⁵⁸, это у них обморок, беспамятство, — пояснила Ада, нахмурившись. — И можно себе представить, какое они испытывают потрясение, особенно молоденькие».

«Да, мне тоже легко представить. Но, думаю, что к этому привыкаешь, я хочу сказать, постепенно привыкаешь».

Но вскоре его невежественные сомнения сменились эстетическим переживанием. Спустя много десятилетий Ван вспомнил об этом — когда его привели в восторг гусеницы “капюшонницы”, прекрасные, голые, блестящие, яркие, пятнисто-полосатые, такие же ядовитые, как и цветы коровяка вокруг них, и тогда, когда он восхищался плоской личинкой местного ленточника, чьи серые бугорки и бляшки имитировали наросты и мох на ветке, за которую она цеплялась так крепко, что словно бы срасталась с нею, и, конечно же, тогда, когда видел маленькую “волнянку”, чья черная шубка вдруг оживала на спине красными, синими и желтыми пучками неравной длины, напоминаая причудливую зубную щетку, раскрашенную патентованными красками. И такое сравнение, по колориту, напоминает мне сегодня энтомологические заметки в дневнике Ады, — которые где-то у нас должны быть, дорогая, по-моему, в том ящике, нет? ты думаешь, не там? Да! Ура! Вот образчики (твой

округлый почерк, моя любовь, тогда был крупнее, но, кроме этого, ни в чем, ни в чем, ни в чем не изменился:

«Втягивающаяся голова и дьявольские анальные отростки этого разрисованного монстра, из которого получается скромная “хохлатка”, принадлежат самой негусеничной гусенице, с передними сегментами в форме кузнечных мехов и физиономией, напоминающей выдвинутой объектив фотокамеры. Если осторожно поглаживать ее пятнистое гладкое тельце, то ощущается приятная шелковистость, пока раздраженное существо не прыснет неблагоприятно ядовитой жидкостью из щели на шее».

«Доктор Кролик получил из Андалузии и любезно преподнес мне пять молодых личинок недавно описанной Черепуховой Кармен. Эти существа восхитительны, у них великолепная нефритовая окраска, серебристые зубы; и они встречаются только на высокогорных ивах почти исчезнувшей разновидности (их дорогой Кролик тоже достал для меня)».

(В десять лет, а то и раньше это дитя прочитало — так же, как и Ван, Les Malheurs de Swann⁵⁹, что видно из следующей записи):

«Мне кажется, Марина перестала бы дуться на меня из-за моих коллекционерских причуд (“Есть что-то неприличное в том, что маленькая девочка разводит этих мерзких тварей...”, “Нормальные юные леди обязаны испытывать отвращение к змеям и червям” и так далее), если бы я убедила ее побороть старомодную брезгливость и посадила бы ей на ладонь (от пальцев до запястья — одной только ладони мало!) благородную куколку орхидеицы (лиловые тона месье Пруста), этого семидюймового колосса телесного цвета, с бирюзовыми арабесками, в позе надменного сфинкса вздымающего свою гиацинтовую головку».

(Отлично! сказал Ван, но даже я поначалу, в молодости, не мог сразу привыкнуть к этому. Однако не будем добивать обывателя, который листает эту книгу и небось думает: «Что за шуточки у этого старика В.В.!»)

В конце такого далекого, такого близкого лета 1884 года Вану, прежде чем покинуть Ардис, пришлось нанести прощальный визит в ларвариум Ады.

Фарфорово-белоснежная, пятнистая личинка *капюшонницы* (или “акулы”), жемчужина коллекции, благополучно дожила до своей очередной метаморфозы, но уникальная Адина Лорелея умерла, пораженная ихневмоном, которого не обманули хитроумные выступления и грибовидные кляксы. Разноцветная зубная щетка уютно окуклилась, обещая впоследствии, к осени, “персиянку тепличную”. Две личинки “хохлатки” приобрели еще более безобразный, но хотя бы более червеобразный и, в каком-то смысле, более respectable вид: их ножки теперь вяло волочились за ними, а пурпурные отливки смягчали некоторый кубизм их экстравагантной раскраски, они *«дыбились»*, быстро перемещаясь по полу клетки, в приливе предкукольного волнения. Аква с той же целью в прошлом году прошла сквозь лес и достигла ущелья. В солнеч-

ном луче затрепетали лимонно-янтарные крылышки свежевылупившейся нимфалиды “кармен”, которая тут же задохнулась, стиснутая ловкими пальцами упосенной и безжалостной Ады; одеттин “сфинкс” превратился, слава Богу, в слоноподобную мумию с комически-рыцарственным торсом германтоидного типа; а в это время на другом полушарии, на опушке, доктор Кролик сменял на своих коротких ножках, преследуя какую-то редкую “белянку”, известную как *Antocharis ada* Кролика (1884), но впоследствии названную *A.prittwitzi* Штюмпера (1883), по неумолимому закону таксономического приоритета.

«А когда эти твари вылупляются, — спросил Ван, — что ты с ними делаешь?»

«Да я их просто отношу, — ответила Ада, — к помощнику доктора Кролика, а он уж распределяет, подписывает, подкальывает и устанавливает их на стеклянных подставках в чистеньком дубовом шкафу, который достанется мне, когда я выйду замуж. У меня тогда будет большая коллекция, и я по-прежнему буду разводить чешуекрылых; моя мечта — открыть Институт нимфалид и фиалок, всех существующих фиалок. Яйца и личинки доставляли бы мне самолетом со всех концов Северной Америки, и еду для них — секвойную фиалку с Западного Побережья, бледную фиалку из Монтаны, фиалку прерий и фиалку Иглстоуна из Кентукки, и редчайшую белую фиалку из таинственного болота около безымянного озера на некой арктической горе, где водится драгоценная “нимфалида малая”. Конечно, когда эти штуки появляются на свет, их очень легко спаривать: держишь в руках, вот так, иногда довольно долго — со сложенными крылышками, — (демонстрирует собственный метод, не смущаясь неопрятным видом своих ногтей), — самец в левой руке, самка в правой, или наоборот, но так, чтобы кончики их брюшек соприкасались, причем они должны быть совсем свеженькими и буквально *пропитаны* своим любимым запахом фиалки.»

9.

Была ли она действительно хороша в свои двенадцать лет? Действительно ли хотел он тогда хотя бы раз обнять ее? Худую ключицу покрывал каскад черных волос, а ее манера отбрасывать их назад и ямочка на бледной щеке мгновенно узнавались как некое откровение. Ее бледность ослепляла, ее смоль сияла. Плиссированные юбки, которые она так любила, всегда были короткими, что ей очень шло. И ее обнаженные ноги, ее оголенные руки казались настолько незагорелыми, что взгляду, скользящему по бледным лодыжкам и предплечьям, открывались косые полоски нежного темного пушка — шелк ее девичества. Темно-карие радужки настороженных глаз были загадочно непроницаемы, как у восточного гипнотизера (с рекламной страницы журнала) и казались сме-

щенными — так, что когда она смотрела прямо на вас, то между нижним краем радужки и влажным нижним веком возникал изогнутый полумесяц белка. Можно подумать, что ее ресницы покрашены, так оно и было на самом деле. От сходства с очаровательной феей ее спасал нечеткий рисунок сухих губ. Ее простецкий ирландский носик был миниатюрной копией ванаваа носа. У нее были белоснежные, но не очень ровные зубы.

А ее бедные очаровательные ладошки — невозможно не умиляться от жалости, склоняясь над ними — розоватые в сравнении с почти прозрачной кожей предплечий, розовее, чем даже локти, которые словно бы краснели от стыда за состояние адиных ногтей; она так изгрызла их, что они, как тугая проволока, глубоко впивались в плоть, придавая ее пальцам форму лопаточек. Позже, когда он полюбил целовать ее холодные руки, она сжимала кулачки, губы его наталкивались только на костяшки ее пальцев, и он в неистовстве разжимал ладоны, чтобы добраться до этих плоских прохладных подушечек. (Но, о Боже, о эти длинные, ленивые, серебристо-розовые, покрашенные и наостренные, нежно жалящие ониксы ее отрочества, ее зрелости!)

То, что испытывал Ван в первые, такие странные дни, когда она показывала ему дом — и укромные уголки, где им вскоре суждено будет предаться любви, было соединением восторга и муки. Восторга — от ее бледной, сладостной, невозможной кожи, от ее волос, ног, от ее угловатых движений, от ее запаха — лани и луга, — от неожиданно гневного взгляда ее широко расставленных глаз, от сельской наготы ее тела, едва прикрытого платьем; муки — от того, что между ним, неловким школьным гением, и этим ребенком, не по летам развитым, жеманным, непостижимым, возникла какая-то черная пустота, темная пелена, прорвать или пробить которую не могла никакая сила. С его губ срывались ругательства, когда он, в безнадежности одинокой постели, давал волю своим воспаленным чувствам, не в силах освободиться от ее всепоглощающего образа, от воспоминания о том, что произошло во время их второй экскурсии на чердак: она забралась на капитанский сундук, чтобы открыть нечто вроде иллюминатора, так можно было пролезть на крышу (даже собака как-то пробралась туда), ее юбка, зацепившись за какую-то скобу, задралась, и он увидел — как человек, который стал свидетелем омерзительного чуда библейской легенды или жуткой метаморфозы мотылька, — темный мох на теле этого ребенка. Он заметил, что она, кажется, поняла, что он заметил или мог заметить (но он не только заметил — он сохранял в памяти нежный ужас этого наваждения до тех пор, пока наконец не избавился от него — намного позже и весьма необычным способом), и странная, тусклая, угрюмая гримаса искажала ее лицо: ее впадые щęki и пухлые бледные губы шевельнулись, будто она что-то жует, и у нее вырвался невеселый смешок, когда он, большой Ван, выполз, извиняясь, вслед за нею на черепицу крыши, на солнечный свет. И тогда, под этим внезапным солнцем, он, маленький Ван,

понял, что до сих пор был только слепой котенок, потому что спешка, пыль и полумрак скрывали от него мышинные прелести его первой блудницы, которой он обладал так часто.

С этого момента воспитание его чувств шло стремительно. На следующее утро он видел, как она умывала лицо и руки, склонившись над старомодным умывальником в стиле рококо, ее волосы были собраны в узел на затылке, ее ночная рубашка опоясывала талию, словно дурацкий венчик, откуда выростала худая спина с проступающими ребрами. Толстая фарфоровая змея обвивала умывальник, и когда он и эта рептилия застыли, увидев умывающуюся Еву и ее мягко подрагивающие груди-почки, большой темно-красный кусок мыла выскользнул у нее из рук, и она, зацепив дверь ногой в черном носке, захлопнула ее с резким стуком, который, скорее, был просто ударом мыла о мраморную доску, чем знаком ее стыдливого раздражения.

10.

Обычный обед в Ардис Колле. Люсетта между Мариной и гувернанткой; Ван между Мариной и Адой; Дак — цвета коричнево-золотистого горноста — то ли между Адой и мадемуазель Ларивьер, то ли между Люсеттой и Мариной (Ван в глубине души вообще недолюбливал собак, особенно за обеденным столом, и уж конечно, этого коротколапого, удлиненного уродца со зловонным дыханием): Лукавая и красноречивая, Ада как всегда, пользуясь особым повествовательным приемом — “monologue interieur”⁶⁰ Поля Бурже, позаимствованный у старого Льва, — персказывала свой сон, новое чудо естественной истории, или какую-то забавную чушь из постоянной рубрики “Элзи де Нор” — о вульгарной даме литературного полусвета, которая считала, будто Левин прогуливался по Москве в *pagol’ny tulip* (“мужицкая овечья шуба мехом внутрь, кожей наружу”, как определил словарь, недоступный для “Элзи”, но извлеченный нашим комментатором с видом победительницы). Ее эффектное обращение с придаточными, ее реплики в сторону, ее сладострастное акцентирование стоящих рядом односложных слов (Идиотка Элзи просто не умеет читать) — все это как-то действовало на Вана в низменном, половом смысле, подобно искусственному возбуждению или экзотическим садистским ласкам, которые одновременно и возмущали его, и давали ему извращенное наслаждение.

«Ну, дорогая», — то и дело всмшивалась ее мать, перебивая монолог Ады короткими ремарками: “Потрясающе!”, “Экая прелесть!”, и при этом не забывая вставлять воспитательные замечания, вроде “Не сутулься” или “Ешь, моя дорогая, ешь” (выделяя слово “ешь” с материнской настырностью, абсолютно отличной от спондических злобных сарказмов своей дочери).

Ада, то выпрямляясь на стуле, делая прямую спинку, то, когда ее сон или ее приключение — о чем бы она ни рассказывала — достигали кульминации, склонялась над столом, с которого предусмотрительный Прайс уже убрал тарелку — и вдруг ее локти заполняли весь стол; снова откидывалась назад и, строя страшные гримасы, изображала что-то “длинное-длинное”, вытягивая руки вверх — все выше и выше!

«Моя дорогая, а ты ведь еще не попробовала... пожалуйста, Прайс, принесите...»

Что же еще? Веревку для голопузого сына факира, чтобы вскарабкаться прямо в синеву?

«Оно было такое длинное-длинное. То есть... (прерывая себя) ...ну как щупальце... нет, постойте...» (мотает головой, дергается, словно распутывая моток пряжи одним резким рывком).

Нет: огромные сиренево-розовые сливы, на одной лопнула кожица, обнажая влажно-желтую расщелину.

«И тут я...» (волна волос, рука, взлетевшая к виску, начатое, но не завершённое движение, с которым она обычно отбрасывает непослушные пряди, затем вдруг взрыв хрипловатого звонкого смеха, переходящего во влажный кашель).

«Нет, мама, серьезно, ты только представь, я молчу, ни звука, и кричу молча, и тогда понимаю...»

После третьей или четвертой пермены Ван тоже кое-что понял. Ада была не настолько очаровательна, чтобы произвести впечатление на нового человека, и ее поведение представляло собой, скорее, отчаянную и успешную попытку не дать Марине возможности завладеть беседой, которая тогда превратилась бы в лекцию о театре. С другой стороны, Марина, в ожидании парадного выезда на своей тройке любимых коньков, испытывала некое профессиональное наслаждение, играя банальную роль любящей матери, которая гордится сиюминутным обаянием и юмором своей дочки и снисходительно, с таким же точно юмором и обаянием, принимает их: именно она старалась произвести впечатление — вовсе не Ада! И когда Ван понял истинный смысл происходящего, он воспользовался паузой, (которую Марина собралась было заполнить Станиславскиадой), чтобы направить Аду в бурные воды Ботнического залива, в путешествие, способное ужаснуть его при других обстоятельствах, но теперь предоставлявшее его девушке наиболее простой и безопасный курс. Особенно важным это оказалось за ужином, так как Люсетта и ее гувернантка уже поужинали у себя наверху, м-ль Ларивьер отсутствовала в эти критические моменты, поэтому нельзя было рассчитывать, что она перехватит инициативу у иссякшей Ады и жизнерадостно поведает о своей работе над новой повестью (ее знаменитое “Бриллиантовое ожерелье” находилось при последней стадии отделки) или вспомнит детство Вана с неизбежной историей про его лю-

бимого учителя русского, который слегка ухаживал за м-ль Л., писал “декадентские стихи” в рваных ритмах и пил по-русски в одиночестве.

Ван: «А вот там желтое (об изящном цветочке на эккеркроунском блюде) — это что? лютик?»

Ада: «Нет. Этот желтый цветок — просто калужница болотная, *Caltha palustris*. В дешных местах крестьяне по ошибке называют его “первоцветом”, хотя, конечно же, настоящий первоцвет, *Primula veris*, совершенно другое растение».

«Понятно», — сказал Ван.

«Да, верно, — вмешалась было Марина, — раньше я увлекалась собиранием цветов, а потом, когда я играла Офелию, мне это...»

«...Несомненно помогло, — закончила Ада. — А по-русски он *Kuroslep* (мужики в Татарии, несчастные, неправильно думают, что это лютик), или иначе *Kaluzhnitsa*, как совершенно правильно называют его в Калуге, США».

«А», — сказал Ван.

«А когда этих цветов много, — продолжала Ада с тихой улыбкой помешанного ученого, — их называют по-французски *souci d'eau*, и это неудачное название нашего растения при переводе было совсем уж преврали и превратили в...»

«Ноготки — в какой-нибудь венерин башмачок?» — подхватил Ван Вин.

«*Je vous en prie, mes enfants!*» — вмешалась Марина, она с трудом следила за разговором и теперь, плохо понимая, о чем идет речь, решила, будто говорят о туалете или одежде.

«Кстати, сегодня утром, — сообщила Ада, не устаивая мать объяснением, — наша ученая гувернантка, которая была также и твоей, Ван, и которая...»

(Впервые она произнесла его имя — на этом уроке ботаники!)

«...сурово относится к англоговорящим мутантам — этим обезьянам, их еще называют “ревунами” — хотя я все же подозреваю, что его руководят скорее шовинистические, нежели артистические или нравственные соображения, — привлекла мое внимание, мое блуждающее внимание, к действительно великолепным ноготкам, как ты выразился, Ван, господина Фаули⁶¹ из его *soi-disant*⁶² литературной версии стихотворения Рембо *Memoire* — Элзи в пароксизме восторга объявляет ее “чуткой”... чуткой!...(прозорливая гувернантка, к счастью, заставила меня выучить наизусть это стихотворение, хотя, кажется, сама она предпочитает Мюссе и Коппе)...»

«...*les robes vertes et deteintes des fillets...*»⁶³ — торжественно продекларировал Ван.

«Так точно, — (подражая Дану). — И вообще Ларивьер разрешает мне читать его только в антологии Фостена, очевидно, у тебя такая же,

но скоро, очень скоро я получу его *oeuvres completes*, скорее, чем все вы даже можете предположить. Кстати, она скоро спустится сюда, после того как уложит спать Люсетту, нашу рыженькую, которая, вероятно, уже облачилась в свою зеленую ночную рубашку...»

«Angel moi⁶⁴, — взмолилась Марина. — Я уверена, что Вана совершенно не интересуется ночная рубашка Люсетты!»

«... цвета ивы, и сейчас она считает овец на *ciel de lit*, которое у Фаули превращается в “небесное ложе” вместо “небосвода”. Однако вернемся к бедному цветку. Сей фальшивый *louis d’or* из коллекции этого мерзкого француза на самом деле представляет собой трансформацию *souci d’eau* (наших болотных ноготков) в дурацкую “заботу о воде”, а ведь в его распоряжении была масса синонимов, таких, скажем, как “майские пузырьки”, “бархатцы”, “кроваяники молли” и много других имен, связанных с праздниками плодородия».

«С другой стороны, — сказал Ван, — легко себе представить такую же двуязычную мисс Риверс, проверяющую французскую версию, ну, допустим, “Сада” Марвелла...»

«О, — воскликнула Ада, — а я могу прочесть свою версию “Le jardin”, вот...»

En vain on s’amuse a gagner
L’Oka, la Baie du Palmier...»⁶⁵

«Добраться до Оки, до пальм и до залива!» — вскричал Ван.

«Ну-ка, дети, — решительно вмешалась Марина, усмиряющим жестом вытянув вперед руки, — когда я была в твоём возрасте, Ада, а мой брат в твоём, Ван, мы беседовали о крокете, или о пони, или о щенках, или о последнем *fete-d’enfants*, или о грядущем пикнике, или ... о миллионе других интересных и нормальных вещей, но никогда, никогда мы не говорили о старых французских ботаниках и Бог знает, о чем еще!»

«Но ты только что сказала, что коллекционировала цветы?» — сказала Ада.

«Но это было всего один сезон, где-то в Швейцарии. И я даже не помню когда. Сейчас это уже не имеет значения».

Подразумевался Иван Дурманов: он умер от рака легких много лет назад в санатории (недалеко от Экса, где-то в Швейцарии, там же спустя восемь лет родился Ван). Марина часто вспоминала Ивана, тот в восемнадцать лет уже был известным скрипачом, но раньше она никогда не проявляла особых эмоций, а теперь Ада с удивлением заметила, что толстый слой грима на лице матери начал таять под внезапным потоком слез (возможно, аллергия на засушенные плоские старые цветы, приступ сенной лихорадки, или гентианитис, как бы диагностировали в недалеком будущем). Марина громко высморкалась, со слоновьим звуком, — так сама она выразилась, ...но тут м-ль Ларивьер сошла сверху выпить кофе и повспоминать о том, как Ван, будучи *bambin angelique*⁶⁶,

обожал *a neuf ans* — мой дорогой — Жильберту Сван *et la Lesbie de Catulle* (и тогда же научился вполне самостоятельно освобождаться от этих наваждений, как только керосиновая лампа, зажата в черном кулаке его няни, уплывала из передвижной спальни.)

Примечания

50. ну, иди, поиграй с ним (*франц.*)
 51. хандрить (*франц.*)
 52. в сущности (*франц.*)
 53. Я не знаю (*франц.*)
 54. Прятки (*франц.*)
 55. Линновый отвар (*франц.*)
 56. Les amour du Dr Merivago: игра слов на фамилии Живаго
 57. большой дуб (*франц.*)
 58. что за идея! (*франц.*)
 59. Les malheurs de Swann: соединенный названий «Les malheur de Sophie» Мадам де Сегюр (урожденная графиня Ростопчина) и «Un amour de Swann» Марселя Пруста.
 60. *monologue interieur*: так называемый “поток сознания” — прием, используемый Львом Толстым (например, при описании последних впечатлений Анны, когда ее коляска катит по улицам Москвы).
 61. Господин Фаули: см. Уоллес Фаули, Рембо (1946).
 62. *soi-disant*: так называемая (*франц.*)
 63. *les robes vertes*, и т.д.: зеленые, застиранные платица девочек (*франц.*) [см. русскую литературную версию М.П. Кудринова:
Зелено-блеклые одежды дев... (прим. пер.)]
 64. *angel moi*: ангел мой (*русск.*)
 65. *en vain* и т.д.:
 Тщетна надежда, что играя достигнешь
 До реки Оки и залива Пальм
 66. *bambin angelique*: ангельский мальчик (*франц.*)

ЯН САТУНОВСКИЙ: «Я — НЕ ПОЭТ...»

Яков (Ян — псевдоним) Абрамович Сатуновский родился в 1913 году в Екатеринославе (Днепропетровск). В конце 20-х годов учился в Москве, в техникуме. Потом — Днепропетровский университет, химический факультет. Стихи писал с ранней юности, но, по собственному признанию, «свое первое стихотворение (которое “считается”) написал только в возрасте 25 лет». В студенческие годы Ян Сатуновский активно сотрудничает с днепропетровскими газетами, хотя печатает, разумеется, совсем не то, что «считается».

Потом — армия. На фронте — с первых дней войны. Был ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. После войны обосновался в подмосковном городе Электросталь, работал инженером-химиком вплоть до выхода на пенсию в 1966 году. В 1961 году Ян Сатуновский познакомился с Оскаром Рабиным и стал неизменным участником лианозовских «барачных» выставок и чтений стихов. То, что «считается» и читается в Лианозове и позднее — в других мастерских и квартирах — по-прежнему нигде не публикуется. Издаются только детские книжки поэта (всего вышло более двадцати). В 70-х годах появляются публикации в эмигрантской прессе. От издания книги в Париже Ян Сатуновский отказался, опасаясь репрессий в отношении родных. Умер в 1982 году.

Русская поэзия, кажется, только начинает понимать, чем обязана этому скромному инженеру-химику, который сам говорил о себе: «Я — не поэт, не печатаюсь с одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года...» Он действительно не поэт, во всяком случае не такой, каким тому вроде бы полагается быть. Дело даже не только в советском литературном конвейере, без числа штамповавшем преуспевающих «певцов новой жизни», к которым, собственно, и обращены процитированные строчки. Сатуновский — вообще не «певец». «Юноша бледный со взором горящим» — это не про него.

А я вхожу с авоськой, соль, мыло, лук.
На, пырни меня своими всевидящими,
всененавидящими, —

вот Сатуновский. И это принципиальная авторская позиция.

В конце 20-х — начале 30-х годов, когда Ян Сатуновский учился в Москве, он, совсем еще юный, начинающий поэт, имел возможность познакомиться с московской литературной жизнью, в которой тон тогда задавали конструктивисты: «Помню ЛЦК — литературный цех конструктивистов, помню констромол — конструктивистский молодец...» Это были последние всплески «левой» поэзии 20-х годов (разгром

которой уже шел полным ходом), но Ян Сатуновский успел получить важный творческий импульс, определивший его дальнейшее развитие. В центре московской «левой» поэзии, конечно, высилась фигура Маяковского, под обаянием которого находилась вся поэтическая молодежь, и Ян Сатуновский не стал исключением:

Я был из тех — московских
вьюнцов, с младенческих почти что лет
усвоивших, что в мире есть один поэт,
и это Владим Владимыч; что Маяковский —
единственный, непостижимый, равных нет
и не было;
все прочее — тьфу, Фет.

Речевая прививка, сделанная поэтическому языку стихом Маяковского, открывала, казалось, новые горизонты. Но немногим удалось сделать что-то действительно существенное в этом направлении. Возобладало — по понятным причинам — нечто совсем другое, взятое, впрочем, из того же Маяковского: «революционный» словарь, декламация, коммунистическая идеология. Сатуновский же по-настоящему развил речевые достоинства Маяковского, отказавшись в первую очередь от декламации, от громахающего пафоса — коммунистического, да и футуристическо-будетляндского. Ведь «иду, красивый, двадцатидвухлетний» — это тоже не про Сатуновского. Его пафос — частное, человеческое дело, а не пророчества «певца»:

Поэзия — не пророчество, а предчувствие.
Осознанные предчувствия
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

И все же, почему Ян Сатуновский в 60-х годах оказался именно в Лианозове, ставшем тогда не только одним из очагов зарождающегося московского нонконформистского искусства, но и центром отечественной конкретной поэзии? Ведь он очень сильно отличался от таких, всецело ориентированных на игру, гротеск поэтов как Е. Кропивницкий, И. Холин, Г. Сапгир. Ян Сатуновский активно использует игровые средства, но гротескной, чисто игровой его поэтике все же не назовешь. Он сохраняет прямой авторский пафос — лирический, саркастический — какой угодно. Его речь — преимущественно монолог; система ценностей ясно определена (игровая поэтика как раз начинается с того, что отменяет устойчивые авторские оценки). Казалось бы, Сатуновскому логичнее быть не среди авангардистов-лианозовцев, а среди гораздо более удачливых в силу своего «реализма» поэтов, рядом со Слуцким, например. Кстати, Слуцкий хорошо знал лианозовцев, симпатизировал им,

хотя и скептически относился к их «формализму», вызывая, правда, встречный скепсис по отношению к своему «комиссарству». Ян Сатуновский, пожалуй, испытывал наибольшее среди всех лианозовцев уважение именно к поэзии Слуцкого, можно сказать, увлекался ею, что нашло отражение даже в стихах: «... мне не Фет, не Тютчев, не Бунин-Сологуб, и не Случевский, а Слуцкий, Ваш стих, раздражающий слух, понадобился вдруг».

Они действительно похожи — Слуцкий и Сатуновский. Похожи «раздражающей слух» прозаичностью, практичностью своего стиха. Но есть между ними черта, разделившая их так, что один оказался в советском литературном истеблишменте, а другой — на всю жизнь среди «самиздатских поэтов, нарушителей прав, потрошителей слов». Черта эта — тот самый «формализм-конкретизм». Слуцкий, может, и не «певец», но уж точно «учитель». Он знал, что такое хорошо и что такое плохо, о чем и писал — чем дальше, тем больше. Сатуновский же совсем иначе ощущал задачу поэта. Не учить, а учиться, не «творить», в наблюдать, прислушиваться, «ловить себя на поэзии». Он апеллирует не столько к внутреннему, субъективному, бесплотному, сколько к внешнему, существенному, к тому, что само порождает форму, оформляется жизнью, речью. Холин, Сапгир, Кропивницкий опираются на подчеркнuto «чужую» речь — советский воляпюк, барачно-коммунальную лексику — отсюда и игра, гротеск, отстранение. А Сатуновский вслушивается в *свою* речь, в речь вообще, в разговорный язык. Но результат в принципе тот же — фактурная, речевая поэзия, действительно конкретная, реальная, та самая, которую, как говорил Хармс, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется.

Кстати, в Лианозове уже в те годы похожее направление развивал Вс. Некрасов, многолетняя взаимная дружба с которым оказалась особенно поэтически плодотворной для Сатуновского (для Вс. Некрасова, разумеется, тоже). «Московский поэтический концептуализм» 70-х годов обычно персонафицируется тремя именами — Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Вс. Некрасова. Не говоря о том, что многое из приписываемого сейчас 70-м годам, было уже в конкретной поэзии 60-х, даже чисто хронологически нельзя вести речь о концептуализме, не упоминая Сатуновского, — именно в те годы концептуальная проблематика особенно остро звучит в его творчестве. Достаточно процитировать хотя бы такое однострочное стихотворение:

Главное, иметь нахальство знать, что это стихи.

По-моему, это просто определение концептуализма, после которого никаких особых теорий (а на них концептуалисты очень горазды) уже и не требуется.

В поэзии Сатуновского можно найти многое: и концептуализм, и соц-арт, и лирику — гражданскую, любовную, пейзажную... Но главный пафос его поэзии — сама речь, «мой язык, славянский, русский». Говор, говорение становятся поэтикой. Речь всегда характерна, персональна: есть люди, говор которых пресен, скучен, а есть настоящие мастера разговорного жанра. Ян Сатуновский — мастер, он прекрасно владеет всеми выразительными средствами живой разговорной речи, максимально использует ее неистребимую способность, пусть огрубляя, непрестанно оживлять язык, вносить стихийную образность. Пародирование чужих интонаций в устном пересказе, поддразнивание, шутки, прибаутки, поговорки (у Сатуновского есть целое стихотворение, составленное из одних поговорок), дурашливое «коверканье» слов — все это чисто «говорные» манеры.

Лирический жанр Сатуновского точно определил Геннадий Айги: «острые, как перец, стихотворения-реплики». Действительно, стихи Сатуновского — это прежде всего реплики, выхваченные из непрерывного разговора — без начала и конца. Реплики негодующие, обличающие, протестующие, обращенные к неназываемому, но всегда узнаваемому оппоненту, или реплики — размышления, наблюдения, обращенные к самому себе. Всегда ироничные, но и лиричные, развернутые, а чаще короткие, иногда состоящие из одной строки или даже из пары слов: «...наука — сука». Для Сатуновского важен мгновенный эффект ввремя вставленной реплики: все лишнее, литературное — «пролог», «эпиплог», «мораль» и т.п. — отсекается, остаются только речевая кульминация, голая плоть, «дикое мясо» стиха.

У Сатуновского практически не встретишь правильного метрического рифмованного стиха, но у него мало и «чистого» верлибра. Даже небольшое стихотворение может оказаться полиметричным, верлибр пронизывается рифмами и тут же переходит к четкому метру. Внутренний ритм стиха Сатуновского определяется структурой «реплики», естественным движением речи, ее мелодией. Сама речь — музыка, и стихам Сатуновского не нужно никаких других музыкальных инструментов.

Ян Сатуновский и вместе с ним Всеволод Некрасов создали поэзию живой речи, привили ее язык современному художественному сознанию. Как уже заметил М.Айзенберг, совершенно открытие, противоположное открытию мольеровского Журдена: тот обнаружил, что разговаривает прозой, а теперь выяснилось, что мы разговариваем стихами. И это открытие важно не только для конкретизма или концептуализма — для всей поэзии, для нового самоощущения поэтического языка.

Владислав Кулаков

Один сказал:
— Не больше и не меньше,
как начался раздел Польши.
Второй
страстно захохотал.
А третий головою помотал.

Четвертый,
за, за, запинаясь, произнес:
— Раздел. Красотку. И в постель унес.
Так мы учились говорить о смерти.

1940

Пусть стал я как мощи — ясен дух у меня.
Срослись мои кости, о мясе нечего и
вспоминать.
И не вспомнится, и не приснится
черепичная заграница,
заграничная чечевица.

Все дороги ведут в Москву.
Все народы по ним пойдут.
Изнасилованные фрейлен Ильзе,
ауфвидэрзэен в социализме.

Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет, и как раз 22-го июня
зарегистрировавшийся с Люсей Лапидус —
о ком же еще
мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли
я — возле нашего общежития —
представляю то, прежнее, время.

* * *

Эх, Мандельштам не увидел
голубей на московском асфальте,
не услышал
шелеста
и стука,
доносящегося снизу,
не взял в руки
сизую птицу,
не подул ей, дудочке, в клювик,
гули-гули, голубица, гули-гули,
умер Осип Эмильевич, умер.

1953?

(Когда ввели голубей в Москве)

* * *

До чего мне нравятся озорные девки,
что прилюдно драются в речке возле церкви,
так что поп
с молитвою
путает «едриттвою».

До чего мне нравится здешняя природа,
и сыны, и дочери здешнего народа —
Монино,
Железнодорожная,
Перово.

6 сентября 1961

* * *

Стукачи,
сикофанты,
сексоты,
Рябов,
Кочетов,
Тимашук,

я когда-нибудь все напишу,
я сведу с вами счёты,
проститутки
и стихоплеты.

Корнейчук,
где твой брат Полищук?
Не прошу.

28 декабря 1961

* * *

Ни на русого,
ни на чернявого
не науськивай меня,
не натравливай,
и падучего бить,
лжачего
не научивай,
не подначивай.
Я люблю
Шевченко
и Гоголя.
Жаль,
что оба они
юдофобы были.

10 января 1962

* * *

Кончается наша нация.
Доела дискриминация.
Все Хаимы
стали Ефимами,
а Срулики —
Серафимами.

Не слышно и полулегального
галдения

синагогонального.
Нет Маркиша.
Нет Михозэlsa.
И мне что-то нездоровится.

8 марта 1962

Вы ошибаетесь,
они
не антисемиты:
все эти —
Кочетов,
Кречетов,
Марков А.,
Марков Г.,
бодряк Софронов
и тэдэ, —
все это
члены союза советских писателей,
члены гильдии,
инженеры человеческих душ.
А вот за Эйхмана не поручусь.
Эйхман
не из нашей организации

15 декабря 1961

Все реже пью, и все меньше;
курить почти перестал;
а что касается женщин,
то здесь я чист, как кристалл.
Поговорим о кристаллах.
Бывают кристаллы — Изольды и Тристаны.
Лоллобриджиды,
Мерилин Монро.
Кристалл дерево

разноцветные окна,
и такие мохнатые
по углам фонари,
что смотреть щекотно.

27 ноября 1963

Все начальнички,
все инженеры, техники
об рабочем беспокоятся,
помочь стараются,
чтобы лишний грош
не заработал за-зря,
чтоб не выкабался бы из нужды.

Все разумнички,
все научные работнички,
счетоводки, милая,
да секретаря
над народом разоряются,
медалями тешатся,

а и пуще всего — жиды.

Слова-то какие: кортеж, эскорт,
такое не сразу и подберешь.

А Никита Сергеевич куражится,
а Микитка кочевряжится,
дескать, знай наших,
а ну держись,
расшибу весь мир,
пожгу Париж!

Половой вопрос, и половой ответ
играют немаловажную роль в жизни общества

и отдельного индивидуума;
видимо-невидимо
индивидуумов интересуется половой вопрос
и половой ответ.

Мне уже за 50 лет.
Видимо,
мне уже не получить
на половой вопрос
половой ответ.

19 мая 1966

Мне нравится эта высоколобая холодноглазая дама.
Мне нравится задумчивый овал ее лица.
Ее потухшие волосы, как листья Левитана
(хотя, разумеется, возраст по ним установить
нельзя).

Оказывается, живет еще в душе нелепое чувство.
Мне стыдно сознаться: мне хочется позвать ее,
остановить,
упасть перед ней на коленку, и левой перчаткой
коснуться,
и чтобы в ушах — соловьи, соловьи, соловьи,
соловьи...

В апреле
земля прееет,
баня парит,
баня и правит.

Так вяжи
гужи,
пока свежи!

Да не бей
Фому
за Еремину вину,
нынче кривда
только за морем кричит,

а у нас в Москве
в лапти звонят:
пожалел затылок,
хлобыстнул в висок.

11 декабря 1966

(Этот стих весь составлен из русских пословиц)

Какая мне разница —
похороны
или похороны?

Отвезите меня в крематорий,

озолите;

а золу
— или золу —
высыпьте в мусоропровод.

1 июля 1967

Одна поэтесса сказала:
были бы мысли, а рифмы найдутся.
С этим я никак не могу согласиться.
Я говорю:
были бы рифмы, а мысли найдутся.
Вот это другое дело.*

* ничего подобного: это одно и то же.

9 февраля 1968

* * *

Для меня,
 для горожанина,
 для, тем более, южанина, —
 и ромашки — аромашки,
 и фиалки — фимиамки,
 и акация — Божья Мати.
 Христолюбивое воинство,
 распикасшившее наши души,
 низкий тебе, земной поклон
 от Самиздацких поэтов,
 нарушителей прав,
 потрошителей слов.

10 августа 1968

* * *

Люблю толпиться в катакомбах пышного метро,
 где днем и ночью от электричества светло,
 где пыль в глаза, но не простая, а золотая,
 где — прилетают, улетают, прилетают, улетают,

где можно женщиной роскошной подышать,
 потрогать женский мех,
 и хвостик подержать,
 и где, среди живых существ любой породы
 случаются и генерал-майоры.

* * *

Поэзия — не пророчество, а предчувствие.
 Осознанные предчувствия
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ.

21 декабря 1969

* * *

А покамест работа мысли
 доставляет эстетическое удовольствие,
 давайте прикинем: что, если
 обратиться к области совести?

Что я вам оставляю?
Письменный стол.
Вид из окна на мостовую.
Пять тысяч строк.
И эту портативную летучую мышь
с клавишами №-/"':;!?'Ъ

2 мая 1971

ПРОСТОТА СТИХА
была обманчива.
Она была
ХУЖЕ ВОРОВСТВА.

14 августа 1971

... а, впрочем.
не все ли нам равно — писать — свободным
или каким-нибудь еще — стихом
в концентрационном лагере...

3 ноября

— Ты, вша партийная, — бранилась Теща с Зятем.
А зять обиделся за Партию, да КАК
ДАСТ — бутылкой от Советского Шампанского —
Старуха
враз и окачурилась

8 сентября

* * *

Я хотел бы писать как Надежда Яковлевна.
Спорьте с ней, члены союза советских
писателей
о членах союза советских писателей.

22 апреля 1975

* * *

Фонари, светящие среди бела дня
в этот серенький денек.
Ждущие, зовущие, не щадящие меня —
ну, что же ты умолк? — говори;
или нет, не так.
— Фонари, светящие среди бела дня
в этот серенький денек.
Ждущие, зовущие, не щадящие меня
фонари, —
ну, опять умолк?

24 сентября 1976

* * *

Здравствуйте, громадные деревья,
с буйволовым стволем,
с лиловой шкурой, —
я с вами знаком понаслышке.
И вы,
ивы,
живы ли вы,
чи вы живы?

6, 8 октября 1976

* * *

Колокольчики звенят. Навстречу мне дви-
жется мечтательный рогатый скот.

Все, что я любил, от «Сестры моей
жизни» до «мы с тобой на кухне посидим,
сладко пахнет белый керосин», — все уходит
от меня, еще не ушло,

но все уже на отходе.

Да, Сидоров здесь, Сидоров там...

19 сентября 1977

Я не член ничего,
И ни даже Литфонда.
Мне не мягко, ни твердо,
и не холодно, и не тепло.

Ночь, как черная гусеница (почему бы нет?),
или черная бабочка (главное — это цвет),
Ночь, который час? Шесть, должно быть.
Слава Богу, уже зажигаются огни напротив.

24 декабря 1977

Я хорошо, я плохо жил,
и мне подумалось сегодня,
что, может, я и заслужил
благословение господне.

СТАТЬИ, ЭССЕ

Елена РАБИНОВИЧ

ВЕРГИЛИЕВ ЖРЕБИЙ

Все исследователи и комментаторы «Братьев Карамазовых» признают, что этот роман более всех прочих романов Достоевского насыщен литературными аллюзиями и цитатами (явными и скрытыми), причем упоминаемые произведения и персонажи никогда не нейтральны, но группируются вокруг основных тем: тема отцеубийства, вражды между братьями, душевного рыцарства и т.д.¹ Однако античная тема у Достоевского практически не рассматривалась², и даже пристрастному взгляду классического филолога это представляется достаточно оправданным: исследовательское внимание предпочтительно устремляется к предпочтительному кругу интересов самого Достоевского, и классическая древность в этот круг явно не входит. Тем не менее нельзя забывать, что безразличие Достоевского было безразличием пассивным (в отличие от демонстративного безразличия антиклассицистов) — Достоевский вне зависимости от его литературных пристрастий вполне владел тем хрестоматийным набором сведений, без которого в ту пору было невозможно ориентироваться в традиционном культурном пространстве. Эти сведения вовсе не обязательно получались прямым путем (чтением источников), но неизбежно вспоминались или бывали напоминаемы в связи с очень многими собственными интересами Достоевского.

Характерный пример — все та же тема отцеубийства. О литературных, житейских и устных (консультации с Кони и Штакеншнейдером) источниках этой темы написано много, однако нигде не откомментирована связь «Братьев Карамазовых» с едва ли не знаменитейшим в мировой литературе сочинением об этом предмете — с речью Цицерона в защиту Секста Росция. Трудно сказать, читал ли Достоевский самое речью, но уже для Кони и Штакеншнейдера она была обязательной (подлежащей зубрежке) классикой, да и западноевропейские юристы не обходились без Цицерона. Для Достоевского эти сведения были хрестоматийными, однако сейчас их следует напомнить. Росций-старший был убит своими дальними родственниками, надеявшимися получить наследство, но для этого им необходимо было устранить прямого наследника — младшего Росция. Заручившись небескорыстной поддержкой могущественного фаворита Суллы, они возбудили судеб-

ный процесс, обвинив младшего Росция в отцеубийстве. Молодой Цицерон имел смелость выступить защитником и выиграл дело. Особенностью речи было то, что он не только защитил подсудимого, но и назвал действительных убийц, о дальнейшей судьбе которых, впрочем, определенных сведений нет. Эта ситуация (невинный обвиняемый и названный убийца — но не отцеубийца) отчасти сходствует с ситуацией «Карамазовых», где Иван все же не совсем настоящий убийца, а Смердяков — не совсем настоящий сын (Росция тоже убивали не сами родственники, а их рабы). Других сходств в событиях нет: оба Росция были добропорядочны, вражды между ними не было, младший и сам был немолод, мотива для отцеубийства нельзя было даже вообразить, так как одряхлевший отец уже вполне доверил сыну управление имением. Но обвинение имело место, и Цицерон в защитительной речи говорил не только о конкретных обстоятельствах преступления, а еще и об отцеубийстве вообще, о том, как это — небывалое и противное природе — преступление в принципе может совершиться. Цитирую современный перевод, поскольку источник (скорее всего косвенный) Достоевского не установлен: «Эта чудовищность злодеяния и делает отцеубийство невероятным, если оно не обличится чуть ли не с очевидностью: если не обнаружится ни распутная юность, ни жизнь, замаранная всяческим срамом, ни мотовство, зазорное и постыдное, ни крайняя дерзость, ни безрассудство, уже недалекое от помешательства, а вдобавок к тому — отцовская ненависть, боязнь родительского наказания, друзья — негодяи, рабы — сообщники, подходящее время, удобное место, выбранное для этого дела. Словом, прямо-таки руки, забрызганные отцовской кровью, должны видеть судьи, если от них ожидают, чтобы они поверили в подобное преступление» (Pro S. Rosc. XXIV, 68)³. Этот перечень представляет собой довольно точное описание Дмитрия Карамазова — упоминаемые Фетюковичем «совокупность фактов» и «с пальцев текущая кровь» (т.15, с.164) явно соотносятся с хрестоматийным (тем более для юриста) образом отцеубийцы, да и прокурор перечисляет многие из этих хрестоматийных признаков: ненависть и пренебрежение отца, буйство, разврат, позорный долг, нужду, роковую связь с Грушенькой, все ту же кровь на руках (там же, с.128 — 134). Иными словами, Дмитрий у Достоевского, не будучи действительным отцеубийцей, является не только отцеубийцей по видимости, но — в этом своем мнимом качестве — просто образцовым отцеубийцей, хотя такая его образцовость заметна только при сопоставлении со столь же образцовым (хрестоматийным) текстом — речью Цицерона.

Другой пример (на сей раз уже не растворенного в тексте, а прямого цитирования) важен как иллюстрация авторского отношения к «Братьям Карамазовым» — первой части «Жития великого грешника», то есть к сюжетно не завершенному произведению. В предисловии До-

стоевский пишет, что роман его («Житие») сам собою разбился на два рассказа «при существенном единстве целого» (т.14, с.6) — эти последние слова взяты в кавычки самим Достоевским, однако прошли мимо внимания всех комментаторов. Между тем они явно восходят к «Поэтике» Аристотеля: требуя, чтобы повествование строилось с соблюдением сюжетного единства, Аристотель сравнивает завершенную повествовательную последовательность с *“единым и целым <живым> существом”* — *hōsper zōion hen holon* (Poet. XXIII 1459 a 21, здесь и далее транслитерация латинская). Почти наверняка Достоевский цитирует Аристотеля из вторых рук (это подтверждается синтаксической трансформацией «единого и целого существа» в более нейтральное «существенное единство целого» — частое при переводе и пересказе классических авторов выхолащивание тропа), но цитата опознается без труда. Источником ее скорее всего был какой-то (точнее — любой) новоевропейский учебник словесности, в обязательном порядке уснащенный цитатами и пересказами «Поэтики». Таким образом, осенью 1878 г.⁴ Достоевский указывал читателям, что «Житие великого грешника» будет обладать сюжетным единством, и подкреплял это сообщение хрестоматийной цитатой о сюжетном единстве. Однако в таком случае уже в первом томе «Жития великого грешника» — то есть в «Братьях Карамазовых» — должны содержаться некоторые значимые сведения о сюжетном плане в целом или, иначе говоря, о дальнейшей и декларированно более значимой для биографа жизни А. Ф. Карамазова.

Герой жизнеописания на первых же страницах романа представлен читателю послушником старца Зосима. Чуть ниже Достоевский объясняет, *что* значит это послушание: «Старец — это берущий вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным отрешением» (т.14, с.26). Старец избирается добровольно,⁵ однако связь с ним неразрушима. Далее Достоевский приводит примеры этой неразрушимой связи и заключает: «На всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая могла бы разрешить от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом старчество одарено властью, в известных случаях беспредельною и непостижимою» (т.14, с.27). Слова эти нигде и никак не опровергаются, ни в тексте, ни даже в черновых набросках. Тем более важным представляется то, что Алексей Карамазов никогда не был разрешен своим старцем от послушания, а следовательно, все свои действия совершает и может совершать в будущем лишь во исполнение послушания, так что допустимо говорить о личностном континууме Алексей-Зосима. В сходных континуальных отношениях находятся Иван и Смердяков, но подчинение Смердякова воле Ивана временно — только до сдвоявольной смерти — и возникает по неволе логического

убеждения, между тем как Алеша подчинен старцу навечно таинством их вольного и взаимного избрания. Показательно, что в седьмой книге романа Достоевский все еще пишет о «главном, *хотя и будущем* герое рассказа» (т.14, с.297), подчеркивая курсивом, что Алеша — пока не герой своего же собственного жизнеописания. Действительно, к этому времени (то есть ко времени разговора с отцом Паисием) Алеша еще в монастыре и, хотя старец умер, еще не приступил к тому одинокому, без живого наставника, послушанию, которое ему назначено. Рождение героя описано в седьмой книге («Алеша»), совершается в муках (глава «Тлетворный дух») и отмечено заключительной фразой книги: «Через три дня он вышел из монастыря, что согласовалось и со словом покойного старца его, повелевшего ему пребывать в миру» (т.14, с.328).

Итак, жизнь А.Ф.Карамазова допустимо рассматривать как историю его мирского послушания умершему старцу, монастырское же послушание старцу живому существенно лишь как завязка — иначе не было бы слов о «будущем герое». Это подтверждается и предсмертным волеизъявлением старца: «Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь — что важнее всего» (т.14, с.259). Эти слова воспринимаются Алешей и монахами как пророческие для Алеши⁶, но пророчество тут самое общее и сходно с наставлением, между тем как другие пророчества старца, исполнившиеся в пределах романа (земной поклон, напоминание евангельского стиха) имеют более традиционную для любых пророчеств иносказательную форму. Есть ли подобное пророчество также и об Алеше? Представляется, что есть, а тогда оно-то и служит сюжетообразующей парадигмой «Жития великого грешника».

Символ как сюжетообразующая парадигма — достаточно распространенный литературный прием, многократно отмечавшийся, например, у Пушкина⁷. Чаще всего исследователь располагает сразу и парадигмой, и ее эмпирической реализацией — полным текстом произведения, естественно облегчающим выделение парадигмы (песни девушек в «Евгении Онегине», картинок на стене в «Станционном смотрителе» и т. п.). В нашем случае это невозможно, и для того, чтобы обнаружить парадигму судьбы А. Ф. Карамазова, придется искать несбывшееся пророчество. Соответственно, и результаты поиска следует оценивать лишь степенно их вероятности.

Итак, сказавши об иноческом назначении Алеши, старец обращается к своим гостям со следующими словами: «Отцы и учителя мои, никогда до сего дня не говорил я, даже и ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу: был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я

старшего брата, умершего юношей на глазах моих, всего только семнадцати лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на другоцненный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его» (т.14, с.259). Далее, в биографических заметках о старце Зосиме, первый раздел озаглавлен: «О юноше брате старца Зосимы» (т.14, с.260 — 263) и в нем названо мирское имя старца Зосимы — Зиновий и имя его брата — Маркел (в черновых набросках оба имени отсутствуют).

В.Н. Топоров в статье о значимых именах у Достоевского вскользь упоминает о Маркеле с Зиновием, связывая их с Марком Ивановичем и Зиновием Прокофьевичем из «Господина Прохарчина» и отмечая, что Марк и Зиновий совмещаются в святцах 30 октября⁸, — таким образом он рассматривает имя Маркел как вариант имени Марк. К этому можно добавить, во-первых, что Зиновий поминается только 30 октября, а Марк — тринадцать раз в году, так что в антропонимической паре «Марк-Зиновий» доминирующим элементом является Зиновий, и во-вторых, что в небогатых семьях (как мы знаем хотя бы из «Лотерейного бала» Григоровича) существовала практика своеобразной экономии именин, когда второго, а то и третьего ребенка называли по тем святым, которые поминались в именины первенца (или одного из родителей). Так соседство в календаре отражалось в семейной ономастике, и в «Господине Прохарчине» сюжетное родство Марка и Зиновия кодируется, в частности, через антропонимическую стратегию их социальной среды, возводимую к календарному коду, но все же достаточно независимую. Однако имя «Маркел», сходное с именем «Марк» и даже, очевидно, связанное с ним этимологически, — это другое имя, и святые Маркелы поминаются в совсем другие дни, семь раз в году, причем совпадение Маркела с Марком происходит 29 декабря, а с Зиновием и даже с частым Зосимой (поминаемым одиннадцать раз в году) Маркел не совпадает ни разу. Притом имя Маркел довольно редкое, особенно рядом с Марком, что видно хотя бы по сравнительной частотности фамилий «Марков» и «Маркелов», а в дворянской среде совсем редкое. Частотность имен в святцах слабо коррелирует с их бытовой частотностью, о чем свидетельствует распространенность соответствующих фамилий: так, Зиновий один, а Зиновьевых сравнительно много, Зосим одиннадцать, а Зосимовых практически нет. Если бы для Достоевского антропонимическая пара «Зиновий-Марк» при сочинении «Братьев Карамазовых» была актуальна, ему было бы естественно сохранить ее в первоначальном (календарном) виде и назвать умершего юношу Марком. Мало того, имя Маркел — при всей

своей редкости — устойчиво связывалось в русской литературной традиции со знаменитой эпиграммой В.Л.Пушкина:

Змея ужалила Маркела. —

Он умер? — Нет, змея, напротив, околела.

Тут Маркел ради рифмы подменяет Фрерона из эпиграммы Вольтера, а Вольтеров Фрерон в свою очередь подменяет безымянного каппадокийца из точно такой же греческой эпиграммы (AP XI, 237), но так или иначе поверхностная литературная ассоциация редкого имени сразу оказывается комической. Конечно, допустимо предположить, что Достоевский эпиграммы не помнил и не учитывал, зато помнил о календарном соседстве Марка и Зиновия и по некоторым соображениям или просто по звуковой ассоциации преобразовал Марка в Маркела, хотя календарная парность этим явно нарушалась — и уж этого-то Достоевский не знать не мог. Но если учесть исключительную значимость Маркела для исповеди старца, более вероятным представляется другое объяснение.

Известно, что герой Достоевского имеет общие черты с историческим старцем Зосимой — Захаром Верховским. «Житие старца схимонаха Зосимы» было впервые издано в Москве в 1860 г., затем переиздавалось, и Достоевский его читал. Верховский тоже ушел в монахи из гвардии и тоже был подвигнут на это воспоминанием о брате. Верховских было три брата: Филипп, Илья и младший Захар, все гвардейцы. Когда отец умер, оставив обремененное долгами наследство, каждый из братьев, получив долю имения, хотел взять на себя все отцовские долги, но в результате этого состязания благородств долги тоже оказались поделены, и денег осталось много. В семье имелись также и сестры, все старше Захара, и одна из них замужем за просвещенным безбожником. Затем Илья Верховский вдруг ушел в монахи, сделался странником, а имение свое отдал младшему брату — там среди прочего была хорошая лошадь, на которой любил кататься юный Захар. Однажды он ехал на этой лошади, вспоминал брата и вдруг услышал внутри себя голос: «Ты сам пойдешь в монахи!» Пораженный внезапным призыванием и колеблясь, он отправился за советом к зятю-вольнодумцу, и тот поддержал его, потому что если-де Бога нет, то Захару хуже не будет, а если есть, то лучше послушаться. Приняв окончательное решение, Захар отправился искать себе старца и нашел «маргарит пустынный» — схимонаха Василиска, житие которого впоследствии описал. У Василиска тогда послушников не было, и позднее, когда Верховский уже постригся и жил в пустыни, старец признался ему, что прозрел их духовную связь уже в ту минуту, когда увидел перед собой незнакомого молодого гвардейца. Таково краткое содержание завязки жития, которое далее носит в основном апологетический характер, так как Зосима долго был главой женского единоверческого монастыря, навлекая на себя со стороны многочисленных недоброжелателей обвинения в ереси и блуде.

В основной части жития тематических пересечений с жизнью литературного Зосимы нет, зато в начале они очевидны. Любовь между братьями (то же и Маркел с Зиновием), гвардйская — хотя и не слишком беспутная — юность, духовный перелом — пусть и не в катастрофическую минуту — под влиянием памяти о брате, специфическое уважение к вольнодумству (ср. Зосиму и Ивана), мгновенно вспыхивающая любовь между старцем и его будущим послушником — хотя и не мотивированная воспоминанием (ср. Зосиму и Алешу) и, наконец, сочинение жития (ср. биографические заметки А. Ф. Карамазова). С другой стороны, в «Житии Зосимы» такие важные сюжетные ходы, как пострижение сначала Ильи и затем Захара, не имеют внутрисюжетных мотивировок: писателю жития они не нужны, потому что призвание и глас Божий обосновывать излишне.

Сходство исторического Зосимы с литературным достаточно, чтобы Достоевский захотел дать своему герою имя одного из его исторических прототипов⁹, но недостаточно, чтобы говорить о беллетризации жития. Это рождало вопрос о мирском имени старца. При пострижении существовала отчетливая тенденция к сохранению инициала (Кирилл — Константин, Иван — Измаил), поэтому Захар Верховский и оказался Зосимой. Сделать своего Зосиму Захаром для Достоевского, несомненно, означало бы чрезмерное и не оправданное сюжетом приближение к Верховскому его двойного тезки. Крестильных имен на «зелю» очень мало, так что кроме Зиновия, в сущности, ничего и не оставалось, хотя — в отличие от Захара — Зиновий не входит в число распространенных дворянских имен, которыми довольствовались семейство Верховских. Зато умершего юношу Достоевский мог назвать, как ему угодно, и если он выбрал для него такое редкое и недворянское имя, то это имя следует расценивать как литературный прием, тем более, что такой прием для Достоевского вполне характерен.

Значает имя в поэтическом тексте может соотноситься или со своей внутренней формой, или со своим первоначальным — житейским или книжным — контекстом. Достоевский этим приемом широко пользовался, и «Братья Карамазовы» не были, конечно, исключением: тут и внутренняя форма имени и фамилии у Смердякова (paulus — «малый», ср. неоднократно повторяемое в романе «с малым» о Лизавете Смердящей), и упомянутый выше в связи со своим книжным (то есть книжным для Достоевского) прототипом Зосима, и Алексей Федорович, полный тезка младшего из сыновей Достоевского. «Эта особенность творческого метода Достоевского отражена в его произведениях исключительно многообразно и является основой для формирования особого криптограмматического уровня структуры текста. На этом уровне автор решает для себя (и только для себя) некоторые проблемы, признаваемые им существенными в связи с тем личным жизненным

субстратом, которому суждено пресуществоваться в художественный текст и в его автора. Речь идет о введении в текст неких *скрытых* указаний на автобиографические (или некоторые другие, но непременно автобиографизируемые) реалии, почему-либо важные для автора (например, даже в психотерапевтическом отношении) и совершенно не рассчитанные на восприятие их читателями <...> Предполагается, что читатель истолкует данные элементы, используемые и как криптограммы, в той наиболее естественной форме, которая предопределяется замыслом текста как художественного произведения»¹⁰.

Внутренняя форма имени «Маркел» действительно может вызвать ассоциации разве что с Марком, а стало быть, здесь следует искать намек на некий актуальный для Достоевского контекст. Никаких реальных Маркелов или Маркеловых, которые оставили бы след в житейских впечатлениях Достоевского, не обнаруживается, — остается контекст книжный. И достаточно вообразить это, столь знаменитое некогда имя, не в русской транслитерации, а в природном виде — Marcellus, — как в памяти сразу всплывают едва ли не самые известные строки «Энеиды»:

Heu, miserande puer! Si qua fata aspera rumpas
Tu Marcellus eris!¹¹

В хрестоматийной почти с момента ее создания «Энеиде» самой знаменитой песнью была шестая — о нисхождении Энея в преисподнюю. Именно эта песнь (вместе с «колдовской» VIII эклогой) уже при жизни, а затем еще на полторы тысячи лет обеспечила Вергилию репутацию мага и чудотворца, в частности, лично побывавшего в аду и хорошо знакомого с тамошней топографией. Кроме того, VI песнь естественным образом (через кумскую Сивиллу) связывалась с не менее знаменитой IV эклогой, в которой Сивилла прорицает рождение некоего божественного младенца и грядущий золотой век — от раннехристианских времен и до нового времени этим младенцем считался Христос, кумская Сивилла упоминалась в гимне рядом с псалмопевцем Давидом, а душа язычника Вергилия была признана *naturaliter christiana*. Отсюда совершенно особый статус Вергилия сразу в римской и христианской культуре (преимущественно, конечно, в западнохристианской): его стихи, а особенно «Энеида», фактически обладали статусом священного Писания, то есть текста, доступного символическому толкованию. Характерным бытовым проявлением этого особого статуса был распространенный обычай гадания не только по Библии, но и по «Энеиде», — последний вид гадания назывался *sors Vergiliana*, «Вергилиев жребий». Соответственно, намек на «Энеиду», тем более на VI песнь, обладал повышенной значимостью, а приведенные строки о Марцелле к тому же взяты из центрального для «Энеиды» пророчества Анхиза о судьбах Рима, то есть могут быть признаны своего рода квинтэссенцией «Вергилиева жребия», — да притом они и исторически очень знамениты.

Следует сразу оговорить, что пророчество Анхиза никогда не обладало мистическим престижем IV эклоги и даже внутри VI песни выделялось тем свойством, которое теперь назвали бы официозностью. Отец Энея действительно предрекает потомкам своего сына, а затем и римлянам вообще великую славу, самых великих хвалит поименно; однако ко времени написания «Энеиды» все это (кроме вечной славы) уже относилось к прошлому, так что в форме *vaticinii ex eventu* здесь представлен изысканный панегирик не будущим, а бывлым подвигам, не исключая и подвиги самого Августа, в доме которого Вергилий впервые читал отрывки своей поэмы. Особенное впечатление на слушателей произвели стихи о «несчастном мальчике»: Светоний пишет в биографии Вергилия, что на словах «*Tu Marcellus eris!*» сестра Августа Октавия упала в обморок (Suet. Vita Verg., 6.). По существу, этот Марцелл и есть главный герой пророчества: из 129 стихов речи Анхиза ему посвящено в общей сложности 27, между тем как Августу — только четырнадцать.

Марк Клавдий Марцелл, сын Октавии и племянник Августа, был потомком и полным тезкой знаменитого полководца Марцелла, завоевавшего с Ганнибалом и заслужившего почетное прозвище «меч римлян» — этому (древнему) Марцеллу у Вергилия посвящено несколько хвалебных строк, за которыми следует описание печального юноши необычайной красоты, — Эней спрашивает о нем отца, и ответ, составляющий финал пророчества, весь посвящен молодому Марцеллу. Август, не имевший мужского потомства, усыновил племянника, женил его на своей дочери Юлии и, вероятно, собирался сделать его (или ожидавшегося от него внука) своим наследником, но Марцелл неожиданно умер всего девятнадцати лет, не оправдав ничьих ожиданий, но возбудив общую скорбь, в том числе и скорбь Вергилия, выразившуюся в цитированных стихах поэмы. Из сказанного ясно, что «быть Марцеллом» у Вергилия значит не «принадлежать к роду Марцеллов», но «реализоваться в качестве Марцелла», «воспринять жизнь». Так обиходное «*omen — omen*» («имя — судьба») превращается в поэтическое «*omen — omen*» — если юный Марцелл одолеет свою злую судьбу, то будет таким же (или лучшим) Марцеллом, как его великий предок, а если не одолеет, то и Марцеллом ему не бывать¹². Анхизово «*Marcellus eris*» описывает не действительность, но лишь возможность, так и не реализовавшуюся.

Тогда новый смысл приобретают слова умирающего Маркела в рассказе старца Зосимы: «Поглядел так с минуту: “Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!” Вышел я тогда и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел жить за себя... В свое время все должно было восстать и откликнуться. Так оно и случилось» (т. 14, с. 263). Тут завершается история юного Маркела, а из дальнейшего повествования видно, что Зиновий и вправду воспроизводит в своей жизни главные этапы жизни брата: столь же не-

долгое, хотя и бурное, его заблуждение сменяется душевным просветлением, но у Маркела просветление вызвано близкой смертью, а у Зиновия возможной смертью (или убийством) и воспоминанием о брате — «и вспомнил я тут брата своего Маркела» (т. 14, с. 270). Вживе явленный новый Маркел — Алексей Карамазов — должен по воле старца воплотить свою жизнью ту же парадигму, недаром лик его был для старца сразу напоминанием и пророчеством. Однако напоминание изъяснено в явной форме, а пророчество дано в символической — избрав старца, А. Ф. Карамазов обретает и *sors Vergiliana*.

Знакомство Достоевского с «Энеидой» вряд ли подлежит сомнению и относится, конечно, ко времени гораздо более раннему, чем время написания романа. Однако именно в эти последние годы Вергилий в библиотеке Достоевского был — вместе с еще несколькими книгами серии «Древние классики для русских читателей»¹³. «Изложение» Коллинза было комментированным пересказом всех сочинений Вергилия, — разумеется, прозаическим. Редактор русского издания Помяловский довольно обильно иллюстрировал книгу стихотворными цитатами из «Энеиды» в переводе И. Шершеневича, публиковавшемся уже в 50-е годы в «Современнике», а в 1868 г. вышедшем отдельной книгой (первый полный эквиметрический перевод «Энеиды», впоследствии заслуженно забытый). Пересказ гораздо очевиднее, чем перевод, обнаруживает важные для интерпретатора темы, и даже при поверхностном взгляде на издание Коллинза заметно, что тема «Марцелл — надежда римлян» подчеркнута с особым нажимом. Так, младенец IV эклоги до XIX века чаще всего почитался, как упоминалось, Христом, позже связывался с языческой эсхатологией, но были и реально-исторические толкования: в частности, предполагалось, что тут речь идет о Марцелле и Юлии. У Коллинза-Помяловского предпочитается и снабжается увлекательными подробностями именно это толкование — и весь пересказ строится соответственно. Тем самым престиж IV эклоги сразу повышает престиж юного Марцелла и обращает на него сугубое внимание читателя уже в начале книги (при этом нельзя не заметить, что главная тема IV эклоги — грядущий золотой век — не могла не быть интересна для Достоевского, так как золотой век отмечен в качестве одной из важных тем и в «Братьях Карамазовых»¹⁴. Еще ярче эта тенденция в пересказе VI песни, где она поддержана Помяловским: если обычно он цитирует перевод Шершеневича небольшими фрагментами, то тут приводит в стихах весь пассаж о юном Марцелле и таким образом его выделяет. Пассаж сопровождается пространным комментарием, а в комментарии со всеми подробностями сообщено все: и каков был Марцелл, и как Вергилий читал Августу «Энеиду», и как Октавия упала в обморок, и даже сколько денег она подарила поэту за эту память о сыне, и сколько это будет в пересчете на русские рубли (способ пересчета неясен), и наконец

приводится мнение Драйдена, что это-де очень недурной гонорар за два десятка стихотворных строк (вряд ли даже Вергилий старался увековечить Марцелла усерднее, чем об этом старались Коллинз с Помяловским). Во введении к книге сообщается о популярности Вергилия в монастырях и в монастырских школах, о его репутации волшебника (подробно о том, как он построил чудесную башню вроде башни в пушкинском «Золотом пегушке», хотя Пушкин получил этот сюжет от Вашингтона Ирвинга), о его встрече с чертом, которого он загнал обратно в преисподнюю, о том, что в действительной своей жизни он отличался необычайной чистотой нрава и мужицкой простоватостью, — после этого перечня вряд ли нужно доказывать, что такой поэт и такой человек должен был быть Достоевскому (пусть вчуже) симпатичен и что выбор книги для личной библиотеки мог быть не случаен, хотя самая слава Вергилия была достаточным основанием (ведь Гомера и Аристофана из коллинзовской серии Достоевский тоже купил). Благодаря этой книге имя и жизнь юного Марцелла оказались вплетены в контекст христианского пророчества, связываясь с легендой о кумской Сивилле, в IV эклоге предсказывающей явление Христа, а в VI песне «Энеиды» провожающей Энея в преисподнюю к Анхизу. (Такая ассоциация с ранним христианством могла косвенно поддерживаться «Смертью Люция» и «Двумя мирами» А. Майкова: в обеих пьесах выведен патриций и полководец Марцелл, обратившийся в христианство и принявший мученическую смерть.¹⁵)

Что Марцелл и Маркел — одно и то же имя, это мог понять и понимал всякий просвещенный читатель, знакомый с соотношением новоевропейских (в том числе русских) и византийских (отраженных в русской церковной традиции) транслитераций многих известных имен, вроде соотношения Цезаря с Кесарем, однако между возможным и неизбежным осознанием — немалое различие. Шершеневич, конечно, транслитерировал *Marcellus* в «Марцелл», то же и Помяловский, и Майков, — во второй половине XIX века литературное звучание римских имен совершенно разошлось с календарным. Но в пространной стихотворной цитате из русской «Энеиды» — именно в данном издании! — вышла опечатка, и получилось:

Ах! несчастный юноша! если б не горькая участь,
Ты — Маркелл!¹⁶

Эта опечатка, по всей вероятности, относится к числу гиперорфографических: русский наборщик мог по нечаянности придать имени его календарный вид. Любителю «Энеиды» еще приятнее была бы мысль, что наборщик помнил перевод Василия Петрова, где имена транслитерированы по старым правилам и где соответствующие строки гласят:

Нешастный отрок! коль дарами ты обилен,
Ах! ежели судьбу преторгнути ты силен:
Ты, Рима красота, творец великих дел,
Честь племени, второй ты будеши Маркелл.

Так или иначе, но в собственной книге Достоевского и как раз в важнейшем для данного разбора месте имя *Marcellus* фигурировало в своей календарной форме, то есть становилось возможным для использования в качестве имени персонажа. При этом внимание Достоевского к знаменитой VI песни несомненно (хотя бы из-за его внимания к проблеме ада), и уже в самом начале «Братьев Карамазовых», разговаривая с Алешей об аде, Федор Павлович приводит известную шутку о тени кучера из «Энеиды наизнанку» Перро (т. 14, с. 24) — цитата неточна, так что явно дана по памяти (то же самое и в черновых набросках).

В тех же набросках имеются заметки, которые легко связать с Марцелловой парадигмой, однако этот путь (именно ввиду своей легкости) вряд ли может быть избран для данной работы, и без того являющейся лишь обоснованием гипотезы. Достаточно повторить, что ни «Марцелла», ни «Маркела» в черновых набросках нет и что наброски эти вообще не дают повода утверждать, будто к лету 1878 г. Достоевский располагал сложившимся композиционным планом «Жития великого грешника», о наличии которого он говорит в написанном осенью предисловии. Это обращает нас к событиям лета 1878 г. — непосредственно перед началом работы над так долго затеваемым и непрестанно откладываемым романом. В жизни Достоевского это лето было важным.

16 мая 1878 г. умер его трехлетний сын Алексей — полный тезка А. Ф. Карамазова. Имя Алексей было выбрано для сына из-за симпатии Достоевского к св. Алексею (человеку Божьему)¹⁷. Со св. Алексеем часто и вполне основательно связывается и выбор имени для младшего Карамазова, что подробно обосновано В.Е.Ветловской (т.15, с.476). Нужно, однако, заметить, что имя Алексей (хотя, возможно, и бессознательно) связывалось у Достоевского также с молодостью и свойственным молодости смятением чувств, иногда порочным: все три приметные Алексея (игрок, Валковский, Карамазов) объединяются этим признаком, а если (как двое последних) часто называются Алешами, то изображаются юношами особого, как бы детского, обаяния, так что выбор имени для младшего сына в жизни и для младшего брата в книге мог иметь двойную мотивировку — «Алексей» в культурном сознании, «Алеша» в сознании языковом. Естественно, что после смерти сына соименный ему герой сделался для Достоевского, и без того придававшего большое значение именам, еще ближе, хотя и прежде был близок. Сложные отношения авторов со своими героями не раз бывали предметом исследовательских интерпретаций и собственных авторских суждений;

для нас здесь достаточно общепризнанного факта, что отношения эти существуют, что автору возможно в иных случаях воспринимать своего героя в качестве суверенной личности и что такое восприятие отражается в образной системе произведения. К лету 1878 г. А.Ф. Карамазов был не только Алешей (“младшим”), не только Алексеем (“человеком Божиим”), но и тезкой умершего мальчика Алексея-Алеша, чего прежде (в начале сложения замысла, при живом сыне) быть не могло. Герой жития обладал образной целостностью, столь же целостно было представление о юности с ее обаянием и смутой — то и другое создавало некий сюжет и некий характер. Но Алеша Достоевский был, по существу, ничем — его жизнь осталась нереализованной возможностью. Допустимо ли предположить, что биографические обстоятельства Достоевского отразились в замысле «Жития» и воплотились в символической Марцелловой парадигме этого замысла, когда непржитую жизнь предстоит прожить другому? Имеющиеся свидетельства такое предположение подтверждают:

В июне Достоевский вместе с Вл. Соловьевым посетил Оптину пустынь, где давно хотел побывать, а поехал в конце концов более по настоянию жены — отвлечься от «грустных дум»¹⁸. Поездка, как известно, расширила представления Достоевского о старчестве, и оптинской старец Амвросий повлиял на формирование образа старца Зосимы¹⁹. Известно также, что Достоевский обсудил со своим молодым другом замысел нового романа или серии романов (о свидетельстве Соловьева см. ниже) в связи с их частыми разговорами о значении Церкви в жизни общества. Очевидно, однако, что разговоры велись и на другие темы, в том числе, конечно, говорилось и об умершем ребенке — сама поездка была в некотором смысле следствием этой смерти, а все, что мы знаем о характерах и темпераментах обоих спутников, предполагает даже и неизбежность подобных разговоров (у других собеседников они, напротив, могли бы оказаться в числе запретных). Равным образом очевидно, что цель поездки и общее умственное расположение спутников не выводили такие беседы в какой-то особый, отчужденный от их интеллектуальной жизни, план, и не противопоставляли их беседам, например, о Церкви как житейские философским. Вне зависимости от постановки и решения вопроса об отношениях Достоевского и Соловьева, нельзя не признать также, что в этой поездке влияние на Достоевского Соловьева (вожатого и утешителя) было определено всеми обстоятельствами общения.

Между тем Владимир Соловьев был страстным поклонником Вергилия. Несколько позже Фет привлек его к переводу «Энеиды», и единственная песнь, над которой они работали сообща, была именно шестая. Примерно тогда же Соловьев пытался перевести пресловутую четвертую эклогу, которая была для него интересна своими эсхатологическими мотивами и которую он любил. Вергилия он знал очень хорошо

— именно поэтому Фет и просил его о помощи, — а особенно был ему интересен как раз «пророческий» Вергилий, что видно уже по склонности к четвертой эклоге. Притом Соловьев всегда, с молодых лет, симпатизировал католицизму, а исключительный статус «Энеиды», когда она почти приравнивалась к Библии, в частности, как предмет метафорических и тропологических толкований и, соответственно, как гадательная книга, — этот статус принадлежал «Энеиде» в западнохристианской культуре, в основном чуждой Достоевскому, но очень не чуждой Соловьеву. Что символической парадигмой романа может быть евангельская цитата, Достоевский знал сам, но то, что такой же парадигмой в принципе может быть любая строка из «Энеиды», — этого он без Соловьева мог и не узнать. Беседы о молодой смерти, о несбывшихся надеждах, о том, что «ничто не умирает, все объявится», с очень большой вероятностью должны были вызвать в памяти любителя Вергилия воспоминание о юном Марцелле — и в таком случае привлечение к разговору соответствующей цитаты. А общее религиозно-философское направление беседы, соименность умершего мальчика и героя романа, сама собой разумевшаяся для Соловьева парадигматичность «Энеиды» и устойчивая склонность Достоевского к антропонимическому коду — всего этого было достаточно, чтобы затем в романе парадигматическую функцию приобрело имя умершего юноши, определенное своей короткой жизнью судьбу главного героя²⁰.

У Вергилия древний Марцелл изображен как реальность, а юный — как возможность (фактически — как несбывшаяся возможность): «Рок лишь покажет миру его и сокроет обратно» (Aen. VI, 869, пер. И. Шершеневича). У Достоевского, напротив, первоначальная и образцовая реальность — короткая и почти бездеятельная жизнь юного Маркела, значимость которой является лишь в перспективе, потому что ему предстоит «восстать и откликнуться» сначала в младшем брате и затем в Алеше Карамазове. Эта тема перспективной значимости рано прервавшейся жизни подкрепляется в романе речью Алеши на могиле Илюшечки, о котором он призывает помнить, потому что в будущем «может быть именно это воспоминание... от великого зла удержит» (т. 15, с. 195) — так некогда воспоминание о Маркеле удержало его младшего брата от возможного убийства²¹; хотя воспоминание о Маркеле спонтанно, а будущее воспоминание об Илюше подсказано речью Алеши, использующего здесь мотив исповеди старца и тем самым как бы навязывающего свою собственную Марцеллову парадигму мальчикам — героям второго (и главного, по мнению автора) романа, хотя для них следование за Алешей факультативно, между тем как для Алеши сознательное или бессознательное исполнение воли старца неизбежно.

В связи с этим нельзя не напомнить еще одно волеизъявление старца — открытое и встречающее даже некоторое недовольство послушника.

Запрещая Алеше оставаться в монастыре после его смерти, старец говорит: «Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь придешь» (т. 14, с. 71 — 72). Иными словами, уход Алеши из монастыря в мир планируется как временный — пока он вновь не прибудет в монастырь. Теперь можно полностью описать Марцеллову парадигму. Это жизнь, состоящая из трех периодов с катастрофической кульминацией на переходе к третьему периоду. Маркел в детстве радостен и невинен, но проявления этих (присущих детству в понимании Достоевского) свойств достаточно обычны, затем он вступает в юность с ее страстями и заблуждениями, затем смертельная болезнь просветляет его душу (кульминация) и в новом своем просветленном качестве умирающий становится просветителем семьи, а особенно младшего брата, восприемника парадигмы. Как уже отмечалось, первое воплощение парадигмы в сюжетном отношении самое бледное. Затем «живет за Маркела» его младший брат и проходит через те же жизненные периоды: невинное детство (отличное от Маркелова тем, что Зиновию уже сказано «живи за меня» — и как раз в том возрасте, когда, по церковным определениям, появляется возможность греха и необходимость в исповеди, то есть в восемь лет), затем бурная и даже буйная юность — хотя заблуждения братьев совершенно различны, затем несостоявшаяся дуэль (кульминация) и просветление, затем вступление на иноческий путь, спасение окружающих и, наконец, встреча с Алешей, которому старец завещает стать Маркелом, то есть сделаться очередным восприемником парадигмы, со смертью старца лишаящейся живого носителя.

В «Братьях Карамазовых» изображен или описан как предыстория первый период жизни Алеши (в конце которого он и воспринимает от старца Марцеллову парадигму), а затем начало второго периода. Второй период еще не озаглавлен заблуждениями, хотя герой обретает будущих друзей («мальчиков») и будущую любовь (Лизу) — дружить и любить ему предстоит уже в качестве «великого грешника». Итак, он будет жить в миру, женится, испытает много несчастий, которые сделают его счастливым, заставит людей благословить жизнь, вернется в монастырь — все это предсказано старцем в явной форме. Однако из символической парадигмы ясно, что между грешным существованием в миру и возвращением в монастырь должен быть некий перелом, сюжетная (и тем самым биографическая) катастрофа, которая сделает А. Ф. Карамазова из великого грешника просветителем. Конкретность заблуждения и катастрофы парадигмой не заданы (у Маркела и Зиновия они протекают по-разному), но все же катастрофа в обоих реализованных случаях связана с перспективой собственной смерти (от болезни или на дуэли), а во втором случае к возможности гибели добавляется возможность убийства. «Великое зло», от которого будут

удержаны мальчики, тоже, по всей вероятности, имеет отношение к убийству, — в моральной иерархии Достоевского хуже убийства было только издевательство над детьми, а его здесь можно исключить (хотя в смягченной форме оно имеет место — все-таки мальчики сначала обижают своего большого товарища).

Несколько более подробные сведения о реализации Алешей Марцелловой парадигмы, то есть о втором периоде его жизни и о катастрофе, могут дать сохранившиеся свидетельства о продолжении «Жития великого грешника». Рассмотрение этих свидетельств для реконструкции общего сюжетного плана обычно не считается правомерным. Предполагается, что развязка имела несколько вариантов — иначе не сочетается казнь с монастырем (т.15, с.486) и даже что Достоевский мог вовсе изменить план книги, как уже случилось ему делать²². Однако такой исследовательский пессимизм представляется излишним: Достоевский не менял планы своих произведений в самом процессе работы до такой степени, чтобы совершенно нарушить сюжетную целостность — тупиковые линии в его романах встречаются редко, а сравнительно частая путаница касается мелочей. Если бы продолжение «Братьев Карамазовых» существовало, то и в нем, конечно, могли бы обнаружиться любые подобные несообразности, но в предварительном плане их быть не могло. Этот предварительный план Достоевский не раз обсуждал с женой, друзьями и знакомыми, и сомнения в завершенности и единственности хотя бы самой общей сюжетной разработки второго тома возникают лишь потому, что свидетельства собеседников Достоевского производят впечатление слишком противоречивых. Между тем А.Г.Достоевская не раз и с определенностью утверждала, что план был. О нем известно пять свидетельств (т.15, с.412, 485 — 486). Рассмотрим, как они соотносятся друг с другом и с выделенной ранее Марцелловой парадигмой.

1) Свидетельство В.С.Соловьёва носит очень неопределенный характер, так как касается предварительного замысла — это «Церковь как положительный общественный идеал» (так говорил ему Достоевский во время путешествия в Пустынь). Это не противоречит ни послушанию Алеши, ни его монастырскому будущему, но никак не конкретизирует сюжет второго тома, лишь подтверждая (и то косвенно) важность послушания в миру.

2) А.М. Сливичкий сообщает, что героями второго романа должны были стать дети предыдущего романа, — так говорил Достоевский в 1880 г., уже выпустив первый том. Это подтверждает значимость речи у камня, но опять же без каких-либо конкретных подробностей.

3) Газетное свидетельство относится тоже к 1880 г., и из него следует, что А.Ф.Карамазов становится сельским учителем и революционером, причем доходит до умысла о цареубийстве. В сочетании со свидетельст-

вом Сливницкого это может означать, что заговорщиками будут «мальчики» — конечно, под предводительством Алеши.

4) Тема революции развивается свидетельством Суворина, который записал в дневнике (тоже в 1880 г.), что Алеша «совершил бы политическое преступление» в поисках правды и «его бы казнили». Это свидетельство не противоречит № 2 и 3, но соотношение его с № 1 неясно.

5) Самое позднее свидетельство — свидетельство Нины Гофман, которой о втором томе в 1898 г. рассказывала А.Г.Достоевская. По этому свидетельству, Алеша живет в миру, женится на Лизе, бросает ее ради Грушеньки и «после бурного периода заблуждений» возвращается в монастырь, где посвящает себя воспитанию детей. О женитьбе и монастыре, в сущности, известно уже из «Братьев Карамазовых» — это тоже воля старца. «Период заблуждений» конкретизируется № 3 и 4 в революционную деятельность (А.Г.Достоевская говорить о политике не любила). Возможно, в газетном свидетельстве есть хронологическая путаница. Алеше вероятнее стать учителем деревенских детей не в качестве супруга Лизы, любовника Грушеньки и революционера, а в качестве монаха в заштатном монастыре. Свидетельство Соловьёва благодаря свидетельству Гофман, не становясь конкретнее, становится основательнее — монастырь как центр просвещения для общественной роли Церкви был важен и отсутствие монастырского просветительства сказало на престиже Церкви как социальной силы.

Перечисленные свидетельства нарастают на Марцеллову парадигму некоторую сюжетную плотность: становится ясно, в чем будут заключаться заблуждения «великого грешника» и как именно научит он других «благословить жизнь» (предположительно обретя среди своих учеников нового восприемника вечной парадигмы) — неясна только сюжетная катастрофа, ведущая к просветлению. Разрыв с Лизой и роман с Грушенькой катастрофой не являются, так как «период заблуждений» наступает после (хотя, возможно, и в результате) любовного крушения. Катастрофическое событие — казнь — упоминается только у Суворина, однако именно из-за слов «его бы казнили» реконструкция плана считается невозможной. Если Алешу казнят, то как он вернется в монастырь, как станет учить детей и где тут общественная сила Церкви? А если он замыслил цареубийство (№ 3) и пытался его совершить (№ 4), то остаться живым ему никак нельзя. Отсюда гипотеза о «вариантах развязки» (т. 15, с. 486) и отсюда же гипотеза Гроссмана о Д. Ф. Каракозове как прототипе А. Ф. Карамазова (там же) — умысел цареубийства такую гипотезу подтверждает, хотя фамилия Карамазов ничуть не меньше похожа на фамилию Кармазинов, что никак не отменяет достоверности газетного сообщения, но делает менее надежной созданную для его подкрепления гипотезу. Действительно, сходство с фамилией «Каракозов» могло быть лишним доводом в пользу фамилии «Карамазов»,

но уже имеющийся Кармазинов был скорее доводом против. Зато собственное значение слова «карамазый» («черный», «смуглый» — примерно в смысле англ. «dark») хорошо согласуется с темой «карамазовщины», для которой терроризм — только один из способов проявления.

Итак, единственное упоминание о сюжетной катастрофе — суворинское «казнили». В двух первых воплощениях Марцелловой парадигмы катастрофа тоже связана с близкой или возможной смертью, однако не тождественна развязке. Если привлечь материал первого тома (отказ Зиновия от дуэли и речь у камня), то можно предположить умышленное и несовершенное убийство — то самое «великое зло», от которого будут удержаны «мальчишки». Да и «политическое преступление» в записи Суворина вряд ли означает убийство, которое ни один из собеседников не назвал бы столь иносказательно, зато умышления заговорщиков естественно назвать именно так.

Если Алеша с друзьями замыслил политическое убийство (но все же убийство!), а затем сам от него отказался, то такая сюжетная катастрофа согласуется и с Марцелловой парадигмой, и со свидетельствами № 1—4. Однако если заговорщиков повесят, то обещанное старцем возвращение в монастырь становится ложным пророчеством, а свидетельство Гофман лишается смысла. Для Гроссмана несоответствие этого последнего свидетельства предполагаемой смерти на эшафоте, вероятно, было поводом умолчать о книге Гофман и о ее разговоре с А. Г. Достоевской²³.

Однако же у Достоевского слова «казнь», «казнить» вовсе не непременно означают смертную казнь: в «Братьях Карамазовых» прокурор и защитник говорят о казни, ожидающей отцеубийцу (т.15, с.144,163), имея в виду каторгу, так как есть в юридическом контексте казнь — это наказание в соответствии с судебным приговором. Смертной казни в России, начиная с XVIII века, подвергались лишь государственные преступники, отсюда естественная ассоциация «политического преступления» именно со смертной казнью, тем более когда речь идет обумысле цареубийства. В 1878 г. после оправдания Веры Засулич и убийства Кравчинским шефа жандармов дела о «применении оружия против представителей власти» были переданы в ведение военных судов — это случилось в августе, а в начале 1879 г. террористов по совету императора приговаривали уже только в повешению (вместо возможного при военном суде расстрела). В 1879 г. было повешено шестнадцать человек, в том числе Дубровин, служивший в расквартированном в Старой Руссе полку (он был взят с оружием в руках и покушения совершить не успел). Все казенные покушения или готовили покушение на членов правительства или на царя, так что в качестве государственного преступника — особенно после августа 1878 г., а план романа сложился предположительно к осени, — А. Ф. Карамазов и вправду должен был умереть на эшафоте. С реальной точки зрения

такая вероятность и, следовательно, такое прочтение записи Суворина верны, однако реальность не была однородной и художественный взгляд на нее Достоевского был достаточно пристрастным.

Вот действительный случай, который после царевубийства и последовавшей реакции мог казаться нетипичным, но в 1879 г. был воспринят без особого изумления. 13 марта 1879 г. народовец Мирский стрелял в шефа жандармов Дрентельна, недавно сменившего на этом посту золотого Кравчинским Мезенцева. Мирский промахнулся, скрылся, был схвачен в Таганроге и приговорен к повешению — однако он написал Дрентельну покаянное письмо, а тот ходатайствовал о помиловании, и Мирский был помилован. Поэтому, когда после столь же неудачного покушения Млодецкого Гаршин ходил к Лорис-Меликову просить о помиловании террористу, для этого были основания: ходатайство жертвы неудавшегося покушения в подобной ситуации могло быть решающим. Лорис не стал просить за Млодецкого, и тот был повешен, причем публично — это была третья публичная казнь (после Каракозова и — в 1879 г. — Соловьева, тоже покушавшегося на царя), причем на груди у Млодецкого висела доска с надписью «Государственный преступник». Достоевский присутствовал при казни. Более чем основательным представляется предположение И.Волгина, что он ожидал для Млодецкого помилования на эшафоте — так некогда был помилован он сам и так в 1866 г. был помилован осужденный по каракозовскому делу Ишутин, причем эти инсценированные казни непременно были публичными (иначе они лишались смысла), тогда как действительные казни за упомянутыми двумя исключениями совершались в крепости и петербургской публике не демонстрировались²⁴. Между тем помилованные Ишутин и Мирский и непомилованный Млодецкий отнюдь не отказывались от умысла покушения, да и вообще о таких случаях предварительного раскаяния Достоевский знать не мог. Если бы подобное произошло, то в принципе были возможны три исхода: или «Народная воля» казнила бы отступника, или он становился предателем и доносил на товарищей (за что опять-таки приговаривался ими к смерти), или товарищей не было и умысел одиночки оставался известен лишь ему самому, — все эти варианты исключают суд и казнь. Однако вряд ли Достоевский собирался изображать просветление Алеши и «мальчиков» в соответствии с исторической обстановкой, многие детали которой обществу в ту пору известны не были. Литература описывает не действительные, а вероятные события — и в данном контексте вероятностью является то, что было вероятным для Достоевского, который верил в возможность коллективного раскаяния («речь у камня») и в возможность помилования.

В финале «Братьев Карамазовых» Алеша возглавляет своих младших друзей — в сочетании со свидетельствами о втором томе это естественно

и заставляет предполагать, что он должен был быть также главой террористов. Полное раскаяние заключается не только в отказе от преступного умысла, но и в готовности понести наказание за этот умысел. Таким образом, полное раскаяние заговорщиков в ту пору со всей неизбежностью означало для них военно-полевой суд и вполне вероятный смертный приговор (хотя бы для главы заговора). Иными словами, сделав Алешу заговорщиком, Достоевский вполне мог — в согласии с вероятностью — взвести его на эшафот. Но вот уже смерть раскаявшегося и просветившего товарищей героя никак не согласовалась ни с представлениями Достоевского о справедливости вообще и о безнравственности смертной казни в частности, ни с его утопическим идеалом народного монарха. Стало быть, раскаявшегося героя ожидало помилование, исходящее непосредственно от предполагаемой жертвы умысла, то есть от царя. Это не значит, что Алешу не казнили бы: *deus ex machina* в обличье фельдъегеря нес жизнь, но не свободу, и всякий заговорщик подлежал наказанию, однако наказанию соразмерно вине — после такого наказания оставалось время уйти в монахи и исполнить волю старца до самого конца.

Отнюдь не в качестве революционера-террориста должен был Алеша нести в народ завещанную старцем проповедь любви — это противоречило бы взглядам Достоевского и на религию, и на революцию. Завещанная старцем проповедь сама по себе весьма радикальна: так, например, непосредственное обращение к авторитету Писания (включая Ветхий Завет) противоречило сложившимся церковным правилам как ущербное для авторитета Церкви, так что в каком-то смысле Алеше предстояло перейти от одной формы радикализма к другой. Вдобавок нельзя не отметить, что самое слово «Церковь» имеет два социальных значения: 1) иерархически организованное духовенство и 2) совокупность верующих, «тело Христово». И Достоевский, и Соловьев к первой (государственной) Церкви относились очень критически, и маловероятно, чтобы в их беседах она выступала как «положительный общественный идеал». Очевидно во время поездки беседы велись о Церкви как о форме народного единства, что согласуется и с «соборностью» Соловьева, и с «серыми зипунами» Достоевского. Однако каждый социальный организм имеет своих лидеров — лидером такой народной Церкви оказывается просветитель-подвижник, и, вероятно, в подобной роли и должен был выступать А.Ф.Карамазов в третьем периоде своей жизни, после сюжетной катастрофы и преодоления всех карамазовских заблуждений — и плотских, как у Дмитрия (отсюда планированный для второго тома любовный треугольник), и духовных, как у Ивана (отсюда революционный терроризм).

Так античные ассоциации имени «Маркел-*Marcellus*» помогают яснее представить сюжетно-символическую роль этого имени в «Братьях Карамазовых», а это в свою очередь позволяет разглядеть согласие всех имеющих о втором томе свидетельств и таким образом непротиворечиво — хотя и гипотетически — реконструировать сюжетный замысел «Жития великого грешника».

Примечания

1. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том 15, с. 460 (далее ссылки на это издание даются в тексте). Виктор Террас пишет, что роман во многих отношениях является «открытой реакцией на вполне опознаваемые произведения русской и мировой литературы» (Terras V. A. *Karamazov Companion*. — The Univ. of Wisconsin Press, 1981, p. 13).

2. Едва ли не в одиночестве находится небольшая ранняя работа Л. В. Пумпянского (Пумпянский Л. В. Достоевский и античность. — Петербург, 1922), однако исследователь трактует проблему не столько филологически, сколько культурологически — отчасти в духе Вяч. Иванова с его идеями «дионисийского действия».

3. Цит. по кн.: Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения. — М., 1975, с. 52-53 (перевод В. М. Смирин).

4. О времени написания предисловия см. т. 15, с. 450.

5. Ср. в черновых заметках: о стремлении человека «поскорее отдать» полученную при рождении свободу (т. 15, с. 234, 237 и др.).

6. Забегая немного вперед, заметим, что старец не предрекает своему послушнику мученичества. Мученичество — слишком важная категория христианской аксиологии, чтобы преобразоваться в нетерминологическое и аксиологически почти нейтральное «много несчастий». Мученичество — смерть за веру. Смерть на эшафоте как результат правдоискательства под эту категорию в какой-то мере подходит, однако известная запись Суворина «его казнят» явно требует комментария, так как сказать об иномчестве, умолчав о мученичестве, для умирающего волеизъявителя невозможно, а если бы Алеша погиб против воли старца и в нарушение послушания, то это уже не было бы мученичеством и расходилось бы со всем, что утверждает Достоевский о старчестве, то есть нарушило бы весь замысел «Жития».

7. Ван Схоневельд К. Заметки об одном композиционном приеме Пушкина. — «For Roman Jakobson» — The Hague, 1956, с. 532 — 534 (там же литература вопроса, с тех пор не ставшегося в принципиально новых аспектах).

8. Топоров В. Н. Еще раз об «умышленности» Достоевского. — В кн.: *Finitis duodecim lustris*. — Таллин, 1982, с. 130.

9. На формирование образа Зосимы повлияли и другие, лично или по книгам известные Достоевскому старцы и прежде всего Тихон Задонский. По первоначальному замыслу старец в «Братьях Карамазовых» должен был зваться Макарием (т. XV, с. 419) — это был прямой намек на Тихона (Тухōп — «счастливый», Μακαριος — «блаженный»). Предпочел Достоевский имя Зосимы из-за его внутренней формы (zō — «живу»), как предполагают комментаторы академического издания, или из-за обаяния личности Верховского — это вряд ли важно, тем более что одна мотивировка не исключает другой.

10. Топоров В. Н. Указ. соч., с. 126 (в доказательство приводится обширный и убедительный антропонимический материал).

11. Увы! несчастный мальчик! Если преломишь злые судьбы, то будешь Марцеллом! (Aen. VI, 882 - 883).

12. Ср. у Сенеки в «Медее» такое же «отеп — попен», хотя и осуществленное: Медea сначала в разговоре с кормилицей угрожает «стать Медеей» (Med. 171), а затем, перед уже решенным детоубийством, объявляет, что «стала Медеей» (ibid. 910) — то есть окончательно реализовала в своем поведении тот образ, который связывался с ее именем в священном

предании. Тем самым предание оказывается синхронно действию, отражая в данном случае не мифологические события, а мифологические ожидания, выступающие тут в качестве не описания, а программы действия, — пока Медея не совершила всего, положенного Медее, она как бы не является сущей Медеей, то есть в тождестве имени и судьбы определяющим элементом снова оказывается судьба. Вполне вероятно, что Сенека здесь ориентируется именно на знаменитый стих Вергилия, развивая тему со свойственным его риторической поэзии многословием.

13. *Виргилий в изложении Лукаса Коллинза. Пер. с английского под редакцией проф. Санкт-Петербургского университета И.Помяловского. — Спб., 1876.*

14. Нужно отметить любопытную деталь, в приложении Помяловский дает отрывки из IV эклоги в рифмованном переводе Мерзлякова, где существенным представляется финал, который у Мерзлякова звучит так:

Начни, дитя, начни улыбкою небесной
Сретать и познавать взор матери прелестной!
Заставь ее труды, болезни забывать!
Начни! взгляд матери — грядущих благ печать! —
Кому родители в сей миг не улыбались,
К тому и божества благие не склонялись.

Перевод очень вольный: не только четыре стиха сделались шестью, но и содержание их сохранило лишь отдаленное сходство с оригиналом. Не утомляя читателя цитированием латинского текста, приводим вполне точный перевод С.В.Шервинского:

Мальчик, мать узнавай и ей начиная улыбаться, —
Десять месяцев ей принесли страданий немало,
Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки
Трапезой бог не почитит, не допустит на ложе богиня.

(Ecl. IV, 60 — 64)

Интересна тут не сама неточность, а те принципы, которыми руководствовался Мерзляков в своем переложении. У Мерзлякова «мать» и «улыбка» не только обретают не свойственные им в античной поэзии эпитеты и десять месяцев беременности утрачивают свою конкретность, но исчезает языческая концепция счастья — вместо пира богов и любви богини являются безликие «благие божества». Таким образом, Мерзляков (конечно, принимающий христианское толкование) подверстывает финал пророческой эклоги к обиходным новоевропейским художественным представлениям о младенце-Христе на руках у Мадонны, причем «небесная улыбка» и «благие божества» явно указывают даже и на вполне конкретную картину — на Сикстинскую Мадонну. Достоевский признавал эту картину «высочайшим проявлением человеческого гения» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981, с. 159), тема Мадонны существовала в «Братьях Карамазовых» (т. 15, с. 460), особая роль картины Рафаэля в русской культуре сейчас исследуется — и, разумеется, ассоциация Марцелла с младенцем на руках Мадонны не могла не сделать образ юного римлянина еще более привлекательным для Достоевского.

15. У Майкова имя Марцелл свидетельствует прежде всего о знатности, но избежать естественных ассоциаций с «Энеидой» Майков не мог, и в «Смерти Люция» герой обращается к Марцеллу со словами:

Патриций! Вождь! Стратегик славный!
Марцелл, проведший жизнь свою
В походах, в лагере, в бою,
Один, быть может, предкам равный...

«Предкам», то есть самому древнему Марцеллу, который выведен в пророчестве Анхиза непосредственно перед стихами о пасынке Августа (таким образом, Марцелл Майкова — как раз реализовавшийся Марцелл).

16. *Виргилий в изложении Лукаса Коллинза, с. 145*

17. Достоевская А.Г. Указ. соч., с. 290.

18. Достоевская А.Г. Указ. соч., с.327 — 328.

19. Dunlop J.B. *Starets Amvrosy: Model for Dostoevsky's Starets Zossima*. — Belmont, Man., 1972.

20. Неизвестно, когда появился в библиотеке Достоевского коллинзовский Вергилий, но это не непременно случилось сразу по выходе книги, а могло произойти даже и после (в результате?) поездки в Оптину пустынь. В любом случае после поездки Вергилий мог быть перечитан, а Marcellus там (которого Соловьев произносил, разумеется, «Марцелл») был, как отмечено, «Маркеллом». Это давало возможность использовать имя для русского героя. При этом следует учесть, что Достоевский не был вовсе чужд вере в переселение душ (Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. — Пг., 1922, с.68), интересовался гаданиями, вместе с тем же Вл. Соловьевым — еще до поездки в Пустынь — ходил к заезжей гадалке (Достоевская А.Г. Указ. соч., с. 320), семейная его обстановка вообще способствовала серьезному отношению ко всяческому предчувствиям и предсказаниям (там же, с.324 — о наследственном ясновидении Анны Григорьевны), и, наконец, он особенно был склонен к гаданию по Библии, которому доверял абсолютно (там же, с. 375), а *sors Vergiliana* — вариант именно такого гадания, так что пророчество через цитату — самая близкая Достоевскому форма пророчества.

21. Сам Достоевский в письме к Любимову говорит, что в речи у камня отчасти отражается «смысл всего романа» (Достоевский Ф.М. Письма. Том IV. — М., 1959, с.139). Несколько ранее, прося Любимова проследить за сохранением рубрикации библиографических сведений о старце Зосиме, он называл VI книгу романа его «кульминацией» (там же, с.91) — это при особом внимании к рассказу старца, в котором первая рубрика посвящена именно брату.

22. Brown M. *The «Brothers Karamazov» as an Expository Novel*. — *Canadian-American Slavic Stud.*, 1972, № 6, p.199 — 208; Terras V. *Op. cit.*, p. 110 (при этом в других местах Террас говорит о лейтмотивах и «зеркальных образах» романа, что само по себе предполагает возможность некоторых — пусть очень общих — выводов).

23. Белов С. Еще одна версия о продолжении «Братьев Карамазовых». — *Вопросы литературы*, 1971, № 10, с.254 — 255.

24. Волгин И. Последний год Достоевского. — «Новый мир», 1981, № 10, с.142 — 147. Заметим, что остается неизвестным, обсуждал ли Лорис с царем возможность помилования. В дневнике Александра II запись о казни Млодецкого кончается словами «все в порядке» — значит ли это, что он опасался публичных эксцессов, которых не было при предыдущих казнях? Если так, «порядок» означает очередное их отсутствие и чрезмерную опасливость царя. Однако приведенная запись может означать также и завершение спора с Лорисом, который в качестве военного и человека чести должен был просить для Млодецкого помилования (коль скоро на подобное оказался способен Дрентельн!), но в качестве диктатора не имел такого права — и мог решить для себя это моральное противоречие, заменив официальное ходатайство устным, в частной беседе. Устно царь мог такую возможность помилования отвергнуть, но с официальным прошением было бы сложнее, отказать Лорису было трудно. В этом случае «порядок» подразумевает, что Лорис не подал официального ходатайства, которого царь имел основания опасаться и на которое Гаршин имел основания надеяться, и предпочел желательный для царя стереотип диктатора желательному для Гаршина стереотипу боевого генерала, притом что последний стереотип был привычнее и для самого Лориса.

Вадим ЛИНЕЦКИЙ

ПОСТМОДЕРНИЗМУ ВОПРЕКИ

(Еще раз о литературе «новой волны»)

Если в настоящий момент у нас действительно есть постмодернизм, то это чудо. Чудо потому, что как раз сейчас его не должно и не может быть. Но только есть ли у нас постмодернизм? Ни у доброжелателей, ни у недругов литературы бывшего «андеграунда» никаких сомнений тут не возникает. И неспроста: ведь чего у нас точно нет, так это адекватной моменту критики. Наша критика застряла в XIX веке (структурно, господа, структурно). И в этом причина всех нынешних недоразумений, недопониманий, связанных с темой постмодернизма в России.

В самом деле, весь набор подходов, весь категориальный аппарат, используя который у нас пытаются разобраться в — предположительно — постмодернистских текстах, для цели этой явно не годится. Отсюда все эти абсолютно бессмысленные попытки сформулировать «постмодернистскую поэтику» (Поль де Мэн: «постмодернистский подход запрещает говорить о поэтике» в общем: «кое-что сказать можно разве что о поэтике отдельного произведения»), выливающиеся, как и следует быть, в банальные толки «о луне, деве и прочих букашках» (Фаддеев Булгарин).

Какие-то поверхностные признаки постмодернизма — полистилистика, цитатность, соседство культурных языков «всех времен и народов», отношение к миру как к тексту — при этом, конечно, фиксируются. Фиксируются — и тут же ставятся под сомнение: в них ли, действительно, суть постмодернизма? А если не в них, то в чем? Внятного ответа на эти вопросы в нашей критике не дается. И это, опять же, не удивляет, ибо постмодернистская проблематика сводится у нас почему-то к тесной сфере переставших быть изящными искусств, тогда как понять истоки и смысл постмодерна можно, только выйдя за пределы этой сферы. А в целом, говоря о постмодернизме, всяк у нас толкует о своем. (Что свидетельствует о нашей исконной неряшливости в обращении с понятиями, не нами придуманными).

Поэтому для начала есть смысл бегло обрисовать концепцию постмодерна, как она сложилась в трудах его пророка Жака Деррида, а затем сравнить с этим аутентичным портретом его российский двойник.

Основное событие, определившее постмодернистскую проблематику, событие философское: открытие (или, точнее, радикализация заявленной Фрейдом и подхваченной Хайдеггером) темы отсутствия, вносящего диссонанс в любое присутствие; темы не-современности, раскалывающей надвое всякую со-временность; темы «непрезентности

настоящего времени» (Деррида). Начиная с Декарта европейская философия — а следовательно, и шедшая с ней в ногу эстетика — исходила как раз из обратного: из радикального присутствия субъекта. Присутствие субъекта в волевом или познавательном акте — фундамент эстетики с ее дихотомиями формы и содержания, вымысла и реальности, искренности и иронии. Эти и все подобные им оппозиции могут быть центрированы лишь субъективно: они исчезнут, исчезни субъект.

Но вот субъект «исчез». Точнее, оказалось, что сконструированная философией нового времени субъективность не может претендовать на фундаментальную роль, ибо она не целостна, никогда полностью не присутствует для себя самой, не современна себе, своему сознанию о себе. И восполнить этот «пробел» в рамках традиционного философского дискурса нет шансов. А потому означенный дискурс подлежит деконструкции, знаком которой и стало парадоксальное слово послесовременности (постмодернизм). Впрочем, парадоксальное только на первый взгляд. Ибо речь совсем не о том, каким образом возможно (и возможно ли вообще) современности быть после себя самой. Речь о философствовании, для которого присутствие в идеальном «сейчас» не является исходной точкой, для которого тема настоящего времени (генеральная тема европейской философии) — в прошлом, а стало быть, в прошлом и весь круг проблем, центрированный этой темой.

Было ли это событие у нас? Поначалу кажется, что нет. Хотя бы потому, что — по большому счету — у нас не было и нет философии. Однако не будем забывать, что у нас был соцреализм.

Что такое соцреализм? Тут у нас царит единогласие. Сегодня все согласны с тем, что соцреализм есть расцвет авангардистского эксперимента, показавший весь его блеск и всю его нищету. Споры нет, теория остроумная. И все бы в ней было хорошо, когда бы не невозможность, приняв ее на веру, удовлетворительно объяснить ряд принципиальных фактов (ну, скажем, принципиальное структурное различие между ролью автора в авангардистском тексте и тексте соцреалистическом — различие, не объяснимое допустимыми «внутривидовыми» модификациями). Вот почему более убедительной кажется не продуманная у нас как следует точка зрения, выраженная в эссе Абрама Терца «Что такое социалистический реализм?». Ответ Терца — соцреализм есть классицизм — куда ближе к философской сути проблемы, не говоря о другом его достоинстве: ориентации на историю, а не на мифологию, превращающую литэволюцию в череду метаморфоз в овидиевском вкусе.

Вывод, к которому ведут размышления Терца, состоит в том, что соцреализм есть естественное завершение определенного этапа русской культуры, описавшего круг и вернувшегося — на новом уровне — к своей исходной точке. Отсюда характерное для соцреализма притяжение — отталкивание не только по отношению к авангарду, но и

к классическому реализму, и к романтизму, и к карамзинскому сентиментализму. Соцреализм — как ему и предписывалось — действительно вобрал в себя «весь эстетический опыт», но только не «всего человечества», а определенного этапа определенной национальной культуры. Этим объясняется его структурное сходство с классицизмом. Ведь последний тоже финал, но только прешествующей эпохи. Финальные явления по определению эклектичны. Доминанта в них может только декларироваться (да и то не всегда: вспомним усилия Дьердя Лукача и Роже Гарроди расширить берега соцреализма), на практике же тут царит полистилистика: далеко не мирное сосуществование различных стилей (совершенно явное даже в таком образцовом сочинении, как «Мать» Горького). Отсюда эффект вторичности, радикальное отрицание категории новизны (мечта о «красном Толстом»).

В связи с этим закономерен вывод американской славистки Катарины Кларк, отмечающей в своем исследовании советского романа, что «главный отличительный признак соцреализма никак не связан с традиционными категориями поэтики; это — радикальное переосмысление роли автора. По крайней мере, после 1932 года писатель перестает быть творцом оригинальных текстов: ¹⁾ теперь он работает на материале мифологии, творцом которой является партия. Соответственно его функция отныне напоминает функцию средневековых хронистов, но еще больше она напоминает роль автора в эпоху классицизма». ²⁾ Иными словами, роль автора тут сугубо формальна. Соцреалистический автор — лишь контур, обводящий пустоту, отсутствие всего, что связано с традиционным понятием авторства (отсюда такие вещи, как «линия партии в литературе», «соцзаказ», вторая редакция «Молодой гвардии», наконец, плагиаторство Шолохова). «Смерть автора», которой ознаменовался соцреализм, стала, как и предполагал Р. Барт, рождением читателя, но только не в единственном, а во множественном числе («самый читающий в мире народ»).

Как автор, таквы и его персонажи. Реальность в эпистеме нового времени синоним присутствия, современности, идеальной полноты «здесь» и «сейчас». В этом смысле персонажи соцреалистического сочинения нереальны (ходульны, плакатны). Иными они и не могут быть, ведь соцреалистическая реальность может узнать о себе, только став знаком, то есть перестав быть собой. «Знак — смерть реальности» (Деррида). В случае персонажей «Молодой гвардии» — обыкновенная смерть. Соцреализм не признает субстанционального, онтологического различия между автором и персонажами, между литературой и *не-литературой*. Для соцреализма мир равен тексту и текст равен миру. А потому автор вполне может оказаться в числе героев своего сочинения (как в «Дороге на океан» Л. Леонова), ведь сама до предела ритуализованная реальность состоит из симулякров, предстает длящимся хэппенингом: «Эпопея челюскинцев в своей насыщенной со-

держанием простоте — образец созданного в жизни социалистического реализма, к которому стремится наша литература» («Лит. газета» от 26.06.1934 — цит. по: Х. Гюнтер. Сталинские соколы. «Вопросы литературы». 11—12, 1991).

«Деконструкция субъекта есть деконструкция настоящего времени, современности» (Деррида). Начав с отрицания субъективности, соцреализм потерял реальность. Вот почему теоретикам и практикам соцреализма столько хлопот доставляла «проза жизни», вообще «быт», в котором историческое мгновение пытается заявить о своей самостоятельности. Вот откуда требование изображать день сегодняшний в свете дня завтрашнего (то есть грядущего торжества известных идеалов). Современность в соцреализме ущербна, она характеризуется «наличием отсутствия» (этот осмеянный оборот советской бюрократии, кстати, не раз встречается в текстах Деррида), дефицитом. Строго говоря, современности нет: она расплущена между (героическим) прошлым и (утопическим) будущим, которые в свой черед существуют лишь на правах знака (фальсифицированное, а следовательно, никогда не бывшее прошлое и фантастическое будущее, у которого именно поэтому нет никаких шансов стать настоящим). К. Кларк пытается истолковать этот феномен в свете мифа о «вечном возвращении». Но мифом тут и не пахнет. Миф предполагает исток («золотой век»), ограничивающий свободную конвертируемость знаков и требующий возврата, равносильного торжеству значения, не нуждающегося в посредстве знака. Ничего подобного не наблюдается в соцреалистическом мире, в котором знаки совершенно утратили какое бы то ни было значение.

Соцреалистическую эпистему К.Кларк называет «идиосинкратической версией неоплатонизма». Наш анализ заставляет увидеть тут скорее стихийную деконструкцию этой эпистемы, идущую в том же направлении, что и деконструктивистские усилия Деррида. Соцреализм — опытное подтверждение невозможности самоидентификации в рамках новоевропейского философского дискурса, свидетельство его исчерпанности. Отсюда попытки соцреализма обрести идентичность в постоянном бегстве от себя. Отсюда весь этот маскарад, скрывающий отсутствие лица (примером может служить соцреалистический «генезис»: Сталин — это Ленин сегодня; Ленин — продолжатель дела Маркса/Энгельса; Маркс/Энгельс — наследники всего прогрессивного человечества; но это последнее как раз и является в марксизме таким «неизначальным началом», которое, по словам Деррида, «будучи основой системы, не позволяет найти в ней внезапное значение»).

Раскроем карты: не оговаривая это особо, выше мы не раз цитировали обобщающую постмодернистский опыт книгу Джонатана Каллера «О деконструкции. Теория литературы и литературная критика после

структурализма». 3) В этих цитатах постмодернизм заменен соцреализмом, а кавычки сняты для наглядности. Как видим, от этого ничего не изменилось. И не случайно, ибо, как пишет Каллер, «постмодернизм не является философской школой или художественным методом. Скорее это интеллектуальный климат, адекватным выражением которого могут быть различные философские и эстетические явления». В нашем случае эстетическим выражением постмодерна стала соцреалистическая практика, а философским — марксистская теория. 4) Если мы всерьез с ними распрощались, напрашивается вывод, что для нас — в отличие от Запада — эпоха постмодерна в основном позади. Наконец-то мы его, окаянный, обогнали. Поздравим друг друга, господ!

Однако я рискую не услышать ответной реакции — по крайней мере до тех пор, пока не дам ответа на вопрос, что представляет собой в таком случае так называемая литература «новой волны»? Если она не является постмодернизмом, то что она тогда такое?

Самое беглое знакомство с этой литературой убеждает, что ее характеризует именно борьба с постмодернистской проблематикой, более или менее убедительные поиски выхода из постмодернистской эпохи. 5) Как уже было сказано в начале, эта борьба, эти поиски остаются незамеченными нашей критикой, у которой не возникает и тени сомнения в том, что она имеет дело с — плохим или хорошим — но постмодернизмом. Было уже сказано и о том, почему меня лично это не удивляет. Удивляться тут и впрямь нечему — тем более, что жертвами предрассудка становятся и сами «новые» литераторы, продолжающие считать себя постмодернистами, на деле не будучи таковыми. Особенно это характерно для тех из них, кто имеет теоретические наклонности.

Разумею прежде всего В. Курицына. Обе его работы — «Постмодернизм: новая первобытная культура» («Новый мир» №2, 1992) и «На пороге энергетической культуры» («Лит.газета» 31.10.1990) — вопреки декларациям («... постмодернизм сегодня — самая живая, самая эстетически актуальная часть современной культуры») — суть как раз попытки постмодернизма преодолеть. Об этом говорит уже само заглавие первой из них. Определение постмодернизма как первобытной культуры (хотя бы и новой) — это живой труп или горячий лед: противоречие в терминах. Ни о какой «первобытности», иначе говоря — изначальности, для постмодерниста не может быть и речи. И вовсе не потому, что эстетически постмодерн радикализует вторичность (так или иначе свойственную литературе по определению), но по той причине, что «апелляция к началу — философский жест, выдающий стремление избавиться от реальности знака, отменяющей «живую» реальность. Или — или. Так ставит вопрос Декарт. Но так же он стоит в эпоху модерна вплоть до Леви-Стросса...

«Начать с нуля, с чистой страницы — и в то же время сознавать, что у тебя за плечами века и века культуры... эта идея — ядро европейской

философии, западного искусства. Мы показали, как эта идея отрицает саму себя" (Деррида). Еще радикальнее — и опять же вопреки заявлениям — отказ от постмодернизма декларируется в другой работе нашего автора. Речь в ней — «о стремлении смысла к воплощению с минимумом формальных затрат». Если Деррида и употребляет слово «смысл», то непременно уточняя: «который не является смыслом». Грубо говоря, смысл для постмодерниста является синонимом максимума формальных затрат, и все равно остается сомнение в том, смысл ли это? Стремление к смыслу возможно либо в эпоху, предшествующую постмодерну, либо — в идущую ему на смену. Но в последнем случае требуется преодолеть постмодернистские апории, попытаться обойти (но не молчанием) все то, что, как показал постмодернизм, препятствует воплощению смысла.

В этом отношении очень показательны стихи и проза Татьяны Щербины, в особенности ее роман «Особняк, или Исповедь шпиона». Тема модернизма — мечта о тексте, который мог бы быть «прозрачным, живым отражением нашего вечного Я» (Волошин). Однако само это выпестованное философской традицией «Я» — как показывает постмодерн — «структурировано как текст» (Лакан): само «я» есть текст. А следовательно, литература оказывается в тупике тавтологии, отрицающей и текст, и само «Я». Как писал о характерных для постмодерна стихах Эрнста Яндля немецкий критик Хельмут Хайссенбютель: «Первое впечатление: автора не существует, потому что существует его текст. Но тут же спрашиваешь себя: а существует ли сам текст?» В своем романе Т. Щербина как раз и пытается наметить контуры такой субъективности, которая бы не отрицала себя при соприкосновении с текстом, отрицая обратным ходом и сам текст.

Поиски новой субъективности, призванной заменить субъективность Нового времени, потерпевшую фиаско в постмодерне, являются сквозной темой «новой литературы», возникновение которой было прямым вызовом постмодернизму. Хотя бы поэтому эта литература отнюдь не есть, как считают наши литературные снобы, повторение давно известного Запада, повторение пройденного им.

Первым шагом в этих поисках оказывается попытка обосновать новый статус текста. Мир, частью которого является автор, теряет свое равенство тексту. Отсюда очень характерное заявление в интервью Дм. Пригова о том, что самым интересным у Бродского он считает «мощнейшее усилие, попытку оторваться от текста, быть вне текста. Но в результате им принципиально избранной стратегемы он все равно — Сизиф, тащащий на себе все эти тексты» («Книжное обозрение» N27, 1992).

Отрыв от текста означает прорыв к имени. Разбирая постмодернистские тексты другого «Сизифа» — Фр. Понжа, Деррида пишет о них как о «могиле автора»: «имя автора перестает что-либо значить, превращается в чистый знак». ⁶⁾ Об этом же говорил Р. Барт: «Имя — это

как раз то, что находится сейчас в зоне молчания». Ныншний расцвет жанра «дружеского послания» свидетельствует о том, что имя вновь обретает значение.

Похоже, в нашей литературе наступило время всеобщей переписки. Все пишут всем. (Несколько наиболее интересных примеров: Т. Кибиров. «Письмо Льву Рубинштейну», «Письмо Сергею Гандлевскому»; А. Еременко. «Послание Андрею Козлову в г. Свердловск...»; Виталий Кальпиди. «Письмо Алексею Парщикову»; в прозе — вокруг посланий «дружеского кружка» разворачивается сюжет у Нарбиковой в повести «Великое кня...»). Обычно жанр послания господствует в начале эпохи, когда перед ней стоит задача выработать альтернативное понятие субъективности. Вспомним о роли дружеского послания в пушкинский период отечественной словесности, особенно на его «лицейском» этапе — этапе окончательного прощания с настроениями классицизма. Вспомним и о том, что «именно в эпистолярном жанре появляются ростки новой эстетики» (Лидия Гинзбург).

Послание предполагает такую субъективность, которая появляется только в отношении к Ты. В отличие от классической модели (Я существую, следовательно существует и все остальное, в том числе и Ты) тут: существуешь Ты — и только поэтому существую Я. Как писал Мартин Бубер (чья концепция интерессубъективности кажется сегодня непосредственным выводом из деконструкции Деррида): «Я как такового не существует. Я появляется только в отношении к Ты или в отношении к Оно. Говоря Я, мы имеем в виду одно из двух». Перенос акцента на Ты подготавливает эстетические сдвиги. Именно поэтому к «новой литературе», по существу своему литературе интерессубъективной, неприменимы традиционные категории эстетики (вроде оппозиции искренности-иронии). Как говорилось выше, все эти категории непосредственно связаны с солипсической субъективностью предшествующей эпохи. Поэтому называя Кибирова «очень искренним поэтом», а Еременко — «очень ироничным», мы упускаем главное в них. Не искренность и не ирония (как мы показали, вырождающиеся в текстуальном мировосприятии) определяет их поэтику, но прежде всего коммунитарность.

Интерсубъективность — коммунитарная модель. Вот почему — как фундамент новой эстетики — она не сводима к эстетике «открытого произведения» (У. Эко), вообще к любым построениям, ориентированным на творческую роль читателя, назначение коей — сдержать возникшую после «смерти автора» энтропию. Во всех подобных теориях происходит лишь замена одной субъективности другой — точно такой же. Что разумеется не ведет к принципиальным сдвигам. Интерсубъективность делает акцент на пространстве, возникающем между двумя Я, пространстве, которое по этой причине не сводимо к знакомому дуализму,

оборачивающемуся в итоге торжеством знака и только знака. Напомним, что в средневековой эстетике концепт — это то, что по определению не нуждается в каком-либо «овнешнении». Доказывать концептуалистскую ориентацию «новой литературы», я думаю, уже нет нужды.

Как назвать эпоху, пришедшую на смену постмодерну, вопрос второстепенный. Мы ставили перед собой цель лишь сказать о конце постмодернистской эпохи.

Примечания

1. — “... перестает быть творцом оригинальных текстов” — эта, недопустимая с точки зрения переводческой этики, неуклюжесть призвана сыграть роль курсива.

2. — Katerina Clark. *The soviet novel. History as ritual.* Chicago and London. 1981. p. 159.

3. — Jonathan Culler. *On deconstruction. Theory and criticism after structuralism.* New York. 1982. p. 81, 202, 123; 55, 81.

4. Одно из достоинств отстаиваемой здесь точки зрения состоит в том, что она позволяет наконец-то определить истинное место А. И. Солженицына в отечественной культуре. В силу ряда причин (хотя бы в силу масштабности: не будем забывать, что этот человек написал больше, чем кто-либо из российских литераторов нынешнего столетия) творчество Солженицына представляет собой высшую точку соцреализма, а следовательно — является завершением постмодернистской эпохи. Господство в его сочинениях полистилистики и цитатности не подлежит сомнению. В этом отношении — и, опять же, в силу масштабности — Солженицын, как никто, выражает принципиальную вторичность постмодерна. Но полистилистика и цитатность, как говорилось, суть лишь вторичные признаки постмодерна, Гораздо важнее роль автора и качество реальности. И тут Солженицын также доводит до предела установки постмодернизма. Роль автора в его текстах сугубо формальна: она лишь оформляет стилистически разнородный материал (причем не только в «Архипелаге» и в «Красном колесе»). Отсюда, с одной стороны, целый выводок дублеров автора (от Сани Лаженицына в «Колесе» до Александра Исаевича в «Бодался теленок с дубом»), с другой — тот факт, что реальность в его текстах — нереальна в указанном выше смысле. Я лично не думаю, что Солженицын в «Красном колесе» фальсифицирует историю или, мягче, «выражает свои историософские взгляды». Просто дело в том, что реальность “как она есть” для Солженицына всегда ущербна: ей не хватает знака. Только как знак она доступна восприятию Солженицына. Отсюда знаменитое “языковое расширение”, итогом которого оказывается грандиозный симулякр. Но отсюда же и сам замысел эпопеи. Историческое повествование вообще самый адекватный для постмодерна жанр, ибо реальность тут заведомо аннулирована знаком, будучи доступна лишь как знаковая реальность документа (поэтому чем больше автор озабочен “правдой”, чем больше он ориентируется на “документ”, стремясь к максимальной “объективности”, тем больше он — объективно — рискует оказаться “фальсификатором”). В этом смысле исторический роман — и автобиография как его подвид — есть эстетический аналог философской самодеконструкции новоевропейских категорий субъективности и настоящего времени, прослеженной Деррида на примерах Руссо

и Гуссерля. Постмодернизм как историческая эпоха и как эпоха индивидуального сознания (в том смысле, в каком говорится о “юношеском романтизме”) в случае Солженицына совпали, — подобно тому, как в соцреализме и классицизме XVIII века совпали внутреннее направление литэволюции и “государственная необходимость”.

5. — Отлично зная российскую наивность, в интеллектуальной сфере проявляющаяся в склонности к буквализму, приходится отступить в примечаниях и объясниться. Из сказанного выше никак не следует, что постмодернизм и представляющий его у нас соцреализм — это “плохо”. Более того: мы считаем, что это необходимо. Поэтому, говоря о борьбе “новой литературы” с постмодерном, мы отнюдь не играем в понятия, лишь повторяя на свой лад то, что и так имплицитно присутствует в оппозиции “андеграунд” — “истэблшмент”. Свидетельство тому — наше отношение к соц-арту. На наш взгляд, соц-арт совершенно лишен, с одной стороны, какого бы то ни было социал-критического содержания, малейшей тени иронии, отстраненности и т. п., а с другой — отсутствует в нем и ностальгия, мифологизирующая прошлое. Обе точки зрения, с которых у нас рассматривают соц-арт, повторяют давнюю ошибку западной критики, сходным образом оценивавшей поначалу поп-арт. “Очень долго у нас в Европе отказывались признать, что в поп-арте нет и намека на критическую рефлексию, что он не оценивает, а, зачастую одобрительно цитирует окружающую реальность” (Lothar Romain. Von der Botschaft zur Kommunikation. — In: Katalog der Dokumenta 6. Kassel. 1977. p. 23).

По всем параметрам соц-арт полностью укладывается в эстетику соцреализма, реализуя весь — исчерпанный — потенциал. Поэтому как-то особо выделяя это направление, мы лишь “умножаем сущности без необходимости”. Говорят, что вместе с произведениями соц-артистов вскоре придется переиздавать подшивки “Правды”. Действительно придется, — если и мы впредь будем ставить соц-арт в оппозицию к соцреализму. И наоборот: нужды в этом не возникнет, если рассматривать их как одно целое... Все это не мешает нам, однако, любить соц-арт, считать его настоящим искусством. С другой стороны, по нашему мнению, Сталину поправились бы работы Комара и Меламеда.

6. Принадлежащий Деррида анализ текстов Фр. Понжа см. в: Francis Ponge: Colloque de Cerisy. Paris. 1977. p. 115—151. — И здесь вновь следует предостеречь против буквального прочтения: мы имеем дело не с оценкой качества текста, но с его анализом. И только.

Олег ДАРК

ИЗ ЗАМЕТОК НАТУРАЛА

От редакции. Тема «гомосексуализма» (или еще шире — аномальных сексуальных отношений) в русской литературе до сих пор не изучена, потому что вызывает почти инстинктивное отвращение не только у большинства читателей, но и у исследователей. Более того, эта тема до недавнего времени входила в круг наиболее закрытых: о сексуальных отклонениях Гоголя, Кузмина, Чайковского, Уайльда, Пруста, Параджанова говорить просто не разрешалось. Однако как бы мы ни относились к «извращенной» сексуальности — с праведным евангельским гневом или обывательским любопытством, любая реальность, в том числе и эта, требует серьезного изучения.

Статья литератора О. Дарка, предлагает «объективированный» взгляд на указанную проблему, и именно эта установка на объективность определяет сочетание литературно-эстетического анализа с медико-психологическим.

1

Тип сексуальности — вопрос не практики, а склонности. Переспать с приятелем мало, чтобы стать гомосексуалистом. Коллекция любовниц — не аргумент эротического правоверия. Мужчина, предпочитающий стриженных, плоскогрудых, хрипящих, с коротко обрезанными ногтями, — сокровенный гей. Это может быть тайной и от него самого. Набоковский ловец лолит, скорее всего, не понимал природу своей склонности. За него ее хорошо знал автор. «Месье Годен с не менее одаренным сыночком», параллельная главной паре, — кривое зеркало, в котором Набоков с его обычным ехидством восстанавливает искаженную в действительности картину. В нимфетках Гумберта влечет половая неадекватность, неразличение; это девочки-мальчики. Через весь роман проходит настойчивое женоненавистничество, определяющая черта всякого героя тайной гомосексуальности в литературе. Но отразившись, перевернувшись, он себя не узнает.

Как Гумберта отвращает женственность, так уайльдовского лорда Генри — мужественность. В любовании розоворотым Дорианом он вытесняет, как считается, свою и авторскую извращенность, а напротив — в обратном набоковскому кривом зеркале возвращает традиционные эротические ориентиры своего создателя. Тщательно стилизованное в жизни и литературе мужеложество Уайльда — такая же мистификация, как охота Гумберта за девочками, — только, может быть, сознательнее. «Портрет Дориана Грея» стал первым оправдательным материалом на известном судебном процессе автора, как и любого другого эфебофила. Потому что педераст на самом деле не любит мужчин — всю эту игру мышц и силы. В мальчике он культивирует женское, точнее — девичье;

выполняет традиционную половую функцию, но парадоксально направленную. Это предельное проявление обычного мужского пристрастия к девственнице. Воплощением вечного девчества становится тот, чья потеря невинности биологически не может быть выражена, то есть не существует.

Естественно, поэтому, что педераст комфортно чувствует себя в гетеросексуальной ситуации: женится, имеет детей и т. д. Отношения с женщиной требуют от него меньшего напряжения, не нуждаются в половой переакцентировке. Другое дело — «пассивный» гомосексуалист. Здесь та тяга к смене пола, о которой писал В. Розанов. Но в обоих случаях психологически условен сам термин: гомо — то есть подобный. Неудивительно его искусственное и позднее происхождение: мы знаем и автора, и дату изготовления. Потому что сначала стилизуется (в другом или в себе), а потом влечет сексуально противоположное (это справедливо и для сапфизма). Но почему же не удовлетворяет готовая данность? В основе того, что так неловко и недавно названо, — утопический план, никогда до конца не осуществимый и реализация которого связана с трудом, сопротивлением материала; вся прелесть процесса, может быть, в этом преодолении.

Евгений Харитонов как-то пожелал: вот бы приобрести кошку и превратить ее в красивого десятиклассника. Для трезвого сознания вопрос: если предполагается волшебство, отчего бы не сразу — перенести откуда-нибудь или наколдовать. Гомосексуалист любит трудный и медленный путь. Не зря же присвоившего женскую роль в редком случае устроит медицинское вмешательство (и с тех пор, как стало возможным). Это все равно, что для аскета — кастрация, то есть избежать искушения, устранить препятствие. В то время как он идет им всегда навстречу. Святость прямо пропорциональна росту вождения. Реальная смена пола — только возвращение к норме. Как если бы изображение в уайльдовско-набоковских кривых зеркалах слилось с его прототипами. Хотя мне и видится иное продолжение. Став женщиной, обратиться к лесбиянству, уже в мужской активной роли, до новой трансформации в мужчину-эфеба... Замкнутый круг, дурная бесконечность отречения.

Религиозные ассоциации естественны. Гомосексуализм — всегда обет, эпитимья, отказ от нормы: женщины, детей, принятых семейных форм... А в основе всякой монастырской жизни — гомосексуальность. Имеется в виду не индивидуальная, как будто бы она там ни была распространена, трактуемая как грех, преследуемая. Она только внешнее выражение общего и утвержденного принципа. Сами воплощавшие более древнюю модель амазонок, античные лесбийские общины были прообразами раннехристианских. «Христовы невесты» — известное определение позднейших монахинь. То есть Богу приписывается пол.

Любая полигамия всегда скрыто гомосексуальна: через общего партнера осуществляется любовное сношение. Известная форма сексуального замещения, описанная в литературе. Неслучаен реальный сапфизм восточных гаремов, такое же приведение внешнего и внутреннего к взаимному соответствию, как эротические игры монахов. Их можно было бы по аналогии окрестить «христовы женихи». В их отношении Господь продолжает привычную половую функцию.

2

Прелесть гомосексуализма в его противоестественности. Исток — в человеческой предрасположенности к бунту. И прежде всего не общественному. Эпатаж — лишь малая составляющая, внешняя примета, приглашение к узнаванию. А против природы. В этом контексте следует понимать и религиозную аскезу. Здесь можно выделить два взаимосвязанных направления. Против закономерности, превращающей в машину. «Слепым путем природы» называл секс Вл. Соловьев. Ему, конечно, не приходил в голову гомосексуализм, который можно назвать светлым путем духа, выбирающим — кем быть. И против также автоматизирующей целесообразности. Гомосексуализм прежде всего бесполезен — и с природной, и с общественной точки зрения, непродуктивен. Один из «слепых» путей — продолжение рода, обреченность на это, приговоренность. Л. Толстой определял брак как договор двух людей иметь детей только друг от друга. Гомосексуальный брак — договор не иметь детей. Либо «иметь» чужих.

Принципиальным выбором становится усыновление, для остального человечества случайное и трагически вынужденное. Его вариант в повести Валерии Нарбиковой «Около эколо» — создание гомункулуса. Это результат союза героев, разрешение гомосексуального бесплодия, но следствие не слепой игры природных сил, а решения и направленных усилий, эксперимента. Кровная, то есть запрограммированная связь, заменяется духовной. Ее древнейшую модель дала библейская бесплодная Рахиль, пославшая мужа к служанке: «пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела детей от нее». Ранес так уже поступила в Библии Сарра. То есть это отработанное, утвержденное традицией поведение. Характерно рахилевское «от нее». Оплодотворяющая роль в семейном треугольнике переходит к «подруге». Она осознается мужем и отцом. Мужчина сохраняет механическую передаточную функцию — осуществление связи, транспортировка спермы. Это вариант той же гомосексуальной основы полигамии. Амазонки, пускавшие к себе с этой целью мужчину, затем его убивали — после исполнения технической задачи он не нужен.

Культурой движет борьба с природным. Оно связывается с подневольностью, занятостью, уроком. Будь это поиск пропитания или сезонная

закрепленность зачатия. Отсюда утопические мечтания — от аркадских пастушков до современных фантазий о праздном персонаже в белой тоге вместо комбинезона. Производство потомства — такая же заказная работа, конвейер, фабрика. Контрацепция или аборт — следующий после брачной неупорядоченности этап утверждения своеволия. Вспомним природу-мастерскую тургеневского демократа Базарова. В аристократической освобожденности гомосексуалиста от обязательств — высшая точка культурного развития. Труд половой переакцентировки ведет к искомой праздности. Замкнутое пространство, модель обретенного рая — привычная опытная площадка утопий: необитаемый остров, фаланга или фаланстера. Образец такого антимонастыря, где все наоборот, но по-прежнему строго, дал маркиз Сад. В гомосексуализме участок эксперимента ограничен физиологически. Это дрейфующий монастырь, где осуществляется отказ от общественных и природных пристрастий. В том числе от антропоцентрического стремления к воспроизводству. Гомосексуализм онтологически бескорыстен. Л. Толстой догадывался, что прекращение деторождения — возможный выбранный Божеством способ Конца Света. И тогда гомосексуализм — не утопия человеческого своеволия, а опты воплощения высшей воли.

Теперь понятно, откуда гомосексуальная — то тайная, то явная — склонность художника. Презерватив, аборт, роман в стихах роднит и равная противоестественность, и незаинтересованность, точнее — антизаинтересованность в результате, продукте процесса: любви, беременности, чтении. И безответственность участника — партнера, врача или автора. Искусственность (что лежит в основе представлений об искусстве) — здесь общее ключевое понятие. Это относится и к гомосексуализму. Искусство также реализует утопию праздности, ограничивая обрезом страницы, краем рампы, рамой картины бездействующих, проводящих время. Это главная задача — выделить в пространстве и времени оазис бесполезности, беспечности. Можно построить лестницу гомосексуальной предрасположенности. И окажется, что в искусстве она зависит от степени противоестественности форм, пассивности потребителя и содержательной, «программной» незаполненности. Литераторы... живописцы... музыканты — ведущие вверх ступени. Возможны более частные деления. Зритель пассивнее читателя. Драма семантически симфонии.

3

Гомосексуализм — сфера идеального. Мы все заранее настроены на голубую волну. Помню, как в беседе мелькнуло выражение «голубая мечта». Оно всем показалось двусмысленным. Говоривший поправился: «розовая». Но это тоже было двусмысленно. Если бы «мечта» явилась без

цветового сопровождения, его все равно кто-нибудь бы добавил. В словосочетаниях «голубая (розовая) мечта» наше сознание проговаривается. Вокруг понятий «мечта», «греза», «идеал», «надежда» (ряд можно продолжать) — изначальная розово-голубая аура. В гомосексуальности выражается задушевное и сокровенное для человека, всегда равномерно разлитое в обществе, а здесь сосредоточенное в едином действии. Отсюда общественный остракизм, преследование гомосексуалистов. Это ревнивая реакция на претензию быть единственными выразителями. А с другой стороны — стремление отмежеваться, скрыть свою причастность. «Идеалист» — традиционная бытовая формула порицания. В гомосексуальном поведении видится грех гордыни.

Отношения мужчины и женщины, гомосексуализм и насилие в его разных половых версиях — три самостоятельные, противостоящие друг другу модели. Первая представляет человеческий мир в его полноте, амбивалентной уравновешенности. Во второй — доминирует идеальное, в третьей — полезное.

Пафос однородности характерен для всякой любви. Его выражает тривиальный лексический штамп «родство душ» — цель любовного поиска, а в гомосексуализме акцентируется сам термин. В основе полового влечения всегда любовь к себе, но лучшему, перевоплощенному, к своему идеальному двойнику. Раздвоение — обычная коллизия, которую переживает в литературе влюбленный персонаж (или его автор). Отсюда культ юности, с которой всегда связана ностальгия, предствление о чем-то превосходном. Мальчик-девочка или девочка-мальчик для подверженных времени мужчин и женщин — усредненные образы юного существа. Они редко внешне индивидуализированы, даже выразительны, или духовно развиты. Их смена в процессе их старения — проблема не лиц, а имен — переназывание, иллюзия вечности. Их легче «накладывать» на себя, чем уже отличившихся, занявших единственное место. В гомосексуализме общие физиологические приметы становятся символами тождества.

С другой стороны, насилие — естественная форма для отношений в ракурсе полезности, когда другой — только средство. Мужчина-насильник и женщина-жертва — санкционированное традицией, то есть уже добровольное, распределение ролей в браке. Что также машинально фиксирует язык: взявший (отбирающий) — (от)дающая(ся). Самоутверждение себя как жертвы — социально не менее выгодно. Рождение ребенка — реализация метафоры отдания. Отсюда сопряженность родов с мукою, обыкновением во время них ненависть к отсутствующему субъекту насилия. Поэтому садист инстинктивно помещает в части тела, которые могут быть использованы для полового акта, предметы и инструменты — имитация зачатия, акцентирование его мучающей стороны. Даже когда это производится по отношению к мужчине. Жен-

щина, роль которой ему навязывается, концентрирует в себе полезное, пока причастна деторождению. В сапфизме прежде всего освобождение от собственной функциональности. Унизительность изнасилования для мужчины — в дальнейшем погружении в природную заданность. Что бессознательно воплощается в известном виде уголовной расправы. Свадебные плачи — архаический протест против продолжения рода. В крестьянском страхе дефлорации — сублимация другого страха.

Отношения обладания-принадлежность — необходимая цель и завершение для пары мужчина-женщина. Это способ выполнения обязательств перед природой и обществом. В противном случае поведение обесмысливается, превращается в воспроизведение ритуальных фигур, утративших актуальное значение. Что и демонстрирует регулярно литература, как только строится на ситуации несоединимости влюбленных. Их отношения наблюдатель (читатель) сейчас же квалифицирует бытовой метафорой «голубые», то есть тривиальная речь обнажает исток пафоса. В гомосексуализме обладание не обязательно, во всяком случае второстепенно и случайно. Оно, может быть, заимствование, цитата; не конституирует, а разрушает брак. Отсюда его обычная недолговечность, скоропалительность. Гомосексуалист принципиально неудовлетворим, в вечном поиске себя другого. Это Дон Жуан, который должен был бы задержаться на процессе неокончаемого соращения. Зато строгая целесообразность реализуется в обособившемся, уединившемся насилии. Оно обычно мотивируется внесексуально и сознательно воплощает представления разного рода полезности: от мести (расовой, социальной, личной) до коллективного или индивидуального самоутверждения — за редкими исключениями болезни или любви (сохраняющих традиционное подобие), требующих специального истолкования.

И так же, как цитируется гомосексуализмом обладание, насилие стилизует поиск идеала — лучшей, превосходнейшей жертвы. В сообразности ее физических возможностей с фантазиями садиста травмируется традиционная идея родства душ. То есть в обоих случаях происходит в той или иной пропорции присоединение утрачиваемой части единства. Поэтому в гомосексуализм насилие несет недостающий пафос полезности; Оно достраивает модель, конституирует. А в гетеросексуальной сфере, напротив, насилие разрушительно, так как уже чрезмерно.

4

Не так давно у нас вышли, почти одновременно, два романа — во всем очень разные, разных языков и эпох. Один кажется уже устаревшим, академичным; другой — еще блестящий и острый бестселлер. Их герои типологически тождественны. Это «Коллекционер» (1963) Джона Фаулза и «Парфюмер» (1985) Патрика Зюскинда. Первый успел похитить

одну девушку. Когда она случайно умирает, он только еще приглядывает новое приобретение. Другой убивает девушек сам и во множестве. Первого влекут формы, второго — ароматы. Девушка для «коллекционера» — статуя, которой он украшает свое жилище. «Парфюмер» научился выделять в окружающем запахи, из которых составляет духи. Центральное место в букете занимают ароматы прекрасных девиц. Художественные амбиции обоих вступают в противоречие с законом. Вместо залы особняка или фабричного цеха — подвал и подворотни.

Оба — придирчивые ценители, предпочитают самых лучших — физически, социально. В обоих отсутствует половое влечение. «Парфюмер» о нем ничего не знает, в «коллекционере» оно вызывает прямое отвращение. Половое влечение может включать какую-то степень заинтересованности в личности. В обоих случаях оно заменено более чистыми формами практического использования: в ремесле. Герои — художники, то есть сделавшие из акта насилия процесс творчества. Поэтому о нем и стало возможным говорить как об определенном явлении. Но это художники-прикладники, рассчитывающие на непосредственное потребление продукта их труда. Один — парфюмер, другой — дизайнер (название Фаула не кажется точным). Оба отвлекают, абстрагируют отдельные качества используемых тел. Иные, кроме профессионально необходимых, способы общения с красотой: осязание и обоняние для «дизайнера», визуальность для «парфюмера» — безразличны. Это естественная специализация работников. Поэтому тела-полуфабрикаты легко заменимы. Их иерархия подчинена только точке зрения пригодности. Так же эфебофил отвлекал в мальчиках качество юности. Еще парадоксально общее — культ невинности. Гомосексуализм и насилие — взаимосвязанные стороны разорванного двуединого комплекса. Оба в равной степени утопичны. Но в одном сменой масок-лиц-имен утверждается вечная юность, в другом — вечная собственность.

Насильник всегда прежде всего потребитель и приобретатель. Для него не безразлично количество и качество жертв. То и другое предмет его специального куража. Насильник с развитым самосознанием, то есть понимающий природу своих действий, откажется от жертвы, если она, при своих собственных достоинствах, уступает в сравнении с предыдущими. Отсюда легкая ассоциация с прочими видами собирательства. Но для коллекционера вещь функционально безразлична, бесполезна; и каждая уникальна, ценна, как неповторимое целое. Насильник же интересуется лишь ее лучшим использованием. Коллекционер имеет в виду наследников (частное лицо, музей, культуру), беспокоится об этом. Насильнику невыносима мысль о

прошлом или будущем владельце его принадлежностью. Здесь иной, чем в гомосексуализме, исток культа невинности.

Если для эфебофила невинный — неподвластный времени, вечно юный, то для насильника — ничей. Предполагаемое нецеломудрие жертвы вызывает жестокое наказание. А ее смерть внутренне желаемая всегда. Если в романе П. Зюскинда убийства запланированы, то у Д. Фаулза героиня фатально обречена, хотя ее похититель как будто этого и не хочет. Энергия уничтожения заложена в его действиях помимо его сознания. Убийство — не столько средство скрыть следы, а всегда воплощение окончательности и полноты единоличного владения. Исползованное тело уже не представляет интереса, но и не должно более никому достаться. Если гомосексуалист — Дон Жуан, насильник реализует тип поведения Отелло.

5

Гомосексуалист ищет расставания, насильник — владения. То и другое своеобразно синтезируется в искусстве. Не случайна страсть к убийству, умерщвлению самых любимых, нежных, прекрасных героев. Любовь и насилие приходят к согласию. Все окружающее для художника ценно, лишь поскольку им используется. Он отнимает аромат у цветка, как персонаж Зюскинда. Но сам процесс письма, рисования, музицирования... — возвращение, выпускание похищенного.

За поиском совершенных жертвы или возлюбленного, то есть превосходнейше предназначенных, — любовь, по-разному вывернутая, к лучшему себе, замкнувшемуся и очищенному или же переданному и сосредоточенному в другом. Отсюда самовозвеличение преступника, осознавшего себя непорочным, и самобичевание влюбленного, лишившего себя добродетелей. С. Булгаков говорил о дружбе как результате раздвоения, обретения в другом своего идеального Я. Но такой же результат раздвоения — вражда, когда из личности выводится и персонифицируется отвратительное. То есть у человека отношения — всегда с самим собой (или между собой).

С. Булгаков иллюстрировал свою мысль Пушкиным: Сальери любит в Моцарте свою гениальность. Но так же Онегина в Ленском, или тургеневского Базарова в Аркадии влечет собственная очарованность. Внешнюю модель таких отношений давал А.Дюма: Атос — д'Артаньян. Бальзак в «Человеческой комедии» выстраивал треугольник: Вотрен — Люсьен де Рюампре — Растиньяк; поиск идеального возлюбленного. Первый опыт не удален, юноша изменил и наказан. Второй избранник верен. Ряд подобных гомосексуальных пар в литературе можно сколько угодно продолжать.

Их характеристики всегда устойчивы: возрастная разница как исходная; наставничество — послушание (послушничество), женоненавист-

ничество — настойчивая ревность к женщине (взаимосвязанные стороны отношений). Служители гармонии или естественники-нигилисты, сельские эпикурейцы-мудрецы и воинственные мушкетеры... — разные воплощения гомосексуального монастыря. Туда нет доступа женщине. Ее вмешательство (оспоривание или наоборот — подражание) резко отвергается. Убийство младшего (никогда — старшего) или только разрыв с ним, оставление на произвол судьбы (изгнание из стен) — разные степени и формы наказания за измену. Женщина с ней может быть связана, но только как атрибут, внешний показатель нарушения обета.

Он может интерпретироваться в разных представлениях. В верности предназначению победителя (как для Вотрена, то есть его собственному, так как в успехах юных избранников он реализует себя), в верности практической деятельности (как для Базарова) или художественной (для Сальери). Но насилие над отступником (и в реальном монастыре) — это еще очищение обители. Понятно просветление Сальери: отравив Моцарта, он возвращает себе отданную способность творить. Только застрелив Ленского, способен любить Онегин, как Базаров — лишь изгнав из своей жизни Аркадия.

Между избранием и изгнанием из стен, любовью и насилием, отданием и присвоением движется всякое творчество — не только в собственно искусстве, но и «в жизни», как только она отстаивается в художественности законченных форм (в любви, дружбе, вражде, в любой родственной связи). Раздвоение и взаимная любовь двойников — результат и судьба всякого творчества. «Я подошел ко мне, мы обнялись... такие близкие люди, знающие друг про друга все, настоящие любовники...» — сценически разыгрывал модель Евг. Харитонов. Это встреча перед расставанием. Все отношения у автора в произведении — с самим собой. Основа искусства гомосексуальна в том смысле, что все персонажи — передевающийся и отделяющийся автор. Ленский и Онегин, Моцарт и Сальери, Вотрен и Растиньяк, Атос и д'Артаньян, Базаров и Аркадий... — драматургическое воплощение любви с собой. Расхожее слово Флобера о мадам Бовари — не поза и не исключение.

Поэтический инстинкт противоположен жизненному. Вместо стремления к удовлетворению и слиянию — пафос разделения и бедствования. Поэзия рождается из трагедии разлуки с собой, любимым и лучшим (или напротив — ненавистным). Любовь, как и ненависть, здесь не претерпевают, тем более не преодолевают расстояние, а наоборот — следуют из него и его культивируют как условие своего появления и существования. Но лишь пока произведение длится. Чтобы оно закончилось, чтобы выйти из него, восстановить силы для нового, автор должен вернуть себе себя. То есть изгнать двойника как живого, единственного, неповторимого: убить, растворить в безразличном к индивиду-

альности действе (свадьба), свести к роли функционера или иллюстрации идеи (эпилог) — разные варианты классических заключений. Ими руководит пафос насилия — с его точки зрения пригодности, использования, заменимости, частичной ценности и т. д.

В этом смысле классический финал — всегда смерть героя. Его душа возвращается в автора, решительно заявляющего на нее свое полное, единоличное право, ревниво следящего за действиями соседей-коллег. Мучительность (и для художника, и для читателя) современной литературы — в принципиальной незавершенности, открытости произведений в обе стороны: к себе и от себя. Персонаж продолжается с последней строкой, то материализуясь, то меняя автора, а произведение охотно принимает в себя чужое, цитирует, использует. Герой, образ, сюжет становятся фольклорно общими, ничьими, а творческий процесс — коллективным. В этом торжество односторонней, уединившейся любви, отрицающей всякую возможность насилия. Вик. Ерофеев в «Русской красавице» показал, как героиня никак не может умереть: и как действующее лицо, и как «реальная» личность — выбрать между самоубийством и свадьбой. Может быть, отсюда прогрессирующее слабосилие нашей «новой» литературы — хилость, убогость. Размножаясь в двойниках и не возвращаясь в себя, теряют силы — авторы, литература, читатель.

1 мая 1992 г.

Исраэль ШАМИР

РУССКАЯ ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Евреи любят жанр комментариев. Например, фраза: Как-то нам не повезло. Ее так и хочется прокомментировать: нам — людям, пишущим по-русски в Израиле. Как-то — ни в эпоху застоя, ни в короткий период гласности и перестройки, ни в нынешнее время, которое каждый назовет как хочет. Не повезло — в России наши тексты мало печатали и мало замечали по сравнению с прочими островами эмиграции.

А писали мы, в общем-то, немало. Наряду с Парижем, Мюнхеном и Нью-Йорком, Тель-Авив и Иерусалим были центрами эмиграции третьей волны. «Кому — третья, а для меня она всегда была единственной и казалась вовсе не волной, но прекрасным архипелагом в волнах Эгейского лукоморья, по которому так вольно носиться от Калипсо в Лондоне к Цирцею в Мюнхене. Когда после нескольких лет ближневосточного житья с его хуммусом пополам с лотосом я с изумлением обнаружил, что русский язык поймал и держит меня в своей сфере тяготения, как ловил он и других инородцев от Олжаса до Булата, я выбрал своей родиной эти острова русских колоний от Лос-Анджелеса до Йокогамы». (самоцитата).

Не надо быть антисемитом, чтобы задаться вопросом: зачем еврею в Израиле писать по-русски? И имеет ли написанное им отношение к русской литературе? Люди, писавшие по-русски в Израиле, и сами немало спорили о своей русскости, еврейскости, русскоязычности. Возникли три тенденции, назовем их условно «еврейская литература», «русская литература» и «русско-израильская литература».

Сторонники «еврейской литературы» утверждали, что и в России, и в Америке, и тем более в Израиле евреи создают еврейскую литературу, и неважно, на каком языке она пишется, тем более, что ее язык — не русский, а еврейско-русский, не английский, а еврейско-американский. Они нарочито избегали слов, которые не используются евреями — например, связанных с церковью или народных говоров.

Сторонники «русской литературы» провозглашали ее единство и неделимость, мол, неважно, Рязань или Париж, Тель-Авив или Душанбе — литература одна есть.

И, наконец, третья позиция, которую я и сам разделял: по-английски пишут не только в Англии, но и в Индии, и в Африке. Есть же замечательная литература Нигерии или Индии на английском языке! Есть и киргизская литература на русском языке — Чингиз Айтматов. А у нас — израильская литература на русском языке. Авторы этого направления писали в основном на израильскую тему. Назовем их «русско-израильскими авторами».

Лучшими прозаиками этого направления были Юрий Милославский, Кирилл Тынтарев, Эли Люксембург, из поэтов — Михаил Генделев, в критике и эссеистике — Майя Каганская и Нэлли Гутина. Среди писателей «русского направления» — прозаики Анри Волохонский, Леонид Гиршович, поэты Иоффе, Верник, Глоzman, Гринберг. В «еврейском ключе» писали авторы журнала «Тарбут», «Менора», «Возрождение», в основном, люди, издававшиеся и в Советском Союзе до эмиграции, например, Феликс Розинер, Ицхак Мерас (по-моему, и вовсе писавший по-литовски) или недолго проживший в Израиле Эфраим Севела.

Но это деление было скорее условным, чем реальным: у Милославского после «израильской темы» «Укрепленных городов» появилась книжка рассказов на тему «харьковскую», да и Волохонский с Гиршовичем отдали дань «израильской теме». Поэтому лучше воспринимать эти три школы, как течения в реке, между которыми легко лавируют парусные лодочки авторов.

Анри Волохонский родом из Ленинграда, жил в Стране Обетованной на берегу Генисаретского моря, оно же Тивериадское озеро или Кинерет. Маленький, поджарый, смуглый, он ходил в белых штанах, славился чадолюбием, был не то православным, не то католиком, работал в НИИ, изучавшем озеро. Друг известного русскому читателю и телезрителю Хвоста (Алеши Хвостенко), Анри написал статью о бурях на Генисаретском море, в которой вычислял, где именно и когда происходила буря, трапавшая лодку Иисуса и Петра. Его переводы Кадулла были совершенно нецензурными, как того и требовал, наверное, оригинал.

Его замечательная книга «Роман-покойник» — это описание похорон некоего Романа, эпитафия роману — литературному жанру, остроумная парафраза «Метаморфоз» Апулея, эдакий петербургский изыск, бесспорно, одна из лучших, написанных где-либо в эмиграции и, в частности, в Израиле.

Так, например, его герой трактует Апулея: «Вспомните начало повествования. Будущий осел въезжает в роман на белом коне. Вот он в гостях, принят в доме знаменитой колдуньи. Любовная неудача заставляет старуху прибегнуть к крайнему средству: превратившись в сову, она летит на свидание. Луций решает последовать ее примеру... Апулей ставит вопрос вопросов — вопрос о пределах свободы личности в границах имперского гражданства. Старая карга — такой же римский гражданин, как и юный Луций, не лучше и не хуже... Империя есть наилучший строй для мистических упражнений, граждане империи должны хотеть летать. Но что стало бы с государством, если бы все его граждане, внезапно окрыляясь на лету, ринулись переселяться в воздух? Империя бы погибла... Значит, кто-то должен отказаться от своей личной частной жизни свободного крылатого человека ради всеобщего блага

— блага государства. Старая ведьма — конченный человек, поэтому она летает безнаказанно. Но от молодого образованного Луция империя вправе кое-чего требовать... Итак, чтобы стать государственным мужем, нужно быть животным...»

Израильская тема мало появляется в книге — разве что чудесное точное описание Кинерета в самом конце. «От пролива Баб эль Мандеб через Красное море до самых Ливанских гор проходит огромная трещина... Иордан, когда он вытекает из озера, еще довольно широк, красивая река, вся в огромных деревьях, соединяющихся над ней ветвями... Рядом под деревьями — маленький русский монастырь и каменная купальня. Считают, что это — источник, из которого черпала Мария Магдалина». Последние годы Анри живет в Мюнхене.

Эли Люксембург, бывший боксер, родом из Ташкента, крепкий мужик с ермолкой — отличительным знаком верующего еврея — написал немало, но по-настоящему интересна одна его книжка, мистический детектив «Десятый голод», изданная сначала в Лондоне в ОРІ, а затем переизданная в Израиле. Она вспоминается, как «ювидение, столько в ней планов и полупланов. Тут и ориентальный стиль: легендарный восточный манускрипт «Мусанна» описывает подземный путь под всеми пустынями Азии от Бухары до Иерусалима, где по дороге встречаются «свирепые племена, они кладут голову путника на камень и разбивают, точно змее, ибо убийство с изощренными пытками — вот их наслаждение... Люди племени Узра умоляют, если полюбят. От любовного томления у них расплавляются кости...»

Второй слой романа — Джеймсондовское описание жизни и подвигов героя в советской шпионской школе, поединки, охота за сомом-людоедом. Третий — путешествие по пещерам и норам в Святую Землю, с его легендарными мотивами: тут сказочные приключения и двухголовая женщина, подаренная демоном Асмодеем царю Соломону. Наконец, герой попадает в современный Израиль. И тут он дружит с «братьями своими палестинцами», а образы русских евреев выписаны, мягко говоря, без симпатии. Добавим, что перешедшего в ислам героя зовут Иошуа (Иисус), а его любимую — Мария. Несмотря на свою религиозность, в литературе и он не нашел гармонии в реальном израильском бытии.

Юрий Милославский, уроженец Харькова (как и его друзья Лимонов и Верник), жил в Иерусалиме (не знаю, где сейчас), носил темные очки, кожаную куртку и любил револьверы. Его «Укрепленные города», вышедшая, наконец, в журнале «Дружба народов», вещь замечательная, как бы подводит итог и движению за эмиграцию евреев в Израиль (в котором подарки из-за границы играли слишком большую роль), и устройству советских евреев в Израиле (героиня вешается, другая становится проституткой), и израильско-еврейским отношениям (разгон

демонстрации школьников в Рамалле). Милославский одним из первых авторов нашей волны заглянул и описал — не фольклорно, а реалистически и с симпатией — мир палестинцев и марокканских евреев. За книгу его немало травили, а уж агентом КГБ называли и вовсе запросто. В своих публицистических заметках он также занял гуманистическую позицию. Со временем Милославский принял православие и написал ряд живописных и глубоких текстов о святых местах и праздниках в Святой Земле. Израильскую тему он пока оставил.

Леонид Гиршович, кругленький, улыбающийся скрипач жил в Иерусалиме и начал печататься в Израиле, но затем уехал в Германию и печатался в журнале «Эхо» у Марамзина и Хвоста и в «Континенте». На чисто израильскую тему он написал несколько рассказов, один из них, «Мальчики и девочки», злобно-реалистическое изображение быта русских эмигрантов в Израиле, вызвал в свое время немалый гнев эмиграции. В Ленинграде должен выйти его роман «Прайс», построенный на остроумной выдумке: в этой книге Сталин не умирает в марте 1953 года и успевает выслать евреев в дальнюю Фижму. Мир считает, что все евреи погибли, но они живут себе в этой Фижме, даже не зная об изменениях, происшедших в мире. Герой чудом вырывается в Москву, где уже отменен коммунизм (книга писалась до перестройки), и милиция ходит в русских допетровских кафтанах. Это, скорее, комедия, книжка увлекательная в лучшем смысле слова. Гиршович довольно много пишет и в эмиграции давно замечен.

Кирилл Тынтарев уехал из Ленинграда подростком, жил в Иерусалиме, а последние годы преподает, по-моему, в Лос-Анджелесе. Он писал рассказы, описывающие жизнь провинциального израильского городка, населенного в основном марокканскими евреями — вообразимого Эмек Хесед. Он знает, что «в пять часов пополудни квартал Шаарей Алия пахнет перегретым эвкалиптовым листом... а аллея Сионизма (к слову, такое же обычное название улицы в Израиле, как проспект Ленина в Советском Союзе — И.Ш.) ведет к ныне закрытой текстильной фабрике». Его герои — марокканский шофер Эрез Фархи, пресивший, чтобы его похоронили без воинских почестей, его сестра — путана и бандерша Лиор, лысеющий Гриша Шехтман из Новосибирска, Проспер Ва'акнин, хозяин киоска «Мир Галилее». Это плотная, «коренная» проза, написанная с большим знанием материала, чем у других авторов «русско-израильской волны». Установка на создание «израильской литературы на русском языке» полностью реализована, пожалуй, только у Тынтарева. Его было бы интересно напечатать в России, только русские евреи не поймут — они ведь воспринимаят Израиль лишь как общество европейских евреев, в которое прочие добавлены лишь для колорита.

Чисто «еврейскую литературу» писал в Израиле и об Израиле Эфраим Севела, живущий теперь в Москве. Его «Остановите самолет, я сойду»

— описание Израиля и иммиграции в начале 70-х годов — веселая сатира в стиле Шолом Алейхема и «Лазика Ройтшванца» Эренбурга. Книжка издана в России, как и другие его книги. Даже Синявского и Даниэля так не обливали грязью, как Севелу в израильских газетах, а в агенты КГБ его, конечно, записали сразу (как и Милославского и автора этой статьи). Перо у него легкое, и читатели всегда любили его книги. Он, видимо, самый популярный и покупаемый автор русского Израиля. Севела очень сентиментален, но этот «шмальц», как говорят евреи, и является отличительной чертой «еврейской литературы».

А вот прочие писатели-прозаики: очень плодovit Давид Маркиш, сын покойного поэта, издавший с десятков беллетристических произведений. Если бы в Израиле было побольше железных дорог, их можно было бы назвать «железнодорожным чтением». Марк Зайчик пишет неплохие рассказы, его печатал «Континент». В «еврейском» (читай: сентиментальном) жанре пишет Феликс Кандель, известный в России по сценариям «Ну, погоди». Рассказы Светланы Шербрунн вышли в прошлом году в Москве. Много пишет Феликс Розинер, профессиональный литератор.

Два писателя-фантазера: Леонард Гендлин и Авраам Шифрин пишут якобы документальную прозу, основанную почти целиком на их буйном воображении. Гендлин выпустил «мемуары», состязаясь с бароном Мюнхгаузеном, в которых подробно рассказал и о любовницах Сталина, и о том, что ему шептали очередные генсеки КПСС и лауреаты Нобелевской премии. Абрам Шифрин — специалист по «черной магии» и за всеми событиями в мире видит руку КГБ, выполняющую таинственные пассы. «Независимая газета» как-то поместила статью одного из них и всерьез спорила с другим, что меня немало повеселило. Как вы знаете, еврей всегда трудно ответить на русское пасхальное приветствие «Христос воскрес»: и подтвердить нельзя, и спорить не хочется. Но благодаря этим двум фантазерам можно смело ответить: воистину воскрес, мне об этом говорили Гендлин и Шифрин. Они оба — вполне симпатичные люди, и в какой степени они сами верят своему вранью — одному Богу известно.

Евгений Цветков, красивый физик, гордящийся своей чисто русской кровью, пишет эзотерику: сновидения, призраки и проч. Его «Сонник» вышел в Москве. Еще один чисто русский писатель, Михаил Федотов, живет в Иерусалиме и является предметом обожания своих друзей. Один его рассказ опубликован в альманахе «Альфа» в Москве.

Пьесы по-русски на русскую тему (типичное место действия: абортарий) писала, по-моему, только Нина Воронель, уроженка Харькова, русско-израильская мадам Розанова, соиздательница журнала «22», главного, если не единственного «толстого» журнала в Израиле. Израильские пьесы переводили Валерий Кукуй из Свердловска, Беэр Шевы и Ирина Верник.

В эссеистике лидируют женщины, и в первую очередь Майя Каганская, «наша мадам де Сталь». Она всегда пишет интересно, любимый жанр — литературоведческий детектив. Так, она доказывала, что не Шолохов написал «Тихий Дон», что «Мандельштам — поэт иудейский», что Ильф и Петров переключаются с Булгаковым. Ее статьи украсили бы «Знамя» или другие советские журналы. В последние годы ее стала печатать израильская ивритская пресса. На нее можно положиться: тривиальностей не напишет, пока остается в рамках «малого жанра».

Очень нетривиальна и Нелли Гутина. Она пишет много на израильскую тему, менее литературна, чем Майя Каганская, но прекрасно знает страну и ее проблемы. Ее книга менее удачна, чем ее статьи.

Ленинградец Михаил Генделев открывает наш список поэтов. Стройный, довольно молодой, элегантный, без гроша за душой и с постоянными любовными историями, он и живет, как положено поэту. Он переводил на русский еврейскую средневековую поэзию силлабическим стихом, написал цикл о Ливанской войне с явным влиянием не то Киплинга, не то Тихонова, узорные стихи, как Аполлинер. Несколько его стихов напечатаны в Ленинграде в журнале «Звезда». Возьмем наугад одно из его стихотворений:

и пусть головой мотает Му
 коровьего языка
 их
 арийского слова «ум»
 мы
 увели быка
 о — как сияли они — дай Бог!
 черепа
 по бокам
 но
 не видать золотых рогов
 пастухам его
 дуракам!
 а
 видать им
 своих ушей
 на воротах наших ворот
 потому что мы
 б'а Эзрат а'Шем!
 сами пасем свой скот
 наша
 каменная дорога
 каменная трава
 наша

их коровьего бога
мертвая голова!

Александр Верник, родом из Харькова, поэт лирический, живет и тоскует в Иерусалиме. Израильской темы у него мало. Друг Чичибабина, он неоднократно упоминается в стихах последнего.

На Средиземноморье почему-то
на пляже не найти печальной девы,
которая вотще глядится в даль...
Вечнозеленый гляцевый гербарий
меж двух страничек трудно засушить
на память для какой-нибудь Натальи.
А белый стих, конечно, раздражает.

Художник Михаил Гробман пишет стихи в стиле своих друзей Холина и Пригова. Замечательный старый поэт, высокий и седовласый Савелий Гринберг, специалист по Маяковскому, переводит израильских авангардистов и сам пишет в том же ключе. Владимир Глозман пишет элегантные сонеты. Лия Владимирова пишет стихи в стиле Ахматовой. Активист израильской «Памяти», Камянов (Авни) пишет традиционные националистические стихи.

Многие любят Иоффе, Илья Бокштейн славится, как «русско-израильский Хлебников» и издает рукописные книжки, в Иерусалиме Илья Зунделевич пишет стихи в традиции Хармса.

Автор этих строк уже три года живет в Москве, а поэтому о последних произведениях русско-израильского гения ничего внятного сообщить не может. Впрочем, эмиграционная волна 90-х годов — волна «не сионистская, не религиозная и даже не экономическая, но волна страха», по определению Майи Каганской, еще не успела осмыслить для себя Израиль и пока описывает свои первые впечатления от Страны Обетованной и последние — от страны покинутой.

И хотя я упоминал отдельных писателей и поэтов, — литература — дело индивидуальное, — все же есть и некоторая общность, созданная единым «толстым» журналом. Голоса наших публицистов, эссеистов, литературоведов дают довольно живой интеллектуальный фон русского Израйля. О русской литературе пишут академически — Толстая, Сегал, Ронен, фантастически — Шаргородский (сравнивший «12» Блока с «Собачьим сердцем») и Вайскопф (доказывавший христианский корень перестройки), на израильские темы — редактор журнала «22» и публицист Нудельман, его коллега Воронель, любящий по-профессорски порассуждать о судьбах евреев, Михаил Хейфец, бывший диссидент и большой знаток украинцев, еще один украинофил — Сусленский, пламенная антикоммунистка Дора Штурман, коллекционер анекдотов и

сын четы еврейских писателей Юлик Телесин, знаток театра и музыки Иоси Тавор, безумный политолог Агурский, редакторы еженедельников, обозреватели газет — весь этот русский израильский мир третьей волны.

А за ним уже исчезающей тенью стоит русский Израиль прежних эмиграционных волн. Хотя почти все основатели еврейского поселения в Палестине были выходцами из Российской империи, лишь немногие были связаны с русской культурой, и в первую очередь старая труппа театра «Габима», ученики Вахтангова и Таирова. Я еще застал их — огромного силача Аарона Мескина, классического короля Лира, и легендарную красавицу Хану Ровину. Когда Ровина шла по улице, мужчины и женщины шли за ней по пятам — такой удивительной красотой она отличалась. Я читал ей новые русские стихи — это было четверть века назад — и она сказала: жаль, что я не моложе лет эдак на пятьдесят.

Мескин и Ровина были дружны с русскими поэтами послереволюционных лет, и вокруг «Габимы» роились и израильские поэты русской школы, Пэнн, Шлонский, Альтерман. Но они, как и Рахель, писали русскую поэзию с русской просодией и русской интонацией на иврите. (Сегодня странно читать эти стихи, воспевающие осень и листопад в стране, где этого явления природы в общем-то нет). Они приехали в страну Израиля к двадцатым годам, а то и раньше, а затем десятилетия легли морем — или проливом — между ними и следующим островом — нашим островом третьей волны.

Лишь отдельные скалы торчат в мутной воде пролива: одна из них — Нили Мирски, дочь хозяина русского книжного магазина в Тель-Авиве, одна из считанных местных уроженок, знающих русский, замечательная переводчица Достоевского и Гоголя.

Другой местный уроженец, ставший русским поэтом, — Яков Бергер родился в 1926 году в Тель-Авиве в семье видного палестинского коммуниста и попал в Советский Союз молодым. Его отец попал в сталинские лагеря, а Яков Бергер прожил 25 лет в России, прежде чем вернулся на родину. Он писал:

...Верблюд бубнил бедуину:
— Прости, бездомный друг,
Я возле дюны сгину,
Каравану теперь каюк.
Палестина спала на ухабе,
укутанная во времена,
проливались атомные хляби
на содомские семена.

Его поэтика звучна периоду отъезда из России — немногие эмигранты смогли развиваться творчески после отрыва от метрополии:

Доставленный поутру бродяга,
Дятлов, Велемир,
Еле дотягивается до одеяла
и отходит в лучший мир.
Велемир Лукич Дятлов,
в колокол — не звонил,
укрылся одеялами,
местожительство — изменил.

В консервативной литературной эмиграции 50-х, 60-х годов он был авангардистом:

Девочка с косминкой на ремне,
девочка с косичкой, на Венере,
скажет, чуть споткнувшись, обо мне,
о моих манерах и карьере.

Потом он уехал в Америку, где писал в «Новом журнале» и преподавал в Корнельском университете. «Я застал еще в живых старую беглую братию, — писал Бергер в своих «Дневниках», — сверстников Бунина, Ремизова, Цветаевой, Ходасевича. Они помнили мир, не обогретый лучом ЦРУ, холодный по-кельвински, перебивались с хлеба на воду, с вина на водку, работали шоферами и официантами, пока управление (ЦРУ — ИШ) не обогрело всех, отмыло, как Оливера Твиста и приютило». Действительно, «холодная война» кормила эмиграцию, в том числе и нашу, и почти все постоянно пишущие эмигрантские авторы — не исключая автора этих строк — на том или ином этапе жизни существовали благодаря небескорыстной помощи западных спецслужб — через «Либерти» и другие радиостанции или через закупку книг, фонды и стипендии того же источника.

Потом Бергер уехал в Англию, где работал на Би-би-си. В «Дневниках» он писал: «Страшно терпимы и милосердны англичане к калекам, уродам, идиотам. Единственное уродство, которое они не терпят — иностранный акцент».

Нина ВОЛКОВА

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНА

Не эпитафия, а для радости:

Я знаю, что у Вас такие нравы:
Уехать не простясь, вернуться тайно,
Вам любо поступать необычайно —
Но как Вам не сказать, что Вы не правы?

Если говорить о Кузмине (а лучше бы помолчать), то так, как он сам о Македонском герое: король Александр не воюет и не царствует, а тоскует, колеблется, влечется волной с края на край света, гадает, глядит на Гестииона, ищет костяного неба. “Никто не заметил, что это были не более как проделки египетского выходца”. Он всю жизнь убавлял себе три года, и в октябре 92-го года никто в юбилейной стране не заметил юбилея. Кузмин “радостный путник”? — маг? — гей-классик? — начетчик? — выбирай на вкус. Кузмин — Божья куколка, игрушка, один из камней в ожерелье многоцветном, как наряд представшей Луцию Исиды (“то белизной сверкающий, то оранжевым, как цвет шафрана, то пылающий, как алая роза”); не будет его — ничего страшного не случится, только так жалко станет, что заплачешь.

Три дня ходил я вне себя,
Тоскуя, плача и любя,
И наконец четвертый день
Знакомую принес мне лень.

Приятно не цитировать (да еще на издания ссылаться — ужас какой, это придает впечатление серьезности, которой нет как нет), а припоминать. Бессмысленно и нежно: на грязной солнечной улице, в страшном тоннеле метро, за чаем, за случайным словом; как ласка перстами легкими, легкими милыми перстами.

К старости, должно быть, он стал отвратительным. Послеволюционные портреты ужасны до такой степени гадости, когда гадость переходит в феллиниевскую красоту глины-плоти, которая вот-вот разложится, как радуга.

Сквозь кожу зелень явственно сквозила,
Кривились губы горько и преступно,

Ко лбу прилипли русые колечки,
И билась вена на сухом виске.

А раньше-то, в сладкие годы — что за мерзкие комплименты ему писали: умер в Александрии молодым красивым юношей и был искусно бальзамирован. Серебряный век, манок для диетических советских лет — безвкусное, по совести, время. Но старые влюбленные портреты в самом деле прекрасны, мертвец глядит внимательно, притворяется любовником примерным и будто просит пить. Глаза (конечно) — кому нравится, “подземной бездны зерркала”, сам же определил лучше нельзя: “соединение пристальности и рассеянности, слепоты и остроты”.

Не глаза, а сердце; самое частое слово в стихах. Забавное существо: кажется, что все тело, без которого тупы и восторг и боль, — одно сердце, прекрасно преображенное или уродливо перерожденное. Сердце-губка или сердце-раковая опухоль; материя чувств, ткань энергий, оно все клетки общей плоти превращает в себя, чтоб вместить больше Божьих радостей и печалей (которые только видоизменение радости), стать решетом и зеркалом мира.

Тебя я обнимаю —
И радуга к реке,
И облака пылают
На Божеской руке.

Что делать, если превратился в огромное сердце? Жить неприкрыто, наизнанку, как полураздавленный жук, с шестью-семью переразвитыми чувствами, выдерживая пульс каждого лиссабонского землетрясения? Не кричать же “нет” прекраснейшему миру, который жжет глаза, как мыло, но всегда есть только “да”. Нужен новый собственный панцирь взамен потерянного всеобщего. Чем грубее материал, тем действеннее защита; тем дальше дойдешь. Любимцам Господь подарит защиту Сам. Это панцирь, а не свод горизонта: мальчишки, дэн-дизм, порнография, насмешки. Никакого сатанизма. Небеса прозрачны, и радостно заниматься радостями разно-плотного раскрашенного мира: разглядыванием, высматриванием его, ароматного и цветного, как Индия. Грязное свинство по отношению к Творцу, воистину отсутствие сердца, пренебречь этим. Кузмин никогда не возвращал Ему никаких билетов; словно Он — кондуктор, а мир — поезд. Слава Богу, есть не только пассажиры, но и дети.

Я жалкой радостью себя утешу,
Купив такую ж шапку как у Вас.
Ее на вешалку, вздохнув, повешу
И вспоминать Вас буду каждый раз.

По традиционным интеллигентским меркам он был ужасен: эгоист, сластолюбец, сплетник до подростка, трус, темный человек... Наконец, не имеет определений ведение замечательного дневника для громкого чтения, проданного в конце концов в советский архив и ведущего непристойно-ненапечатанное существование в виде мутного источника цитат для ученых статей... Нет ни капли должного русско-писательского благородства: вспоминают лишь о любезности, безденежье и о том, что он мужественно умер. И вспоминают, исключая частные случаи, с любовью. Вот кому не грозит дегероизация. Кузмину не требуется быть ни хорошим, ни даже проклятым — он просто любим. Закрыв окно, я потушил свечу.

Любовь принимает неожиданные формы. Марина Цветаева доказывает истинно романтическую мысль, что Кузмин “не покрашен”. А почему бы не покраситься? У романтической Цветаевой и Лозен не покрашен. Словно иллюстрация к задачке про противоположные направления из одной точки — Федра Цветаевой и Федра Кузмина (бедная царица, истерзанная в чужой снежной стране!); как любовь и война, как сердце и “левогрудый гром”. Это тоже панцирь: жизнь как она есть, конечно, недостаточно хороша, и мир подменяется частоколом новых — в пику отвергнутым традиционным — странных предрассудков. Увы, такая броня рассыпается, как гипс, когда единственному Творению предпочитают изделия своего ремесла, а “желанью Бога” — вольную пустоту петли.

Проспите лучше, Молли, до полудня,
Быть может, вам приснится берег Темзы
И хмелем увитой родимый дом.

А вот частный случай нелюбви.

“Скажу только, что он, вероятно, родился в рубашке, он один из тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы встали бы дыбом”. На бумаге восхитительно точно сохраняется интонация сплетницы-завидницы на лавке у подъезда, готовой всех вывести на чистую воду. Вдохновляет ли товарищеский суд? Пристали ли вообще поэту грехи? Растут ли стихи из сора? Чтобы сделать золото, надо иметь золото. Владыка Мрака, Арлекин-убийца — неловко как-то, недобросовестно. Это военная интонация, голос потенциального противника. А после людоедских строчек “сколько гибелей шло к поэту, глупый мальчик — он выбрал эту” — как хороши вампирские:

Отчего ж твои губы желты?
Сам не знаешь, на что пошел ты?
Тут о шутках, дружок, забудь!

Может быть, и другой взгляд — третий — на любителя; если уж так подробно копаться в соре, из которого якобы растут стихи. Тогда не француз с Мартиники, не лорд Бреммель, не, прости Господи, ассириец-александриец, а шалый, грязный, счастливый и страшный юродивый. Вот кому “все можно”, и волосы нежного современного кому-то читателя неминуемо встают дыбом от его дел и слов.

“Я понимаю, что может быть предел, после которого уже не стыдно и не страшно никого... И тогда можно лечь спать под лошадей, ничего не думая и т.п....” “Покой, спокойствие, работу, все забросить и жить отребьем в холодном балагане с чудовищем и райским гостем”.

Цитаты из дневника нашлись в загадочном журнале Киноведческие Записки № 13 без года; в статье не о Михаиле Кузмине, а о “Михаиле Кузмине-кинозрителе”. Кино будет лучшим из искусств, если не смотреть фильмы, а читать про них. Образуется чистое царство иллюзий; вроде Земли на средневековом глобусе, нарисованном лепестками: подробнее и краше жизни, не заменяя, а по-своему организуя ее. Все просто и ясно: вот вепри, вот эфиопы, вот единорог; есть история, законы, герои и обманщики, короли и революционеры. Даже киношные красавцы красивее на белом листке в описании, чем на белом экране в действии. Имагинация, сказал бы Кузмин.

Чужое, не мое воображенье
 Меня в пустыню эту привело,
 Но трепетность застывшего желанья
 Взошла из глубины моей души.

Кино, если уметь смотреть, один из входов-выходов таинственного пространства сквозняков и двусмысленностей, чьи обитатели выглядят из зеркал, приходят в сны, приманиваются или приманивают свистом песенки и точно найденным волшебным словом. Все отражается во всем: то ли экран, то ли зеркало посредине жизни, то ли просто продолжение пейзажа. “И ничто не повторяется, и возвращающиеся миры и содержания являются нам с новым светом, с другой жизнью, но с прежней красотой...” Туманные картины оказались яснее других — Михаил Кузмин был кинозритель; вот он — всегда настороже и всегда в покое, колеблемый и колеблющий.

Опасное блаженство, но я понял:
 Покой устойчивый подобен смерти.

Не только панцирь, но и третий глаз; не восточный, а чудовищно русский, почти уродливый, из сказки про Хаврошечку, никогда не спящий. Такой ясный взгляд на самого себя; приподнявшись над полом, с облака; так смотрят в зеркало, подозревая, что следующий жест в стекле

не повторится. Он никого не обманывает, только отражает того, кто захочет заглянуть. Не надо интерпретировать (логопедическое слово) — достаточно любить. Он сам так любил: не выворачивая наизнанку, любясь, лаская, глядя на самого себя в любимых глазах, каждый раз новых и все же знакомых, потому что отражают одно.

— И ангел превращений снова здесь?

— Да, ангел превращений снова здесь.

Решить, что нет греха и пойти в баню с веселой компанией — это Распутин, это полдела. Кузмин, отправляясь если не в ту же баню, то в соседнюю, — кажется, до конца, как никто из русских, понял, что все в Божьем мире — свет и ясность, и какой же грех — при таком Свете? Поэтому — война закончена. Оказывается, бывают такие абсолютно невоенные люди. Перемирие и братание по всему фронту, на ружейных стволах вырастают розы. “Кому же нужны на войне такие розовые губы?” Никого не победил, никем не побежден. Кто еще бывал так сугубо мирен в радости, в страданье и в самой страсти — разве что Пушкин, никогда с любимыми не воевавший.

Как мог быть с вами незнаком
Я целых тридцать лет?
Благословен ваш сельский дом,
Благословен Господь!

Приятие мира — совершенный метод. В чьих-то мемуарах Кузмин, как пророк-наоборот, уговаривает всех в 18-м году, что “мы еще будем” — гулять по солнечному Невскому, завтракать у Альбера, бриться у Моллэ... Это не наивность (третий глаз не спит), а мудрость. Мир не так прост — и не так сложен — чтоб поддаваться вавилонской склонности пророчеств. Кажется, что “плохие” события происходят легче “хороших”, и провидческий кайф легко достигим. Кто не произносил вороньих фраз? Безответственность. “Настанет год, России черный год...” — стреляй, Мартынов. Мир полон окон и просто прорех, по улицам ходят не одни люди; плод зреет — Богу. Все требует не только любви, но и осторожности. Кузмин — мистик, таинник, он много чего видел. “Завтра” не бывает, а “сегодня” вечно возвращается дойдя до дна, преображенное, как четырехдневный Лазарь; творчество не предсказывает, а делает события. Эта маленькая, красивая, теплая и непрочная жизнь — подарок, “магом очерченный предел”, где всерьез разыгрываются кукольные мистерии, а совсем рядом... Поэтому можно гадать, констатировать сдвиги, совпадения, ужасные свершения, но никак не предсказывать. Гадатель, волшебник — помощь, а не пророчества.

А предсказанье твое — такое:
Взойдет звезда, придут волхвы с золотом, ладаном и
смирной.
Что же это может значить другое,
Как не то, что пришьют нам денег, достигнем любви,
славы всемирной?

Нет такого “нет”, на которое не нашлось бы “да”. Понимание чисел может прийти в зале суда или дансинге; игра случайных фар на светлой улице пронизывает обитаемый слоистый воздух, пространства, где сердце не бьется. Известия оттуда приходят разными путями: то сон приснится, то знакомое лицо изменяется, как зеркало колдуна, и показывает черты опасных и желанных гостей. Тогда поцелуй не только связывает цепью всех прошлых и будущих, а заставляя заснуть на 300 лет или вернуться в жизнь, где все шатко и чудесно. Кто это (“каждый список гипнотизирует и уносит воображение в необъятное”) — Ангел — монашек — бестолковый спутник — Гермес — автоматический обман — Конрад Фейдт — пещной отрок — прачкин внук — Вилли Хьюз?

Чем рассудку темней и гуще,
Тем легче легкой душе.

Все вмещается в прекрасно преображенное или уродливо перерожденное сердце, и Отец все позволит свбим детям — и застрелиться в 13-м году накануне всех босв и геройств, и умереть от воспаления легких в 36-м. Им позволяют даже такие опасные, соблазнительные и темные вещи, которые другого утопили бы с головой. На всякое “да” будет свое “нет”.

Немного в сторону, если это в сторону. Редко кто когда бывал так пошл, как Оскар Уайльд, на вопрос судьи отвечающий: Я, слава Богу, не человек обычного склада. Такая вульгарность заслуживает двух лет каторги. Кузмин Уайльда не любил — “сноб, лицемер, плохой писатель и малодушнейший человек, запачкавший то, за что был судим...” — и свою особость чувствовал иначе, но едва ли не сильнее. Летучее семя в противовес бескрылому, волшебное творящее братство, путешествие связанных телесно душ; не хилая истеричность белого “порока”, а странная черная радость, солнце. Но оккультные практики, гадатели и вызыватели так и смотрят из-за плеча; это не Джамайка, это поближе. Недаром он любил Германию — те же токи, соки, ароматы бродили. Из волшебного корня, сплетающего в косу избранность, магию и опьянение жизнью жизни много всего выросло. Красота, чистота которой все чисто, сплоченность, любовь; мы пройдем сквозь мир, как Александры. Мотивы, уместные не в марше штурмовиков (а то и прямой марш: “Родина, дружба и песни — Выше нет ничего!” Но это исключение), но в романсе

для штандартенфюрера. Потом русые стройные мальчики — “Походы/
(Труба разбудит) ждут!/
Всегда опоясан,
Сухие ноги,
Узки бедра,
Крепка грудь,
Прям короткий нос,
Взгляд ясен,” — построились в колонну и отправились преобразовать мир силой своей правоты, особенности и любви. Замечательный дизайн, вершина дэндизма — самая красивая в истории черная форма.

Сюда же — разные производные от корня “жид”; для русского писателя в XX веке это не “будь жид” у Пушкина. Антисемитизм детский и беспричинный; скорее всего, эстетический: не люблю таких, люблю высоких-русых, см. выше. Но Гитлер “не любил” евреев именно так, по-детски, из своеобразного чувства красоты — однажды посмотрел и был потрясен, до чего ж они не в его вкусе... (А для моего чувства красоты нет красивее поступка, чем жест шведского короля, нажившего на руках желтую звезду после известных предписаний наци.)

Но Кузмин в любом случае человек нестройной, мирной. Как ни поминает некие высокие, тайные и непредставимые битвы, шлемы и мечи — война окончена, на стене рядом с пантаклем нарисован пацифик. Иногда это даже становится скучно, одноцветно и все одно и то же; возвращается не преобразенное сегодня, а сто раз пережеванное вчера.

Катались Вы на острова,
А я, я — не катался.
Нужны ль туманные слова
Тому, кто догадался?

Не нужны, не нужны. Голубиное воркование, разнеженность; поддельный старый юноша на пароходе в Венеции жеманится и смеется. “Недостаток” Кузмина — теплота; лучше б он был циничнее. Неприятно не “варварство”, а качества, иногда ему сопутствующие: то, чего не терпел тонкий человек барон де Шарлю. Но Кузмину не подходят специальные обобщения Пруста. Пруст ошибся в определении предмета и писал не столько о том, “что ошибочно называют пороком”, сколько о том, что всякая подмена и утаивание себя в угоду общественным вкусам уродует жизнь, создает ложные сущности, неизбежно запутывает все на свете и неизбежно же ведет к краху. Кузмин этих ошибок избежал.

Прелесть любовных стихов так победительна, что даже лежащая за гранью добра и зла русская поп-культура: заметила их и попыталась петь, украсив традиционными голыми девушками в телевизоре. Но великодушно-лицемерный плюрализм сексуальных большевиков — мол, было б чувство, а пол предмета дело наживное — не оправдался: выражения этой любви в гетеросексуальный план не переводятся. Да Кузмин — “про это” ли? Когда не голубки воркуют, а сердце говорит, как ни странно, как ни уязвимо — выбор Кузмина не географический,

между Вавилоном, Содомом и Иерусалимом, а в сторону и вверх — к Ангелу. Может быть, только направление, взгляд, стрелочка на конце вектора.

Поймай, поймай! Благостия
Самой немой из рыб.
Брошусь сам в твои сети я,
Воду веретеном взрыв!
Белое, снеговое сияние
Обвеваает важно и шутя.
Ты мне брат, возлюбленный и няня,
Божественное Дитя.
Спадает с глаз короста,
Метелкой ее отмести.
Неужели так детски просто
Душу свою спасти?

Летучее семя. Любовь — не полки со знаменами, не колесница и конница. Подбирает раненых и дает пить, любовь-сестрица, спасенье от непробужденной тьмы.

Сведения об авторах

Николай Исаев (1949) — прозаик. Закончил Литературный институт им. Горького в 1973. Автор книг “Юмористические рассказы” (1984), “Гении на островах” (изд. “Молодая гвардия”, 1987), “На верхней полке” (изд. “Современник”, 1987). Печатался в журналах “Юность”, “Аврора”, “Наш современник”, “Литературная учеба”.

Живет в С.-Петербурге.

Сергей Владимирович Петров (1911-1988) — поэт, переводчик. При жизни был известен как выдающийся переводчик с немецкого, французского, скандинавских языков. Тем не менее основные поэтические переводы, такие как Рильке, Лесьмян, Малларме, до сих пор не опубликованы. Стихи начали появляться в советской периодике (“Новый мир”, “Дружба народов”) с конца 80-х годов. Опубликованное представляет ничтожную часть громадного поэтического наследия.

Олег Дарк (1959) — прозаик, критик. Окончил филфак МГУ. Публиковал прозу в альманахе “Стрелец”, журналах “Мулета”, “Родник”, “Сельская молодежь”, “Человек и природа”, критические статьи в “Дружбе народов”, “Знамени”, “Вопросах литературы”, “Новом литературном обозрении”, “Литературной газете”, “Независимой газете”. Автор комментариев к 4-томному изданию Набокова (изд. “Огонек”) и Розанова (изд. “Искусство”).

Живет в Москве.

Израэль Шамир (1948) — прозаик, переводчик, журналист. Родился в Новосибирске, в 1969 г. эмигрировал в Израиль. Как журналист работал во многих странах мира. Автор книги об Израиле “Сосна и олива”, переводил Агнона, Джойса и др. авторов. Последние годы живет в Москве.

* * *

Редакция «Вестника новой литературы» поздравляет известных поэтов и авторов нашего журнала, Дмитрия Пригова и Тимура Кибирова, награжденных международной Пушкинской премией 1993 года.

Редакция благодарит всех, кто прислал свои поздравления в связи присуждением «Вестнику новой литературы» специальной Буковской премии за 1992 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

1. З. ХАНСЕЛК, И. СЕВЕРИН. Момемуры (пер. с англ. М. Берга)	3
2. Дм. ПРИГОВ. Стихи из двух книг	77
3. Н. ИСАЕВ. Теория катастроф	85
4. В. КРИВУЛИН. Стихи лета 1993г.	158
5. О. ЮРЬЕВ. Прогулки при полной луне (шесть рассказов из книги)	163
6. С. ПЕТРОВ. Стихи	179

ПУБЛИКАЦИИ

7. В. НАБОКОВ. Ада (роман. Продолжение. Начало в «ВНЛ» № 3 и 4)	189
8. В. КУЛАКОВ. Ян Сатуновский: “Я - не поэт”	201
9. Я. САТУНОВСКИЙ. Стихи	205

СТАТЬИ, ЭССЕ

10 Е. РАБИНОВИЧ. Вергилиев жребий.....	218
11. В. ЛИНЕЦКИЙ. Постмодернизму вопреки	241
12. О. ДАРК. Из заметок натурала.....	250
13. И. ШАМИР. Русская израильская литература	260
14. Н. ВОЛКОВА. Зеленая страна	269

Сведения об авторах	277
---------------------------	-----

Акционерное общество “ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО НАРЫШКИНЫХ”

“Юридическое бюро Нарышкиных” предлагает свои услуги в защите Ваших интересов в самом широком социальном спектре:

- юристы защитят Ваше дело в любых инстанциях, вплоть до Высшего арбитражного суда России;
- журналисты создадут и защитят Вашу репутацию и репутацию Вашей фирмы;
- экономисты обеспечат чистоту Ваших сделок, проведут аудиторские проверки, наметят пути Вашего финансового благополучия.

Наше бюро — это объединение юристов, журналистов и экономистов — только такое соединение может стать гарантией защиты Ваших интересов от любых несправедливостей.

В составе бюро работают известные ученые-правоведы и адвокаты, юристы-практики, талантливые журналисты и экономисты, молодые работники, прошедшие стажировку в фирмах и компаниях Запада.

Бюро оказывает услуги:

Санкт-Петербургскому Союзу Журналистов;

Благотворительному Фонду попечителей Санкт-Петербургского специального художественно-музыкального лицея им. Н.А. Римского-Корсакова

Лауреату премии Букера петербургскому журналу “Вестник новой литературы”;

государственным предприятиям и коммерческим структурам;

иностранным фирмам и бизнесменам;

редакциям газет и издательств;

многим другим известными неизвестным молодым предприятиям.

Бюро заключает договора на правовое обслуживание предприятий, приводит стороны к мировому соглашению, предоставляет юридические адреса, проводит юридические, экономические и внешнеэкономические консультации, помогает в покупке недвижимости за рубежом, разрабатывает все виды контрактов, осуществляет содействие в осуществлении крупных проектов.

Бюро также оказывает помощь в регистрации новых предприятий: от индивидуального частного до акционерного общества открытого типа, СП, иностранных фирм и их представительств.

Мы создаем новые предприятия для того, чтобы они процветали.

НАШ АДРЕС:

С.-Петербург, Невский пр., 70, комн.29
тел: 272-61-18, 164-61-73, 275-35-01, 355-98-11
факс: 164-60-73 (автоответчик)

«Вестник новой литературы» № 6

**Технический редактор В.И.Петрухин
Корректор А.Б.Колтухина**

**Подписано в печать 25.11.93.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура таймс. Печать офсетная.**

Зак. 10-94

Тираж 5000 экз.

**Набор и оригинал-макет выполнены на компьютерном
оборудовании, предоставленном «Обществом “А—Я”»**

**Издательство Ассоциации «Новая литература».
191011, С.-Петербург, наб. р. Фонтанки, 41, к. 46
т. 110-47-25**

Ассоциация “Новая литература”
совместно с петербургским альманахом “Петрополь”
готовит к изданию в I кв. 1994 г. документальный роман
Александра Ласкина “Неизвестные Дягилевы, или Конец цитаты”

“Эта книга еще не вышла, но уже стала событием. Ей — в рукописи — присуждена Царскосельская художественная премия, учрежденная совсем недавно, в августе 1993 года, но обещающая стать одной из самых престижных наград России. Одновременно с русским готовится французское издание этой книги. Речь идет о богато документированной и отличн о иллюстрированной биографии Сергея Павловича Дягилева”

“Час пик”, Санкт-Петербург.

Справки по телефону: 110-47-25

ВЕСТНИК НОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
